


АКАДЕМИЯ НАУК СССР



РУССКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА  
XVIII ВЕКА  
И ЕЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
СВЯЗИ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

XVIII

В Е К

---

СБОРНИК

10

РУССКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА  
XVIII ВЕКА  
И ЕЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
СВЯЗИ

Памяти чл.-корр. АН СССР  
ПАВЛА НАУМОВИЧА БЕРКОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ЛЕНИНГРАД • 1975

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. П. АЛЕКСЕЕВ, Д. С. ЛИХАЧЕВ,  
Г. П. МАКОГОНЕНКО, И. З. СЕРМАН

Ответственный редактор

И. З. СЕРМАН

**XVIII век**

Сборник 10

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

*Утверждено к печати Институтом русской литературы  
(Пушкинский Дом) АН СССР*

Редактор издательства *Е. А. Гольдич*  
Художник *М. И. Разулевич*  
Технический редактор *Г. А. Бессонова*  
Корректоры *Н. И. Журавлева* и *Г. И. Суворова*

Сдано в набор 14/1 1975 г. Подписано к печати 20/VI 1975 г. Формат бумаги 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага № 2. Печ. л. 19<sup>3</sup>/<sub>4</sub>=19.75 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 21.73. Изд. № 5507.  
Тип. зак. № 1728. М-26748. Тираж 2800. Цена 1 р. 54 к.

Ленинградское отд. изд-ва «Наука». 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

Р  $\frac{70202-540}{042 (02)-75}$  294-75

© Издательство «Наука», 1975

## ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий сборник «XVIII век» посвящен широкому кругу проблем исследования русской литературы XVIII в.: проблемам ее международных общений и контактов, ее месту в общеевропейском литературном движении века Просвещения. Исследование этой проблематики в последние годы ведется широко и разнообразно в современной науке — как в советской, так и в зарубежной славистике. Именно в результате этих исследований перед нашей наукой возникают новые пути изучения сложных по своему характеру и содержанию взаимоотношений русской литературы XVIII в. с широким кругом разнообразных и разнонациональных литературных и идейных явлений эпохи.

Наш десятый по счету, юбилейный сборник группа по изучению русской литературы XVIII в. посвящает памяти одного из ее основателей и бессменного руководителя в 1955—1969 гг. Павла Наумовича Беркова.

Мы хотели бы этим сборником не только выразить наше уважение к памяти одного из создателей советской науки о литературе XVIII в., неутомимого пропагандиста и инициатора разнообразных исследований международных отношений русской литературы XVIII в., но и показать, как продолжается и развивается в современной науке одно из самых ее плодотворных направлений — изучение международных литературных взаимосвязей и взаимовлияний, «контактов», как предпочитал говорить Павел Наумович Берков.

В данном сборнике нами принято тематическое распределение материала на три отдела: в первом освещаются общие проблемы литературного развития XVIII в. в контексте международных связей и общие вопросы поэтики, во втором прослеживаются пути

проникновения русской литературы в другие национальные литературы, преимущественно славянские, в третьем сосредоточены работы, посвященные конкретному изучению усвоения в русской литературе определенных явлений других европейских литератур.

В сборнике участвуют ученые из разных стран, представлены многие поколения исследователей, начиная с исследователей, обозначивших своим именем целые направления в современной науке, до совсем еще-молодых, но уже заявивших о себе.

И в этом содружестве ученых, объединенных общим интересом к международным контактам русской литературы XVIII в., мы видим осуществление надежд и предвидений Павла Наумовича Беркова, настойчиво развивавшего идею необходимости коллективного сотрудничества славистов всех стран для всестороннего изучения русской литературы XVIII столетия.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

**СИСТЕМА СТИЛЕВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА И МЕСТО В НЕЙ РУССКОГО XVIII ВЕКА**

С конца XIX в. в гуманитарных науках все более распространялось представление о том, что различные искусства (архитектура, живопись, скульптура, музыка, литература, прикладные искусства) и даже в какой-то мере науки (философия, богословие) и быт подчиняются в пределах той или иной эпохи единому стилю — «стилю эпохи».

Раньше всего объединили различные искусства понятия «классицизм», «романтизм», «реализм», так как термины «классицизм», «романтизм», «реализм» употреблялись не только для обозначения того или иного стиля и направления в искусстве, но и для обозначения определенных художественных методов, которые могли объединять собой несколько искусств и применяться к различным эпохам. Так, термин «реализм» применяется и к пещерным изображениям животных в первобытном искусстве, и к римскому скульптурному портрету, и к голландской живописи XVII в. Не менее разнообразно употребление термина «классическое искусство», или «классицизм», затем — «романтизм» и «романтическое направление» и т. д.

С конца XIX в. мы можем отметить внезапную экспансию термина «барокко» (его расширительно употреблял уже Ф. Ницше). Однако с этим термином дело обстоит сложнее, так как он может обозначать лишь стиль и направление в искусстве, но не художественный метод. Поэтому он применяется ко все более и более широкому кругу явлений, но пока еще не выходит за пределы своей эпохи (XVII и XVIII вв.). Подражания барокко середины и второй половины XIX в. носят название «второго барокко» или «второго рокайля», так же как английские подражания готике в XIX в. носят название «Gothic revival», чем подчеркивается их «непостоящий» характер. Между тем мы не говорим ни «второй реализм», ни «второй романтизм», так как

романтизм и реализм, если их только признают в качестве таковых, всегда «настоящие».

Термин «барокко» хотя и не обозначает метода, а только стиль, вышел, как уже было сказано, в XIX в. за пределы истории архитектуры и «архитектурной скульптуры» и стал применяться к музыке XVII в., затем к прикладным искусствам, к живописи и, наконец, к литературе, а за последние десятилетия стал вводиться для определения стиля науки, философии, богословия; введено даже понятие «человек барокко».

Вслед за барокко такую же экспансионистскую тенденцию обнаружили термины «готика» и «романский стиль» (последний имеет несколько терминологических обозначений). Уже говорят о готической литературе, относя сюда, впрочем, произведения, которые возникли века за три до появления готики в зодчестве («Песнь о Роланде»).

Если все же сопоставить все великие стили (или «стили эпохи») между собой, то мы легко заметим, что властный охват тем или иным великим стилем культурных явлений эпохи постепенно убывает по мере приближения к нашему времени.

Наибольшей стилеформирующей силой обладает народное искусство. Цельность, насыщенность стилеформирующими элементами и активное распространение «народного стиля» на все стороны крестьянской жизни всегда поражали и поражают наблюдателей народного искусства в не меньшей степени, чем его традиционность и совершенное отсутствие произведений пошлых или безвкусных. Последние два качества народного искусства (его традиционность при отсутствии безвкусицы — невыдержанности стиля) особенно удивительны в их совокупности, так как традиционность легко могла бы соединиться с появлением шаблонных произведений, трафарета и штампа, всегда близких пошлости и недостатку вкуса.

Именно эти, перечисленные мною выше черты сближают народное искусство различных стран. Мы найдем их в искусстве русском, мексиканском, негритянском, эскимосском и т. д. И именно эти черты в разное время и в разных странах питали собой романтическое увлечение народным искусством, романтическую его идеализацию.

В 1921 году мне довелось совершить путешествие на Север России, в Карелию, на Кольский полуостров, по Северной Двине. Меня поразили не одни деревянные церкви и великолепные избы, но весь уклад жизни, цельность и красота этого уклада: красота народных празднеств, убранства крестьянских поместий — богатых и бедных, крестьянских одежд — праздничных и будничных, красота утвари и орудий труда, петоропливой и образной речи. Песни и расписные санп, кружева и питые полотенца могли быть менее красивы или более красивы, менее искусно сделаны или более искусно, но нигде нельзя было встретить предметов и произведений антихудожественных, ска-

жем — претенциозных, стилизаторских, безвкусных. В традиционности не было подражательности, в слабой художественности — антихудожественности. И самое главное: все было проникнуто единством стиля. Народное искусство начала XX в. еще носило более или менее прикладной характер, и оно подчиняло себе весь строй жизни, быта, труда. Все в основном делалось на месте и подчинялось одному художественному чутью, единой художественной воле. При этом в народном искусстве обнаруживалась глубокая сопротивляемость чуждым ему стилям. Вглядываясь в произведение народного искусства, тем не менее легко обнаружить в нем отдельные мотивы, перенесенные в него из городского ампира, классицизма или барокко. Нет никаких оснований преуменьшать воздействие на народное искусство искусства господствующих классов. В праздничных одеждах далматинских крестьянок легко узнать пышные наряды венецианских горожанок эпохи Возрождения. Но, проникая в народное творчество на уровне тем, мотивов, сюжетов и пр., искусство господствующих классов неизменно подчинялось народному художественному стилю и народным воззрениям на действительность.

В чем же заключается активная сила народных стилей и так называемых великих стилей, стилей эпохи? Объяснение, как мне думается, лежит не только в эстетической высоте этих стилей (имеющей реальное объяснение), но и в самой природе стилеформирующих тенденций.

В любом стиле главное — его цельность. Стиль — всегда единство, в статических искусствах позволяющее зрителю участвовать в «сотворчестве» с творцом, а в динамических (литературе, музыке и пр.) — предугадывать или «предчувствовать» то, что произойдет: развитие произведения.

Стиль облегчает восприятие художественного произведения, создавая некие повторяющиеся, общие для него и для других произведений элементы. Повторяющиеся элементы делают форму произведения «легкой» и незатруднительной. Стиль в этом отношении близок к ритму. Он позволяет «предугадывать» форму произведения. В своей функции ритм есть в какой-то мере элементарное явление стиля. Ритм позволяет «обрадоваться» новому слову или новой словесной группе как чему-то знакомому, укладываемому в известный ряд, как бы предчувствуемому. «Предчувствие» развития играет огромную роль в восприятии динамических искусств, но в сущности все искусства разворачиваются перед воспринимающими их во времени, так как созерцание произведения искусства (живописи, скульптуры, зодчества) есть также движение — движение в глубь произведения, временное его эстетическое постижение. Акт восприятия всегда разворачивается во времени.

В восприятии произведения искусства всегда известную трудность представляет начальный момент этого восприятия, когда воспринимающий должен найти к нему «стилистический ключ».



Этот ключ может быть вообще не найден, что создает неприятное впечатление и может объяснить известную раздраженность против непонятого, слишком сложного произведения искусства. Поэтому одновременное существование нескольких стилей, развитие индивидуальных стилей и пр. требует известной высоты эстетического развития зрителей, слушателей или читателей, их эстетической гибкости.

Но, с другой стороны, слишком легкое нахождение «стилистического ключа» к произведению не является безусловным достоинством художественного произведения, и поэтому художник в какой-то мере прячет этот ключ. Он может даже сделать его совсем новым, может предложить новый вариант старого ключа, может замаскировать его некоторой «неточностью», создав в «стилистическом ритме» некие «сипкопы» и «анжанбеман».

При всей серьезности высокого художественного произведения в нем всегда есть некий элемент «игры» — игры с тем, для кого оно предназначается, игры, которая отчасти затрудняет восприятие формы, но одновременно, при удачном нахождении «стилистического ключа», и облегчает восприятие формы (в следующий момент, когда стиль «угадан») и тем «освобождает» восприятие содержания (в глубоком значении этого слова) от формы, делает форму незаметной, позволяя пропикать в самую глубину произведения искусства.

Стили народного искусства, как и великие, всеохватывающие стили — это стили, вырастающие на основе интенсивного, но негибкого художественного сознания, — сознания, неспособного к свободному переходу от одного стиля к другому, а потому пронызывающего всю художественную действительность и все художественное творчество определенной среды и охватывающего в той или иной мере все искусства.

Взамен свободного перехода от стиля к стилю в народном искусстве или в искусстве стилей эпохи «угадывание» стиля происходит через преодоление неточности проведения стиля в произведении искусства. Произведения народного искусства очень часто отличаются резкой обобщенностью формы, смелостью и «неточностью» осуществления, яркостью, обнаженностью техники выполнения и пр. В романском стиле мы замечаем асимметрию порталов, фасадов, расположения окон, различия в форме капителей и в материале, из которого сделаны колонны. В готике фланкирующие фасад соборов башни различны по форме и высоте, и пр., и пр. По этой неточности отдельных стилеформирующих элементов легко отличить подлинное произведение романского или готического стиля от их «правильных» имитаций XIX и XX вв.

Таким образом, необходимый процесс эстетической апперцепции — «овладения стилем» — совершается по двум линиям: по линии переключения от стиля к стилю, узнавания и схватывания стиля, и по линии простого схватывания уже знакомого и един-

ственного стиля. В обоих этих случаях мы видим как бы обратную зависимость: чем больше требуется усилий для одного, тем меньше оказывается необходимым другое.

Народное эстетическое сознание и эстетическое сознание эпох существования великих стилей живет во внутреннем единстве, и, следовательно, апперцепция в нем расходуется на схватывание стилеформирующих элементов, хорошо знакомых, которые вследствие этого даются неполно, иногда «неряшливо», с эстетическими недоговоренностями. В новое время развивается огромное количество отдельных стилей, появляются индивидуальные стили писателей и художников, и эти последние в свою очередь начинают различаться от произведения к произведению. Поэтому эстетическая апперцепция действует по преимуществу по линии своего подключения к новому стилю, овладению его принципами, и эти принципы проводятся последовательно, точно, отчетливо.

\* \* \*

XVIII век с точки зрения развития судеб великих стилей значителен тем, что в нем отчетливее всего сказался переход от моностилевой системы искусств, и в частности литературы, к полистилистической. Последняя явилась важным этапом перехода к преобладанию в искусствах индивидуальных стилей. Русский XVIII век характерен тем, что этот переход отличался ускоренным характером: к XVIII веку вплотную подступала средневековая система искусств — система, которая разрушалась, но еще не была разрушена в XVII в.

Классицизм, как показал Г. А. Гуковский в своих ранних работах, ограничивал индивидуальное начало; в нем не было еще развитого представления об авторской собственности и стремления к выработке индивидуальных стилей. Но все же, если смотреть на классицизм не из нового времени, а из средневековья, то необходимо признать, что индивидуальное начало было в нем больше развито, чем в XVII в. То же можно сказать и о барокко XVIII в. сравнительно с барокко XVII в.

Но вот что важно. Длительное соединение и даже в какой-то мере смешение барокко и классицизма (оно было особенно характерно именно для русского XVIII века) создавало благоприятные условия для развития многостилевой системы искусства и для дальнейшего роста в нем индивидуального начала. Соединения и смешения были разнообразны, сочетания получались неповторимыми и крайне «острыми».

Необыкновенно интересны и, я бы сказал, трогательны архитекторы и живописцы, которые, перейдя во второй половине XVIII в. к классицизму, сохранили в своих произведениях элементы рококо. К таким своеобразным классикам я отношу, например, Ринальди, чей Мраморный дворец в Ленинграде может быть причислен к шедеврам мировой архитектуры, если не требовать от шедевров как чего-то обязательного абсолютно чистого выра-

жения стиля. В классицистическую архитектуру Мраморного дворца с необыкновенным вкусом вкраплены детали рококо. Для пригородов Ленинграда второй половины XVIII в. эти вкрапления рококо в классицизм очень характерны, они создают необходимую для пейзажных парков непринужденность индивидуального почерка зодчего.

Одной из замечательных особенностей литературы XVIII в., особенно его второй половины, было разнообразие введения в литературу стилистических элементов фольклора.

Эта «полуфольклорность», удивительно разнообразная и принадлежавшая различным уровням литературы, сыграла значительную роль в появлении индивидуальных стилей.

Одним был интерес к фольклору у Чулкова, Попова, Левшина, иным — у Аблесимова и Матинского. Совсем другим было обращение к отдельным фольклорным элементам в «Вергилиевой Енеиде, вывороченной наизнанку» Осипова. Фольклор в соединении с повестями-романами XVII в. отразился в лубочных изданиях второй половины XVIII в. «Бовы», «Ерусалана Лазаревича», «Францеля Венециана», «Петра Златых Ключей» и пр. Парадоксальные сочетания давало соединение фольклорности с галантностью, античного олимпа с древнерусским языческим (при этом не только отдельные древнерусские языческие боги «подобились» античным, но и наоборот: античные боги «подобились» славянским). Свои индивидуальные особенности имело обращение к фольклорным элементам у Хемницера в баснях, у Богдановича в «Душеньке», у Державина в его различных стихотворных жанрах.

Соединение различных стилей и появление многостилевой системы литературы было крайне важно для развития индивидуального стиля писателей. Вспомним то, что писал В. В. Виноградов о Пушкине: «Создавая многообразие индивидуальных средств художественного выражения и художественной композиции, Пушкин нередко строил новые литературные формы на фундаменте самых разнообразных стилей русской и мировой литературы (всегда в том или ином отношении характерных или культурно значительных). В творчестве Пушкина с начала двадцатых годов до середины тридцатых годов разнообразные стили мировой литературы представляли боевой арсенал освоенных поэтом художественных форм, служивших ему прекрасным орудием для реалистического воспроизведения разных эпох и разных сторон действительности. При посредстве их поэт воплощал, а иногда и пародировал сложнейшие темы и сюжеты. Художественное мышление Пушкина — это мышление литературными стилями, все многообразие которых было доступно поэту. В этом плане пути реалистического освоения действительности в художественном творчестве Пушкина исключительно многообразны: Пушкин творчески использовал стили русской народной поэзии, стиль летописи, стиль Библии, Корана. Стили Третьяковского, Ломоносова, Сума-

рокова, В. Петрова, Державина, Хвостова; стили Жуковского, Гатюшкова, Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига, Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсворта, Шекспира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей мировой литературы служили ему материалом для оригинального творчества».<sup>1</sup>

\* \* \*

Таковы те немногие размышления над судьбами великих стилей и месте среди них русского XVIII века, которые я в свое время излагал Павлу Наумовичу Беркову и которые я сейчас предлагаю вниманию читателей по его совету.

---

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 484.

В. П. АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ

**НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В ФОЛЬКЛОРЕ  
И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА**

История сюжетного рассказа в русской литературе проходит через весь феодальный период. Она начинается короткими рассказами патериков и «Пчелы», обогащается переводами басен и нравоучительных сборников, веселых фэцевий в XVII в. и особо расцветает в XVIII в. На этом долгом пути переводные сборники рассказов разного назначения — дидактического и развлекательного — вводили в русскую литературу множество разнообразных сюжетов, прививали вкус к быстрому движению действия, к острому афористическому диалогу, в котором нередко сосредоточивается самая идея рассказа. XVIII век был временем широкого распространения новеллистических сборников предшествующего века и появления обширного сборника светских рассказов, переведенного с немецкого языка не позднее 1740-х годов, который ввел в русскую литературу большое количество новых сюжетов.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Наибольшее число рассказов сохранилось в рукописи собрания Погодина № 1777 середины XVIII в. (Гос. публ. библиотека им. Салтыкова-Щедрина). Дополняю — первые недостающие рассказы по рукописям Гос. библиотеки им. В. И. Ленина собрания Забелина № 575 (268) конца XVIII в. и собрания Тихонравова № 562, 1750-х гг. В рукописи Забелина сохранились первые рассказы, утерянные в списке Погодина, по и здесь нет рассказа № 1 и пачала рассказа № 2. Однако существовал список, в котором, видимо, состав переводного сборника был представлен полнее. М. Н. Сперанский в «Описании рукописей Тверского музея» (вып. II, Тверь, 1903, с. 88) под шифром 287/572 (3164) сообщает сведения о «сборнике жарт», датируя эту рукопись, в четвертую долю листа, половиною XVIII в. — на основании почерка и записей 1755 и 1756 гг. (на лл. 172 об.—174). Всех рассказов в этой рукописи 262: первый «О пастухе», последний «О поляке и о французе». Но эта рукопись уже в начале 1920-х годов оказалась утерянной. Рассказ «О пастухе» — вариант басни «Юпитер и пастух» читается в рукописи Забелина № 575 под № 4. Рассказ «О поляке и о французе» под сокращенным названием «О поляке» (речь идет и здесь о стычке поляка с французом) читается в списке Погодина под № 202 и в списке Тихонравова под № 58. Видимо, из полного списка делались выборки и размещение рассказов менялось.

Среди исторических, дидактических и сатирических рассказов этого переводного сборника немало таких, сюжеты или отдельные мотивы которых относятся к типу «странствующих». Они вводили в русскую литературу то, чем жила городская новелла Запада, а иногда даже устные сказки южной Европы и Востока. Нашлись параллели и аналогии и в русской литературе прошлых веков, и в русских сказках.

Между немецким оригиналом и западноевропейскими сборниками новелл эпохи Возрождения много общего в самом репертуаре, который кочевал и по французским и итальянским книгам для чтения, адресованным новым читателям расцветающих городов. А иногда параллели к сюжетам отыскиваются, например, в османском фольклоре, записанном в Малой Азии. Так, аналогию к сюжету рассказа «О езеле» (товарище — немецкое «Gesell»; № 35, по списку Погодина № 1777) находим в османской сказке. «Езель» пировал с товарищами «в трактире»; когда подали блюдо рыб «малых и великих», он стал выбирать себе «великие», подносил их «к своему уху» и объяснил это так: он-де спрашивает у рыб, не знают ли они о его отце, который утонул давно, когда «малые» рыбы еще «не родились». В малоазийской сказке «Тухлая рыба» один из пирующих также берет рыбу, что-то шепчет ей и подносит ее к уху, объясняя: «Один из моих родственников утонул в море 10 дней тому назад; я спросил об этом рыбу, а она сказала, что уже 12 дней как оттуда, почему его и не видела».<sup>2</sup> Как видим, один и тот же сюжет использован с разными целями: в немецком рассказе — чтобы оправдать жадность «езеля», а в сказке — чтобы уличить хозяина, подавшего тухлую рыбу. Другой пример сходства европейского рассказа с османской сказкой — один из первых рассказов переводного сборника под № 10, сохранившийся без заглавия в списке Забелина № 575/268 и переделанный в стихотворный жарт «Как жена мужа поминала». В немецком оригинале и его русском переводе отец завещал сыну продать трех соколов: на выручку от одного заплатить долги, другого — одарить нищих, «для поминовения ево души», а полученное за третьего оставить себе «на пропитание». Первый сокол улетел, а второго и третьего он стал продавать вместе, назначив второму «велми дешеvu» цену, а третьему «велми высоко», чтобы оставить себе побольше. В османском (малоазийском) рассказе «Дешевый верблюд» мотив завещания отсутствует, но повторяется мотив продажи по неравным ценам. Некто потерял верблюда и обещал продать его «за один пиастр», если он найдется. Верблюда нашли, и тогда человек посадил на верблюда кошку и стал продавать их вместе, оценив верблюда в «один пиастр», а кошку «за тысячу».<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Мартинович Н. Малоазийские сказки, рассказы и анекдоты (из материалов по османскому фольклору). — Живая старина, 1910, вып. 3, с. 242.

<sup>3</sup> Там же, с. 248.

В списке Погодина № 1777 русский читатель XVIII в. встречал и варианты сюжетов, знакомых ему по русским литературным произведениям прошлых веков. Так, в рассказе «О женах» (№ 95), где действие происходит при осаде Вензбурга «цесарем Кондратом», жены, получив от него разрешение, уходя из города, «взять, что которая сама на себе может унести», выносят своих мужей. С аналогичной ситуацией русские читатели были давно знакомы по повести о Петре и Февронии, где Феврония, изгоняемая боярами, просит у них: «Дадите мне, чего же аще аз вопрошу у ваю». И она просит отпустить с ней «супруга <...> князя Петра».<sup>4</sup>

В рассказе «О нечаянной притчине» (№ 18 — по списку собрания Забелина № 575/268, где читается часть отсутствующих в Погодинском списке первых 27 рассказов) содержится знакомый по повести о Шемякином суде мотив нечаянного убийства. В рассказе каменщик, упав с высокой башни, убил сидевшего под ней человека. Сын убитого привел каменщика в суд, и тот предложил ему упасть с той же башни и убить его, обещая, что за это его сын не подаст на него в суд. Челобитчик отказался от такой мести. Дважды таким невольным убийцей оказывается «убогий» — герой повести о Шемякином суде:<sup>5</sup> он падает с печи на «зыбку», в которой лежал ребенок попа, и «удави» его «до смерти». Затем, по дороге в суд, решает покопчить жизнь самоубийством и бросается с моста на лед. Падая, он убивает старика, которого сын на санках вез по льду в баню. На суде Шемяка предлагает сыну убитого старика кинуться с моста на «убогого» ответчика, но истец откупается «мздой» от такого решения.

В устных и литературных рассказах немало сюжетов об упрямых, злых и ленивых женах, и в них можно встретить сходные способы «лечения» этого недостатка. Так, в списке Погодина № 1777 в рассказе № 163 «о злой жене» муж, выведенный из себя, ударил жену, а она притворилась умершей. Соседка, поняв притворство, посоветовала, прежде чем хоронить жену, с нее «кожу содрать, понеже в аптеках сердитых жен кожу зело дорого покупают». Когда соседка стала ей «падпарывать» кожу у «пяты», жена «востала» и обещала впредь быть еще сердитее, чтобы ее кожа стала еще дороже. В сказке, записанной в Москве, жена ленива и, когда муж заставил ее прясть, притворилась умирающей. Муж «догадался, что она привередничает», и обещал: «Я тебя воскрепу!». Он бьет жену, она сознается в притворстве и становится «рукодельной».<sup>6</sup> В сказке отсутствует

<sup>4</sup> Русские повести XV—XVI веков. М.—Л., 1958, с. 113.

<sup>5</sup> Русская демократическая сатира. Подготовка текста, статьи и комментария В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1954, с. 21.

<sup>6</sup> Худяков И. А. Великорусские сказки, вып. I. М., 1860, с. 117; см. также: Великорусские сказки в записях И. А. Худякова. Изд. подготовили В. Г. Базанов и О. Б. Алексева. М.—Л., 1964, с. 223.

гиперболизм литературного рассказа, притворство побеждено. Прямой связи с литературным источником нет: притворную смерть обнаруживают в сказке проще.

Среди русских сказок о проделках ловкого солдата, обманывающего глупую женщину, одна рассказывает, как солдат просится у старухи переночевать. Она спрашивает: «Да ты откуда? — Я, бабушка, Никопец, с того свету выходец. — Ах, золотой мой! У меня сыпochек помер, не видал ли ты его?». Солдат уверяет, что жил с ним вместе, что он «журавлей пасет» и «обносился, совсем в лохмотьях». Старуха отдает ему для сына «аршин сорок холста да рублей с десятков денег». Солдат уходит, а потом приезжает сын.<sup>7</sup> В Погодинском списке рассказ «О старухе» (№ 225) построен на игре слов «Париж — парадис», т. е. рай. Диалог между героем-студентом и старухой развивается так: «... я иду в Париж». Старуха думает, что он идет «в парадис, на тот свет в рай, с великою просьбой просила студента, чтоб он несколько отнес денег и платья мужу ея, понеже уже тому год, как мой покойной муж на тот свет в парадис или в рай пошел, а я к нему ничего не послала». Студент взял деньги и платье и «пошел в Парижскую академию; платья денги, обучался и стал быть славной учитель». Вряд ли и в этом случае можно устанавливать прямую зависимость сказки от литературного источника: речь может идти лишь о сходных сюжетах.

Вскоре после перевода немецкого текста сорок рассказов было отобрано авторами двух групп стихотворных («забавные» и «фигурные») жарт<sup>8</sup> — жанра, характерного для демократической литературы XVIII в. Эти жарты, сохранившиеся в большом количестве списков XVIII в., строились и на фольклорных материалах, и на печатном источнике, каким был переведенный в 1747 г. с французского языка С. Волчковым сборник «Эзоповы басни с правоучением и примечаниями Рожера Летранжа» (перевзданный в 1760, 1762, 1775 и 1810 гг.).<sup>9</sup> Сопоставление жарт с рассказами сборника, переведенного с немецкого языка, показывает, что автор, иногда свободно обращаясь с содержанием своего источника (снимает историческое и географическое приурочение событий, то упрощает, то иногда расширяет отдельные эпизоды), все же сохраняет прямую текстуальную

<sup>7</sup> Афанасьев А. Н. Пародные русские сказки, т. 3. М., 1957, с. 179 и вариант — с. 432.

<sup>8</sup> Общую характеристику этого жанра см. в моих статьях «Фольклорные сюжеты стихотворных жарт XVIII века» (в кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.—Л., 1959, с. 44—51) и «Стихотворные жарты XVIII в. и традиции древнерусской литературы» (в кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. XVIII век. Сб. 7. М.—Л., 1966, с. 36—42).

<sup>9</sup> См. мою статью: Басни Эзопа в русской юмористической литературе XVIII века. — Изв. ОРЯС, 1929, т. 2, кн. 2, с. 377—400.



связь с ним, перенося целые фразы или части их в свое изложение. Все чисто словесные расширения текста источника имеют одну цель — построить рифмованную строку. В группе «забавных» жарт обычно меняется заключительное нравоучение, в «фигурных» же жартах оно почти всегда повторяет двустрочный вывод прозаического рассказа.

Новые сюжеты, обильно вошедшие через перевод западноевропейского сборника, проникали даже в устную традицию. В Твери записана в середине XIX в. сказка «Мужик и царь», явно восходящая к переводному рассказу «О короле», передающему предание о Дамокловом мече. В списке Погодина № 1777 под № 101 читаем следующий рассказ «О короле»: «Диониси, король Сиракуской, имел себе ис придворных своих, которой всегда короля своего восхвалял безмерно и называл ево всего света умняе и щасливее. Некогда спросил ево: „Хощеш ли, Димоклесе, ты так быть в таком веселии и счастья, как я?“». Димоклес отвечал: „Ей, истинно, великий королю, желаю“. Тогда король повелел Димоклеса убрать в неоцененное королевское самое лутчее платье свое и посадил ево за свой королевской стол и повелел ево угощать ествами и напитками наилучшими в златых и серебряных сосудах, и служителей ему дал златоодеянных. И тако Димоклес сел един за стол в великой радости, не знает, как бы сам себя наилучче увеселил. И король увидел ево в таком веселии, повеле вскоре принести тяжел и острый меч, аки бритву, и велел повесить над самою ево главою на одном конском волосе. И егда Димоклес увидел такую вещь, зело испужался и забыл все свое веселие в таком мнении: „Ежели перерветца волос, то меч — напылы пересечет“. И тако, оставя веселие, пошел из-за стола прочь и сказал: „Истинно, королевскую славу и честь надобно с печалию и с трудом снести“. Рассказ кончается нравоучительным двустишием: «Везде серебро и злато и диаменты блещят, а сердце ево тем не осветят».

В сказочном варианте этого сюжета сняты собственные имена, герои — мужик и царь. Сказка начинается разговором двух мужиков в обжорном ряду — один мечтает, как, став царем, он ел бы лук, другой предпочитает мед. Разговор подслушал царь и предложил каждому стать царем. Первый отказывается, второй соглашается. «„Ну, пойдем со мной“, — говорит царь. Пошли. Пришли во дворец. Царь велел мягкую постель изготовить и положить на нее мужика. Положили. Царь и спрашивает: „Ну, что, мужик, мягко? — Мягко! — говорит. — Хорошо? — Хорошо! — Крепко спать будешь? — Крепко! — Принесите теперича, — говорит царь слугам своим, — кинжал вострый и повесьте его над самой головой мужиковой на одной ниточке!“. Мужик взмолился и обещал: «Другу, недругу закажу в цари желать». Царь учит его: «Вот так-то и вся наша жизнь царская ежечасно на ниточке держится». «С тех пор, — закан-

чивается сказка, — полно мужик в цари лезть, и калачом не заманишь больше его в эту должность».<sup>10</sup>

Явный отголосок другого переводного рассказа из того же Погодинского списка № 1777 «О злой жене» (№ 168) представляет сказка «Капризная жена».<sup>11</sup> Для вдовы из «Шлезии града Бреславля» молодой муж заказал столяру «колыбель болпую» и нанял двух молодых людей, которые укладывали ее в колыбель, как только она начинала буйствовать, и качали, «сколко у них есть мочи». И так учили злую жену, пока она «с клятвою обещалась жить во всяком смирении и послушании». Так повторялось каждый раз, когда жена нарушала обещание, и наконец она «мусила переменить такой свой злой обычай и жить смирно и послушно с мужем своим». Этот рассказ был переделан в стихотворный жарт и в устную сказку, записанную в Москве. В сказке изображена не вдова, а капризная девушка, дочь помещика, которая, выйдя замуж, стала «мучить» мужа своими капризами. Узнав, что в детстве ее «не пеленали и в люльке не качали, а только все на руках распелененную убаюкивали», муж, «как бывало чуть она закапризничает или закричит, — <...> тотчас же пеленать ее, в люльку да и качать». «Шелковая стала — за какие-нибудь полгода», — заключает сказка.

Видимо, не случайно устные варианты переводных рассказов записаны в городах, где бытовали рукописные тексты сборника в целом и части его.

Наши наблюдения над судьбой литературных новеллистических сюжетов в начале XVIII в. дают основание утверждать, что в это время в прозе еще не создано резкой грани между литературой в строгом смысле этого слова и фольклором. Повествовательные жанры в это время еще занимали промежуточное положение; только в 1760-е годы появилась уже русская собственно литературная проза, беллетристика.

---

<sup>10</sup> Чудинский Е. А. Русские народные сказки, прибаутки и побасенки. М., 1864, с. 100—101.

<sup>11</sup> Там же, с. 102—104.

И. З. СЕРМАН

П. Н. БЕРКОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ЛОМОНОСОВА

В предисловии к своей докторской диссертации Павел Наумович писал: «У историков русской литературы сложилось традиционное представление о том, что настоящая литературная жизнь в XVIII в. возникает лишь в 1760—1770 гг. и что до этого времени имеют место только личные интриги Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова (в разных комбинациях). Столкновения этих писателей между собой выводили из их личных свойств: тщеславия, завистливости, неуживчивости, вспыльчивости, скверного характера. . . Не замечали различного понимания задач искусства у отдельных спорщиков, не решались провести разграничительные линии между ними, предпочитали всех их относить к одной группе: писателей Елизаветинской поры».<sup>1</sup>

Уже в этих словах, хотя и в негативной форме, в критике предшествующей историко-литературной традиции высказано основное положение его собственной исследовательской методологии — требование безусловного и бескомпромиссного историзма в подходе ко всем литературным явлениям и фактам XVIII века.

Далее, обосновывая проблематику и содержание своей книги, Павел Наумович писал: «Даже те материалы полемического характера, которые были опубликованы три четверти века назад и позднее, не внесли больших изменений в историко-литературные представления. Лишь в книге Г. А. Гуковского „Русская поэзия XVIII века“ (1927) сделана была попытка осознать полемику между Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым как борьбу литературных группировок, а не персональную склоку» (с. 2).

Историзм в подходе к освещению и анализу литературных явлений у Павла Наумовича носил особый, ему лично свойствен-

<sup>1</sup> Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765 гг. М.—Л., 1936, с. 1 (далее ссылки на это издание даются в тексте).

ный характер. В разработке любой темы, большой или малой, он считал неслучайным долгом не только изучить историографию данной темы, но и высказать к ней свое отношение, отношение советского ученого, обладающего историческим опытом, которого, естественно, не могло быть у его предшественников, великих и малых работников русской академической науки.

Павел Наумович сосредоточился на исследовании творчества Ломоносова в начале 1930-х гг.: итогом этих изучений и явилась книга «Ломоносов и литературная полемика его времени». Примерно через десять лет появилась серия статей, посвященных тем вопросам, о которых не говорилось в монографии. Среди статей 1946 г. мне представляется особенно важной для понимания сущности и своеобразия подхода Павла Наумовича к творчеству Ломоносова одна, на первый взгляд, к творчеству, к поэзии Ломоносова отношения не имеющая, — «Ломоносовский юбилей 1865 г.».<sup>2</sup> Но именно в этой статье мы находим историографическое и методологическое обоснование его собственного подхода к Ломоносову.

После очень интересного изложения всех обстоятельств празднования Ломоносовского юбилея в 1865 г., всех этапов общественно-литературной борьбы вокруг Ломоносова, Павел Наумович подвел итоги и установил, что именно в юбилейных статьях 1865 г. утвердилось представление о Ломоносове, опровергнуть которое — не на словах, а фактами и доказательствами — предстояло советской науке: «За редкими исключениями, вроде речей А. П. Щапова в Иркутске и статей в петербургской радикальной прессе, ломоносовский праздник прошел под знаком „уваровской формулы“: „православие, самодержавие и народность“. Была окончательно сложена и упрочена легенда о Ломоносове — охранителе, слуге монархии, искренне верующем человеке, наконец, борце с иноземцами только потому, что они иноземцы, как бы предшественники славянофилов второй половины XIX века. Именно такая интерпретация образа Ломоносова на многие годы — благодаря казенной школе, от низшей до высшей — закрепились в сознании русского общества. Если обратиться к высказываниям представителей передовых слоев русского общества о Ломоносове во второй половине XIX и начале XX века, то, при всем уважении к его дарованиям и незаурядной энергии, в этих суждениях чувствуется „неприятие“ Ломоносова именно как выразителя в XVIII в. „уваровской формулы“».<sup>3</sup> И далее, как бы намечая проблематику будущих исследований советской науки о Ломоносове, Павел Наумович продолжал: «Закрывались глаза на явное расхождение его „духовных од“

<sup>2</sup> Берков П. Н. Ломоносовский юбилей 1865 г. (Страница из истории общественной борьбы шестидесятых годов). — В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. II. Под редакцией А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского. М.—Л., 1946, с. 216—247.

<sup>3</sup> Там же, с. 244.

с церковной догмой, на демонстративно дидактический тон его „монархических од“, наконец, на отчетливо демократический характер его „народности“». <sup>4</sup>

С сожалением, но и с нелюбимостью историка Павел Наумович вынужден был в этой же статье констатировать, что «пересматривая сейчас (в 1946 г., — *И. С.*) обширную ломоносовскую литературу дореволюционного и отчасти послереволюционного времени, мы не можем указать ни одной попытки серьезного пересмотра „легенды о Ломоносове“». <sup>5</sup>

Именно такую цель поставил перед собой П. Н. Берков, когда писал свою книгу о Ломоносове, — пересмотреть «легенду о Ломоносове», созданную в 1865 г., и при помощи подлинно научного, объективного исследования показать Ломоносова не легендарного, а живого, действующего в истории, окруженного живыми людьми, соперниками, сотрудниками, продолжателями, — Ломоносова, делающего живое, человеческое дело создания новой русской литературы, новой русской поэзии.

Вот почему Павел Наумович сюжетом своей книги избрал литературную полемику, в центре которой находился Ломоносов, полемику, где живее всего ощущался пульс литературной жизни эпохи: «Автору представлялось необходимым, — писал он в предисловии, — для более правильного понимания литературного процесса второй трети XVIII века вновь проанализировать только важнейшие материалы, частью известные, частью накопленные им самим во время различных изысканий в области литературы этого периода, показать каждого из полемистов на фоне той литературной среды, наиболее крупным выразителем которой он был» (с. 2).

Сам исследователь отлично и ясно себе представлял, что в основу его работы положен строгий историзм подхода к фактам литературной полемики и их интерпретации. Он писал о себе: «... внимание автора было сосредоточено на изложении и интерпретации фактов историко-литературных, а не каких-либо иных. Это не означает отсутствия определенной исторической концепции в настоящей работе. Наоборот, все исследование построено на исторической основе» (с. 2).

Несомненно, название этой книги уже ее содержания. И не только потому, что Павел Наумович тщательно прослеживает общественно-литературный фон каждого полемического эпизода, но и потому, что в ряде случаев такое изучение фона превращается в самостоятельное историко-литературное исследование важнейших проблем литературного движения эпохи.

Такова, например, первая глава этой книги «Начальный успех Третьяковского» (с. 7—54), которая представляет собой

---

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же, с. 246.

самый полный в нашей литературе анализ содержания и смысла литературной деятельности Тредиаковского в 1730-е годы. Самостоятельное и историко-литературное значение имеют также обзор песенного творчества Сумарокова и его последователей в главе третьей (с. 104—112), анализ отношения Ломоносова к религии в главе пятой (с. 198—205), введенная в главу шестую характеристика политических позиций сумароковского журнала «Трудолюбивая пчела» (с. 242—251).

Наконец, очень богаты информацией примечания, занимающие около 40 страниц этой книги. Они часто представляют собой программу будущих исследований, а не просто сводку литературы и указаний на источники.

Книга «Ломоносов и литературная полемика его времени» писалась в переломную для нашей науки эпоху, в период острой борьбы с вульгарным социологизмом.

Следы такого рода чрезмерной социологизации есть и в трудах П. Н. Беркова. И не для того мы вспоминаем о них, чтобы упрекнуть автора. Но чтобы указать, как он, вопреки вульгарно-социологическому воздействию, не скрывал своего интереса к личностям русских писателей, к их индивидуальным судьбам, характерам, склонностям. И сейчас нас поражает своей тонкостью итоговая характеристика Тредиаковского, завершающая главу о нем: «Тредиаковский был неудачником и в жизни, и в литературе, и в науке. На него многие до сих пор смотрят сквозь морозные стекла лажечниковского „Ледяного дома“. Но есть и другая опасность, опасность слишком пристрастной положительной оценки. Едва ли нуждается Тредиаковский в подобной необъективной переоценке. И для читателя, и для истории литературы гораздо важнее знать Тредиаковского таким, каким он был: трудолюбивым эрудитом, умело использующим источники, настойчивым экспериментатором, но всегда противоречивым и не цельным» (с. 53).

А в заключении своей книги Павел Наумович, оправдываясь в «биографизме» (который тогдашние «методологи» считали самым страшным грехом), признается, что главных героев своей книги он всегда воспринимал как живых людей, а не как запыленные тома собрания сочинений. Он писал: «В работах, подобных настоящей, где делается упор на привлечение, систематизацию и интерпретацию частью известных, частью забытых, частью вовсе новых фактов, неизбежна опасность биографического уклона. Стараясь все время избежать греха биографизма, автор не может не признаться, что ни Ломоносов, ни Тредиаковский, ни Сумароков не были для него отвлеченными схемами, а представляли живые, реальные фигуры» (с. 286). И уже совершенно неожиданно звучит для нас признание исследователя о том, что Ломоносов «все же понятнее и ближе нам, чем „диковатый“ Тредиаковский и нервный, издерганный Сумароков» (с. 286).

Своеобразие этой книги Павла Наумовича в том, что в ней в виде отдельных замечаний или наметок будущих исследований в примечаниях изложена программа последующих разысканий, программа, к сожалению, только частично осуществленная самим ученым.

Приведу только несколько примеров превращения отдельных суждений и мыслей из книги в самостоятельные статьи.

Так, например, в одном из примечаний к главе второй Павел Наумович заметил по поводу цитаты из песенки «Молчите, струйки чисты»: «Сам Сухомлинов не считал возможным признать данное стихотворение ломоносовским и поместил его лишь в примечаниях... Между тем Ломоносов приводил в „Риторике“ примеры только из своих произведений» (с. 295).

В работе 1946 г. «Ломоносов и фольклор»<sup>6</sup> это лапидарное замечание превратилось в специальный этюд о литературной природе и характере этого стихотворения, о его взаимоотношениях с фольклором.

В предисловии к книге «Ломоносов и литературная полемика его времени» Павел Наумович указал, что одна из проблем, в ней не освещенных, — «это вопрос о роли церковной политики Елизаветы в процессе „славянизации“ русского языка в 1740-х годах» (с. 16).

Как известно, именно этот вопрос стал предметом исследования в одной из самых интересных работ Павла Наумовича, в его статье «Ломоносов и проблема русского литературного языка в 1740-х годах».

Возражая тем языковедам, которые подчеркивали «консерватизм, националистичность» литературно-языковых позиций Ломоносова, Павел Наумович указывает, что они в своих построениях ограничивались «материалами из одного лишь „Предисловия о пользе книг церковных в российском языке“ и отчасти „Российской грамматики“ Ломоносова. Вместе с тем и эти материалы берутся не в их исторической обусловленности, не в связи с реальной обстановкой, в которой они возникли, не в конкретном историческом окружении, а абстрагированно, обособленно, как продукты чистой умозрительности».<sup>7</sup> И вот, чтобы избежать соблазнов «чистой умозрительности», Павел Наумович вовлекает в свое исследование конкретно-исторический материал эпохи — придворную проповедь 1740-х годов. «Проповеди времени Елизаветы, — пишет он, — представляли собой серьезную общественную силу в руках духовенства, но при всех мелких и частных выгодах, которые при этом приобретала и использовала церковь, все же проповедь была одним из идеологических звеньев пра-

<sup>6</sup> Берков П. Н. Ломоносов и фольклор. — В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. II, с. 107—129.

<sup>7</sup> Берков П. Н. Ломоносов и проблема русского литературного языка в 1740 годах. — Изв. АН СССР, отд. общ. наук, 1937, № 1, с. 203.

вительственной политики. Правительство было — в особенности на первых порах — кровно заинтересовано в регулярности ее произношения, в своевременности ее печатания, в умелом ее распространении среди подданных. Это делает проповедь сороковых годов XVIII века фактом, мимо которого нельзя пройти ни историку, ни литературоведу: последнему по той причине, что, несмотря на свой политико-публицистический характер, проповедь воспринималась тогда как явление художественной литературы».<sup>8</sup>

И далее идет анализ теоретических высказываний Ломоносова на фоне современной ему ораторской прозы, в том числе и церковной, который позволяет понять полемический смысл его работ и уточнить литературно-языковую позицию, основанную, как доказывает Павел Наумович, на реальном подходе к нуждам и возможностям русской литературы.

П. Н. Берков всегда стремился идти в ногу со своим временем, отзываться на те проблемы, которые возникают в ходе развития мировой науки.

С этой точки зрения особую важность имеют его работы о Ломоносове 1960-х годов, особенно «Литературные интересы Ломоносова» (1962) и «Проблема литературного направления Ломоносова» (1962).

Они связаны со спорами о барокко в русской литературе, которые начались на Западе и у нас с конца 1950-х годов, когда вновь стало предметом обсуждения место Ломоносова среди литературных направлений его времени и особенно его отношение к барокко. Споры эти еще далеко не кончены; и самое лучшее и обстоятельное изложение истории вопроса находится именно во второй из названных статей Павла Наумовича.<sup>9</sup> Характерно в этом смысле начало статьи: «Столь дискуссионный в последние тридцать лет вопрос о том, к какому литературному направлению принадлежал Ломоносов, вероятно, удивил бы любого гимназиста и гимназистку дореволюционного времени. Они без малейших колебаний ответили бы: „К ложноклассическому!“ и при этом сослались бы на учебники и пособия по истории русской литературы, по которым в те годы обучались в средней школе».<sup>10</sup> И далее он говорит о том, как изменялось отношение к классицизму в советской науке и как интерпретировалось место Ломоносова в классицизме.

Останавливается Павел Наумович и на том, как обосновывается принадлежность Ломоносова к барокко современными исследователями славянского барокко, и, приведя слова д-ра Андьяла, он замечает: «... в этой цитате очень ярко отразилось

<sup>8</sup> Там же, с. 218.

<sup>9</sup> Берков П. Н. Проблема литературного направления Ломоносова. — В кн.: XVIII век. Сб. 5. М.—Л., 1962, с. 5—32.

<sup>10</sup> Там же, с. 5.



обыкновение и самого автора письма и вообще сторонников „барокко“ пользоваться термином, определить содержание которого они отказываются и предпочитают заменять его описанием. Но разве „патетичность, риторичность и декоративность“ характерны только для барокко (или того, что д-р Андьял и другие пазывают барокко)? Разве поэзию Виктора Гюго не обвиняли в „патетичности, риторичности и декоративности“, не называя его поэтом барокко, а вполне справедливо считая романтиком? Разве стихи Бальмонта и других русских ранних символистов («декадентов») не укоряли в „патетичности, риторичности и декоративности“?». <sup>11</sup> Не принимая ни самого термина (барокко), ни описательных его определений, Павел Наумович обращается к истории, данные которой он неизменно предпочитал «абстрактной умозрительности».

Он напоминает нам о забытой, но чрезвычайно важной особенности русской и общеевропейской культуры XVII—XVIII вв. — о латинской образованности как основе всех гуманитарных наук и литературы того времени. Поэтому в объяснение литературной полемики Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова теперь Павел Наумович предлагает внести новый элемент — различие в истоках, разницу в воспринятых традициях: «Литературная подготовка Ломоносова и Тредиаковского, выросших, с одной стороны, на традициях прекрасно усвоенных материалов древнерусской письменности, а с другой, на традициях античной и новолатинской образованности, решительно превосходила дилетантскую в конечном счете подготовку Сумарокова и его учеников. И перед теми, и перед другими стояла почти в одно и то же время <...> одна и та же задача: усвоить новейшие литературные течения Запада, точнее — Франции и Германии. Но решали они ее по-разному в силу тех причин, о которых говорилось выше: традиции и подготовка были у них разные». <sup>12</sup>

Так Павел Наумович предложил новое объяснение внутренней борьбы в русском классицизме — объяснение, вытекающее из всей его прежней работы над Ломоносовым, но впервые так отчетливо и убедительно сформулированное. Ибо задача, которую ставил перед собой ученый в этой статье, — определить место Ломоносова в литературном движении его времени — не сводилась только к выяснению причин расхождений между Ломоносовым и Сумароковым, она требовала и объяснения возможности их сближения, объяснения того, почему деятельность создателей новой русской литературы «была в целом направлена по одному пути: они усваивали то, что нужно было русской литературе на тогдашнем этапе ее развития, усваивали то, что впо-

---

<sup>11</sup> Там же, с. 15.

<sup>12</sup> Там же, с. 31.

следствии стало называться классицизмом, хотя сами, конечно, этого не подозревали».<sup>13</sup>

Павлу Наумовичу появление и самое существование русского классицизма всегда представлялось историческим фактом огромного общекультурного значения, важнейшим звеном «процесса вхождения русской литературы в общеевропейское литературное развитие».<sup>14</sup>

Не ставя себе целью характеристику явлений барокко в русской литературе середины XVIII в., Павел Наумович подкрепляет свою точку зрения на отношение Ломоносова к барокко анализом его теоретических высказываний, ранее в этой связи не привлекавших внимания исследователей. Я имею в виду те слова Ломоносова в «Риторике», в которых Павел Наумович видел прямое осуждение Ломоносовым «основного принципа поэтики барокко» — так называемого кончетизма. Как указывает Павел Наумович, Ломоносов в 130 параграфе «предупреждает своих читателей о необходимости соблюдения чувства меры при „изобретении витиеватых речей“, т. е. предлагает избегать того, что в конечном счете составляет существо, душу барокко как искусства маньеризма. „Но сие показываем, — пишет Ломоносов, — не с таким намерением, чтобы учащиеся меры не знали и последовали бы нынешним италиянским авторам, которые, силясь писать всегда витиевато и не пропустить ни единой строки без острой мысли, нередко замираются“».<sup>15</sup>

Столь резкое выступление Ломоносова против кончетизма, то есть против одного из основных стилистических принципов барокко, отмеченное Павлом Наумовичем в этой статье, чрезвычайно существенно, ибо остроумие и острый разум действительно являются боевыми лозунгами самых видных теоретиков барокко. Вышедшая в 1969 г. статья И. Н. Голенищева-Кутузова «Барокко и его теоретики»<sup>16</sup> содержит очень интересную сводку высказываний теоретиков испанского и итальянского барокко, для которых остроумие, острый ум, неожиданность сопоставления отдаленнейших предметов и явлений является главным принципом искусства,<sup>17</sup> его основным эстетическим законом, тогда как Ломоносов в 146-м параграфе «Риторики» писал, что, гоняясь за остроумием, «охотники до замысловатых предложений» остерегались бы не завратиться «для того, что они меньше стараются о важных и зрелых предложениях, о увеличении слова чрез распространения или о движении сильных страстей, нежели о впитийстве».<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же, с. 32.

<sup>15</sup> Там же, с. 22.

<sup>16</sup> См. в кн.: XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969, с. 102—153.

<sup>17</sup> Там же, с. 140—145.

<sup>18</sup> Берков П. Н. Проблема литературного направления Ломоносова, с. 22.

Историзм как основа методологии Павла Наумовича и в этом важном вопросе помог ему наметить правильный и плодотворный путь решения проблемы литературного направления Ломоносова, — проблемы, занимающей умы многих исследователей.

То понимание историзма, то уважение к фактам истории литературы, которому Павел Наумович никогда не изменял, сегодня нам всем, а особенно молодым исследователям, кажется совершенно обязательным и непрременным условием нашей науки. И в утверждении такого отношения к историзму в науке вообще одна из самых важных его заслуг.

Ученый и его вклад в науку измеряются не столько новыми фактами и материалами, которые он сделал общим достоянием «ученой республики», как говорили в XVIII в., — материалы могут устареть и замениться новыми, а факты примелькаться и уже не возбуждать к себе интереса, — гораздо интересней для развития науки в целом то, какие вопросы ставит ученый, какие перспективы дальнейших исследований он намечает.

Работы Павла Наумовича о Ломоносове содержат обширную и аргументированную программу будущих исследований, путей, по которым должна пойти и, будем надеяться, пойдет наша наука о Ломоносове.

Хотелось бы указать только на один пример, на статью «Литературные интересы Ломоносова»,<sup>19</sup> в которой показано, как, располагая таким скудным материалом, как перечни и реестры книг, составленные Ломоносовым в разное время, можно основательно расширить наши представления о его литературной осведомленности, а это «расширение наших знаний о литературной осведомленности Ломоносова, — пишет Павел Наумович, — имеет большое историко-литературное значение».<sup>20</sup>

Устремленность в будущее нашей науки, нашей культуры в целом — отличительная черта научного творчества Павла Наумовича Беркова, и в его работах о Ломоносове она проявилась особенно ярко и интересно. Вот почему они еще долго будут определять наше понимание Ломоносова и наши пути исследования его литературного творчества.

---

<sup>19</sup> См. в кн.: Литературное творчество М. В. Ломоносова. М.—Л., 1962, с. 14—68.

<sup>20</sup> Там же, с. 14.

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

ОДЫ М. В. ЛОМОНОСОВА «ВЕЧЕРНЕЕ»  
И «УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖИЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ»

(К вопросу о датировке)

Две духовные оды Ломоносова, помеченные в заглавии, обычно одинаково датируются 1743 годом.<sup>1</sup> Однако основания этой датировки в различной степени достоверны. «Вечернее размышление» датируется 1743 годом по свидетельству самого Ломоносова, который писал в 1753 г., что его «„Ода о северном сиянии“ сочинена 1743 года».<sup>2</sup> В первый раз ода была напечатана в «Риторике» 1748 г. (с. 252—254).<sup>3</sup> В дальнейшем она вошла в «Собрание сочинений» 1751 г. (с. 34—36). «Утреннее размышление» впервые было опубликовано в тех же «Сочинениях», где оно предшествует «Вечернему».

Предположение о том, что оба «Размышления» написаны были одновременно, высказал А. Будилович в своем «Хронологическом указателе» к сочинениям Ломоносова. Он замечает по этому поводу: «Вероятно, того же времени и „Утреннее размышление о Божием Величестве“. По содержанию и форме это один из ранних поэтических опытов Ломоносова».<sup>4</sup> Никаких аргументов в пользу этого категорического утверждения Будилович не приводит.

Предположение Будиловича со ссылкой на него подхватил акад. М. И. Сухомлинов в академическом издании сочинений Ломоносова.<sup>5</sup> Обе оды помещены Сухомлиновым под 1743 г.,

<sup>1</sup> См.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8. М.—Л., 1959, с. 117 и сл., 120 и сл., №№ 30—31.

<sup>2</sup> Там же, т. 3, с. 123 («Изыяснения, надлежащие к слову о электрических воздушных явлениях»).

<sup>3</sup> Там же, т. 7 («Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика...», § 270, с. 315—318).

<sup>4</sup> Будилович Антон. Ломоносов как писатель. — Сб. ОРЯС АН, т. VIII, № 1, СПб., 1871, с. 9—10.

<sup>5</sup> Сочинения М. В. Ломоносова, с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова, т. 1. СПб., 1891, с. 109—111, 111—112.

сперва «Вечернее размышление», потом «Утреннее»; датировка последнего в оглавлении сопровождается вопросительным знаком. В примечаниях Сухомлинов пишет: «Не сохранилось точных указаний о времени написания „Утреннего размышления“. В первый раз напечатано оно в Собрании сочинений Ломоносова, 1751 года, и с тех пор постоянно помещалось непосредственно перед „Вечерним размышлением“. Оба „Размышления“ составляли как бы одно целое, и второе из них составляло pendant к первому — по буквальному выражению современника и почитателя Ломоносова. Предполагают, что „Утреннее размышление“ отнесется к тому же времени, как и „Вечернее“: „по содержанию и форме это один из ранних поэтических опытов Ломоносова“» (ссылка на А. Будиловича).<sup>6</sup>

Дальнейшие издания следуют за сухомлиновским. В новом академическом издании 1959 г. мы читаем об «Утрепнем размышлении»: «Датируется предположительно 1743 г., по тесной связи с „Вечерним размышлением о Божием Величестве“ <...>, которое, по свидетельству самого Ломоносова, написано в 1743 г. <...>. Так как с мая и до конца 1743 г. Ломоносов находился под стражей, то весьма вероятно, что оба „Размышления“ написаны им в период заключения».<sup>7</sup>

В издании сочинений Ломоносова под редакцией А. А. Морозова указано, что „Утреннее размышление“ написано, по-видимому, одновременно с „Вечерним размышлением“.<sup>8</sup>

Только П. Н. Берков и Г. А. Гуковский в издании «Библиотеки поэта» осмотрительно ограничились указанием: «Точная дата стихотворения неизвестна».<sup>9</sup>

Между тем существуют формальные критерии метрического характера, которые делают принятую датировку мало правдоподобной. Как известно, в первых своих одах Ломоносов, стремясь точно воспроизводить метрическую форму ямба, почти не допускал пропусков ударений на четных слогах (так называемой замены стопы ямба пиррихием). «Чистых ямбов» он требовал и теоретически для «высокой» поэзии. «Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаясь тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах, что я в мой нынешней и учинил»<sup>10</sup> (речь идет о первой редакции «Оды на взятие Хотина»).

<sup>6</sup> Там же. Примечания, с. 246.

<sup>7</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 909—910.

<sup>8</sup> Ломоносов М. В. Избр. произв. М.—Л., 1965 (Библиотека поэта. Большая серия), с. 529.

<sup>9</sup> Ломоносов М. Стихотворения. Под ред. акад. А. С. Орлова. [Л.], 1935, с. 345.

<sup>10</sup> «Письмо о правилах российского стихотворства» см.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7, с. 15.

Как мы показали в другом месте<sup>11</sup> на примере двух од 1741 г., посвященных Иоанну Антоновичу, Ломоносов действительно следовал вначале этому правилу. В первой оде (№ 21) обнаруживается только 5 пропущенных ударений в 210 стихах, во второй (№ 22) — 7 в 230. Этой норме соответствует и «Вечернее размышление», написанное, по сообщению Ломоносова, в 1743 г.: в ней насчитывается только 4 отступления от ямбического метра на 48 стихов. От этих оков, которые он сам на себя наложил, Ломоносов освобождается во второй половине 40-х годов. Его классические оды на восшествие на престол Елизаветы Петровны полностью соответствуют новой стихотворной технике: в оде 1747 г. насчитывается 188 пропусков ударения на 240 стихов, в оде 1748 г. — 170 на 240; только около 25% стихов имеют все четыре метрически заданных ударения.<sup>12</sup> К этому позднему ритмическому стилю Ломоносова примыкает и «Утреннее размышление», насчитывающее в отличие от «Вечернего» 32 пиррихия на 42 строки (около 25%).

Можно было бы, конечно, предположить теоретически, что, написав свое стихотворение в 1743 г., Ломоносов в дальнейшем полностью переработал первоначальную рукопись. Однако для такой гипотезы мало оснований, как и для предположения, что Ломоносов — по непонятным причинам — держал написанную оду «под спудом» в течение пятнадцати лет, не использовав ее даже, полностью или частично, в стихотворных примерах своей «Риторики». Сходство космологической, «натурфилософской» тематики обеих духовных од, близкой мировоззрению Ломоносова, поэта и ученого, на протяжении всей его жизни, не дает также оснований для мысли, что обе они должны были быть написаны подряд, одна утром, другая вечером, и что все это произошло в тот промежуток времени, когда Ломоносов «находился под стражей». Не совпадают между собой и строфические формы обеих од, из которых первая выделяется своими сплошными мужскими рифмами.

Тезис Будиловича о том, что «Утреннее размышление» принадлежит «по содержанию и форме» к числу ранних произведений Ломоносова, так и остался недоказанным. Единственная попытка в этом направлении была предпринята Л. В. Пумпянским,<sup>13</sup> который, связывая космологическую тематику «Размышлений» с несколькими, по его мнению сходными по теме, строфами «Оды

<sup>11</sup> Жирмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха. — В кн.: Теория стиха. Л., 1968, с. 7—23.

<sup>12</sup> Ср.: Тарановски Кирил. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953, с. 70—72 и табл. II, №№ 1—12; Томашевский Б. О стихе. Л., 1929, с. 106—108; Жирмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха, с. 21—22.

<sup>13</sup> Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века. — В кн.: XVIII век. Под ред. акад. А. С. Орлова. М.—Л., 1935, с. 102—110.

на прибытие императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург» (1742, № 27) и с библейской образностью «Оды, выбранной из Иова» (№ 169), относит все эти произведения к 1742—1743 гг. Однако попытка Л. В. Пумпянского отнести «Оду из Иова» к произведениям начала 40-х годов не была принята другими исследователями. Академическое «Полное собрание сочинений» 1959 г. датирует ее 1749—1751 гг. и тем самым ставит в связь с одновременными переложениями псалмов.<sup>14</sup> О том же свидетельствует и метрическая форма этой оды: 69 пропусков ударений на 112 стихов (около 20%).

Это позволяет нам высказать предположение, что «Утреннее размышление» было написано одновременно с другими «духовными одами» — между 1749 и 1757 гг. (временем его опубликования).

---

<sup>14</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 387—392 (№ 174).

К. Ф. ТАРАНОВСКИЙ

## РАННИЕ РУССКИЕ ЯМБЫ И ИХ НЕМЕЦКИЕ ОБРАЗЦЫ

1. Для раннего стиха Ломоносова (1738—1741) характерна различная трактовка так называемых пиррихий в хорейском и ямбическом стихе. В ломоносовском переводе оды Фенелона 1738 г. находим только 30% полнударных хореев, в то время как в переводе из Анакреона того же года все строки полнударные. В примерах из его «Письма» (1739) в хорейской строфе «Нимфы окол нас кругами» из шести строк только одна четырехударная, две строки трехударные, а три двухударные; в ямбической строфе «Весна тепло ведёт» все пять строк полнударные. Эту разницу в трактовке размеров Ломоносов обосновал в «Письме» и теоретически. В легкой поэзии он допускал пиррихии («оные стихи я употребляю только в песнях»), а для поэзии высокой («торжественных од») требовал полнударности. Эти «оковы» Ломоносов «сам на себя наложил».¹ Требование полнударности в стихе он мог найти в схоластической теории немецких теоретиков, но не в практике немецких стихотворцев.

2. Сопоставление ритмической структуры ранних ломоносовских ямбов (до 1744 г.) с немецкими текстами, послужившими ему непосредственными образцами (оды Гюнтера, Штелина и Юнкера), представляет немалый интерес. В этих текстах Ломоносов мог найти не только спондеи (*Já, Nóth mácht óft Gebéth aus Flúchen; Die Fréudenglút fríkt Kráut und Lóth*), но и пиррихии (*Und Catharínens hóchste Cúnst; Ein tödliches Verchángnuß wíßen; Zerréíßt der Saracénen Héll; Die Wárheit hást die Mahleréy*), и хорейямбы (*Dóch die erfüllte Hóffnung rúft; Dein Lób mácht dóch kéin Conterfréy; War díesen Tág éhmals bemúht*), а также и четырехсложную группу, которую Брюсов назвал бы «вторым эпитритом»: *«Káum in drèi gántzen Viertelstúnden»*. Строк с иктами, не наделенными ни главным (Hauptton), ни побочным

¹ Ср.: Жирмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха. — В кн.: Теория стиха. Л., 1968, с. 21.



(Nebenton) словесным ударением, в немецком стихе не так мало, как это часто утверждается: в среднем четырехстопном ямбе их около 25%.

3. Ритмическую структуру оды Гюнтера на победу принца Евгения над турками, послужившей, как известно, поэтической моделью «Оды на взятие Хотина»,<sup>2</sup> характеризует следующий профиль ударности: 97—90,4—88—99.<sup>3</sup> Самыми устойчивыми иктами оказываются первый и четвертый, а самым неустойчивым — третий. Что же касается отдельных форм, первая (полноударная) форма явно преобладает (75,4%).<sup>4</sup> Около одной четверти всех форм (23,6%) составляют трехударные формы:

II ◡◡◡—◡—◡—(◡) 2,2%    III ◡—◡◡◡—◡—(◡) 9%  
IV ◡—◡—◡◡◡—(◡) 11,4%    IX ◡—◡—◡—◡◡◡ 1%.

На все двухударные формы приходится около 1%.

4.1. Первая редакция Хотинской оды до нас не дошла. Переработанный текст оды был напечатан полностью в 1751 г. Из более ранних редакций оды 35 строк приведено в «Риторике» 1744 г. и еще 17 — в «Риторике» 1748 г. Из 35 строк в первой «Риторике» — 33 полноударные (т. е. 94%) и только в двух строках второй икт безударный (III форма). В редакции 1751 г. находим в этих строках еще две трехударные формы (III и IV). В семнадцати строках из второй «Риторики» только 13 строк первой формы и по две строки третьей и четвертой. Эти 17 строк, по всей вероятности, уже являются переделкой текста 1739 г. В редакции 1751 г. в этих семнадцати строках находим еще три строки третьей формы. Интересно, что, перерабатывая оду, Ломоносов обыкновенно заменял полноударные строки третьей формой («Он сільну такъ вноси́л десни́цу» — «Так сільну возноси́л десни́цу»).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Степень зависимости Ломоносова от Гюнтера точно определена В. М. Жирмунским (там же, с. 16).

<sup>3</sup> Во всех подсчетах немецкого стиха учитывались все словесные ударения (главные и побочные) как элементы фонологии слова. Побочным ударением называем более слабое ударение, падающее на вторую часть сложного слова (Mórgenlánd) или на так называемый тяжелый суффикс (Ewigkèit). Потенциальное усиление громкости некоторых безударных слогов, которое свойственно немецкой четкой речи и которое Минор (J. Minor. Neuhochdeutsche Metrik. Strassburg, 1902, S. 121) называет «возможным побочным ударением», является факультативным элементом фразной фонологии и, естественно, не вошло в наш учет. Спор об этих «полуударениях» фактически ведется не в плане стихосложения, а в области стихопроизнесения, между сторонниками скандирования стиха и сторонниками естественного чтения.

<sup>4</sup> Такой высокий процент первой формы объясняется тем, что в немецком языке средняя длина акцентной единицы составляет около двух слогов.

<sup>5</sup> Весьма вероятно, что и четвертая строка первой строфы: «В долине тишина глубокой» в редакции 1739 г. была полноударной. См. примеры переделанных строк в указанной статье В. М. Жирмунского (с. 19).

4.2. В окончательной редакции Хотинская ода обнаруживает структуру, очень близкую к стиху Гюнтера. В ней 69.3% всех строк являются первой формой, 1% — второй, 15.4% — третьей и 13.9% — четвертой<sup>6</sup> и только одной строкой («И что на турках тяготá», 0.4%) представлена шестая форма. Профиль ударности: 98.6—84.6—85.7—100.

5. Две оды 1741 г., посвященные Иоанну Антоновичу (№ IV и V),<sup>7</sup> дают нам еще более полное представление о ранних ломоносовских ямбах. В первой из них 97%, а во второй 95.7% всех строк осуществляют первую форму. Двухударных форм в этих одах еще нет. Из трехударных форм чаще всего встречается третья (1.4 и 2.2%), на втором месте — четвертая (1 и 1.7%) и на последнем — вторая (0.5 и 0.4%). Итак, в своих первых трех одах Ломоносов оказался ригористичнее своего немецкого учителя: его первые опыты всецело основываются на теории, требовавшей ударности всех иктов в стихе.

6.1. В дальнейшем развитии ломоносовского ямба несомненную роль сыграли два его перевода с немецкого: оды Штелина (декабрь 1741 г., № VI) и оды Юнкера (апрель 1742 г., № IX). Работая над этими переводами, Ломоносов более внимательно присмотрелся к практике немецких стихотворцев.

6.2. Сопоставим статистические данные для оригинала Штелина и перевода Ломоносова:

	Ударные слоги				Формы						
	2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI	Ост.
Шт.:	91.7	91.7	88.5	99.0	71.9	8.3	7.3	11.5	—	—	1.0
Л.:	95.8	85.3	82.1	100.0	64.2	4.2	13.7	16.8	1.0	—	—

Сходство ритмической структуры в обоих текстах, несмотря на малое число строк (96 у Штелина и 95 у Ломоносова), бросается в глаза.<sup>8</sup> В этом переводе Ломоносов больше не избегает безударных иктов. Особенно показательна седьмая строфа перевода: из восьми строк этой строфы только одна полноударная. В двенадцати случаях штелинские строки с одним пиррихием переведены Ломоносовым трехударными строками; в семи слу-

<sup>6</sup> Как видно из сказанного в параграфе 4.1, преобладание третьей формы над четвертой в этой переработке не случайно.

<sup>7</sup> Номера од приводятся по изд.: Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова, т. 1. СПб., 1891.

<sup>8</sup> Слишком низкий процент ударности первого икта у Штелина не типичен для немецкого стиха. Пропуски ударений на втором слоге сосредоточены у него в первой и последней строфе. Если вычислить профиль ударности без этих двух строф, то получится профиль, характерный для немецкого четырехстопного ямба: 96.3—91.2—87.5—98.8. — Восьмую строку первой строфы Ломоносов перевел пятистопным ямбом: «Не Основатель ли тогò приходит». Кроме этой строки с двумя пиррихиями в его переводе есть и одна строка пятой формы четырехстопного ямба: «Возрѣт пусь на Елисавету».

чаях Ломоносов повторяет ритмический ход немецкого текста, например:

- <sup>24</sup> Чтобы Елисавет родилась (III)  
<sup>24</sup> Elisabeth gebóhren werden (III)  
<sup>33</sup> Чинил что прѣжде Константин (IV)  
<sup>33</sup> Wie éhmals Cónstantin gethán (IV)

6.3 Сопоставление немецкой оды Юнкера с ломоносовскими переводами приводит нас к тем же выводам:

	2	4	6	8	10	12	I	II	III	IV	V	VI	Сег.
Ю.:	90.7	92.9	92.9	91.4	86.8	99.6	60.0	7.9	5.4	3.9	7.9	9.6	5.4
Л.:	97.5	93.2	91.8	99.6	91.8	100.0	75.4	2.1	6.1	7.9	—	7.1	1.4

И в этом переводе, как и в первом, Ломоносов иногда повторяет ритмический ход немецкой строки:

- <sup>95</sup> Verschiedner Néigungen // der Diener und des Sáchen...  
<sup>95</sup> Разли́чных склѳнностей // в слуга́х и всѳй державе...  
<sup>198</sup> Und ónne Sie sind wir // ein róher Diamánt...  
<sup>198</sup> Без ни́х мы мра́чны, ка́к // нечи́щенный алма́з...

7.1. В промежутке между этими переводами, в феврале 1742 г., была напечатана ломоносовская ода на прибытие Петра Федоровича из Голштинии (впоследствии переделанная для издания 1751 г.: №№ VII и VIII). Вот статистические данные для обеих редакций:<sup>9</sup>

		2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI
р. 1742		97.5	86.7	84.2	100	68.4	2.5	13.3	15.8	—	—
р. 1751	а)	96.7	80.8	55.0	100	35.0	0.8	19.2	42.5	—	2.5
	б)	97.2	82.9	53.6	100	35.8	0.7	17.1	44.3	—	2.1

Как видим, данные для первой редакции почти полностью совпадают с данными для перевода оды Штелина. Сильно переделанная вторая редакция близка к ломоносовскому стиху 1745 г.

7.2. Две последующие оды, № X (конец 1742 г.) и № XI (июнь 1743 г.), к сожалению, дошли до нас только в позднейших редакциях. Сравнивая статистические данные для этих од, можно прийти к выводу, что первая из них (посчитывающая 440 строк) подверглась более обстоятельной переработке, чем вторая (140 строк):

	2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI
№ X:	98.0	84.1	75.9	100	58.9	1.8	15.2	23.2	0.7	0.2
№ XI:	98.6	90.7	87.1	100	77.1	1.4	8.6	1.2	0.7	—

<sup>9</sup> Для редакции 1751 г. даются два подсчета: а) 120 строк в строфах, соответствующих первой редакции; б) 140 строк с двумя новыми строфами (8-й и 9-й).

7.3. Перевод 143 псалма, дошедший до нас в двух редакциях (№ XII), представляет дальнейший шаг к освобождению ломоносовского ямба от полноударных строк:

	2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI
р. 1743:	96.7	88.3	63.3	100	48.3	3.3	11.7	36.7	—	—
р. 1751:	96.7	86.7	63.3	100	46.7	3.3	13.3	36.7	—	—

По сравнению с предыдущим стихом, сильно понизилась ударность предпоследнего икта (на 20%) и сильно увеличился процент IV формы за счет первой. Как видим, вторая редакция очень незначительно отличается от первой: в ней только две строки изменены ритмически (11-я и 38-я).

7.4. Особого рассмотрения требуют два «размышления» Ломоносова (№ XIII и XIV), которые обыкновенно датируются 1743 г. На разницу в их структуре обратил внимание В. М. Жирмунский и сделал надлежащие выводы.<sup>10</sup> Разница между ними весьма значительна:

	2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI
№ XIII:	100	89.6	93.7	100	83.3	—	10.4	6.3	—	—
№ XIV:	95.2	78.6	50.0	100	23.8	4.8	21.4	47.6	—	2.4

В первом «размышлении» бросается в глаза очень высокий процент полноударных строк, напоминающий стих 1741—1742 г. Преобладание третьей формы над четвертой, может быть, указывает на то, что дошедший до нас текст уже был подвергнут переработке. Как выше было сказано, переделывая свои ранние тексты, Ломоносов часто заменял полноударные строки именно третьей формой. Почти с полной уверенностью можно утверждать, что «Вечернее размышление» было написано до переложения 143-го псалма. Что же касается «Утреннего размышления», его ритмическая структура ближе всего к ломоносовскому стиху 1746—1747 гг. Весьма вероятно, что оно было написано в то время, когда Ломоносов начал работать над своей второй «Риторикой».

8. В конце 1743 г. напечатаны и первые ямбы Сумарокова: «Ода Елисавете Петровне (в 25 день ноября)» и переложение 143-го псалма. Третья ранняя ода («Ода, сочиненная в первые лета моего во стихотворении упражнения») была опубликована впервые в 1781 г. Вот данные для всех трех произведений:

	2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI
Ода Е. П.:	92.9	89.4	69.4	100	53.5	5.3	10.6	28.0	—	2.4
Пс. 143:	92.4	81.8	57.6	100	31.8	7.6	18.2	42.4	—	—
Ода, соч.:	94.4	80.6	58.9	100	36.1	3.9	18.9	38.9	0.5	1.7

<sup>10</sup> Жирмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха, с. 20—21. — Ср. статью В. М. Жирмунского «Оды М. В. Ломоносова „Вечернее“ и „Утреннее размышления о Божием Величестве“» в настоящем сборнике,

По сравнению со стихом Ломоносова у Сумарокова наблюдается еще более облегченный стих, в особенности в переложении 143-го псалма. Уже в «Оде Елисавете Петровне» Сумароков употребляет и двухударные формы: VI форма («Семирамидины сады») встречается в ней четыре раза. «Ода, сочиненная в первые лета...», вероятно, была в дальнейшем переработана. Все же ее ритмическая структура мало отличается от структуры 143-го псалма.

9.1. Полемика 1743 г., связанная с переложением 143-го псалма, свидетельствует о том, что три ведущих поэта того времени обсуждали основные вопросы стихотворного ритма. Трудно поверить, чтобы при этом они не затронули вопроса о допустимости пиррихий в ямбе. Как бы то ни было, после переложения 143-го псалма Ломоносов не возвращался к полноударным ямбам. Возникает вопрос: не повлиял ли на ломоносовские ямбы, написанные после 1744 г., более легкий стих Сумарокова?

9.2. Ямбы Ломоносова и Сумарокова 1742—1743 гг. сильно напоминают ритмическую структуру немецкого стиха, в первую очередь стиха Гюнтера. И в том и в другом стихе сильными иктами выделяются начало и конец строки, причем и в том и в другом предпоследний икт самый неустойчивый. И у Гюнтера, и у русских поэтов преобладает первая форма; из трехударных форм самая частая — четвертая, на следующем месте — третья и, наконец, на последнем — вторая. Возможен вопрос: не образовалась ли эта структура в русском четырехстопном ямбе под влиянием немецкого стиха?<sup>11</sup> На него следует ответить отрицательно: подобная структура должна была естественно возникнуть в русском стихе. И теоретический ямб (вычисленный на основании ритмического словаря прозы по теореме о переумножении вероятностей), и «случайный ямб» (четноударные восьми- и девятисложные отрезки прозы) обнаруживают аналогичную структуру:<sup>12</sup>

	2	4	6	8	I	II	III	VI
Т. я.:	92.3	62.4	57.3	100	14.5	7.7	37.6	40.2
Сл. я.:	89.0	65.6	60.2	100	14.8	11.0	34.4	39.8

От фактического стиха эти данные отличаются в первую очередь низким процентом полноударных форм, чего, собственно, и следо-

<sup>11</sup> В своей книге «Руски дводелни ритмови» (Београд, 1953) автор настоящей статьи ответил на этот вопрос положительно и ныне рад случаю исправить свою тогдашнюю ошибку.

<sup>12</sup> В этих подсчетах не учитывались двухударные формы ввиду того, что Ломоносов их до 1745 г. явно избегал. Ритмический словарь Ломоносова вычислен по его «Письму» (первых 1000 акцентных единиц); «случайные ямбы» выискивались в его «Риторике» 1748 г. (§§ 1—140: всего 500 строк, из них — 50 четырехударных, 287 трехударных и 163 двухударных). Данные для всех шести форм будут приведены в параграфе 10. Следуют данные для ритмического словаря Ломоносова (римская цифра обозначает число слов в акцентной единице, арабская — ударяемый слог): I — 9.1; II 1 — 14; II 2 — 16.3; III 1 — 8; III 2 — 13.8; III 3 — 8.9; IV 1 — 0.9; IV 2 — 8.7; IV 3 — 5.8; IV 4 — 1.3; V 1 — 0.9; V 2 — 1.5; V 3 — 5; V 4 — 1.4; V 5 — 0.3; VI 2 и VI 3 — 0.2; VI 4 — 3.2; VII 3 — 0.5.

вало ожидать: не гоняясь за полноударностью, поэты все же значительно усиливали двусложное пульсирование ритма.

10. Во второй половине 40-х годов (точнее, до 1752 г., когда вышли «Сочинения» Тредиаковского) только Ломоносов печатал свои произведения, написанные четырехстопным ямбом. Сопоставим данные для его четырехстопного ямба с данными для «естественного» ямба (теоретического и случайного), принимающими в расчет и двухударные формы:<sup>13</sup>

	2	4	6	8	I	II	III	IV	V	VI
1) 1745:	94.0	84.0	56.0	100	38.0	4.0	14.0	40.0	2.0	2.0
2) 1746:	95.6	80.8	48.9	100	29.5	3.0	16.4	46.9	2.8	1.4
3) 1747:	98.3	74.6	46.3	100	22.1	0.8	23.3	50.8	2.1	0.8
4) 1748:	98.3	72.1	52.9	100	25.0	1.3	26.7	45.4	1.3	0.4
5) 1750:	94.3	73.0	47.0	100	20.0	1.7	25.2	47.4	1.7	3.9
6) 1747—51:	90.3	80.0	43.8	100	20.6	5.3	17.8	49.7	2.2	4.4
7) Т. я. Л.:	69.1	66.2	38.7	100	9.4	5.0	24.3	25.9	9.5	25.9
8) Сл. я. Л.:	70.0	66.8	40.6	100	10.0	7.4	23.2	26.8	10.0	22.6

По сравнению с ломоносовским стихом до 1744 г. его четырехстопный ямб после 1745 г. характеризуется некоторым сближением с «естественным» ямбом. Но это сближение только частичное: фактический стих никогда не достигает такого низкого процента полноударных строк и такого высокого процента двухударных форм (V и VI), какой мы находим в «естественном» ямбе. Мало того, в фактическом стихе происходит отбор в употреблении трехударных строк, а именно здесь дается явное предпочтение четвертой форме за счет третьей. Профиль ударности фактического стиха только в общих чертах напоминает диаграмму «естественного» ямба, главным образом во втором «полустишии» (третий и четвертый пкты). В первом «полустишии» фактического ямба сильно выделяется начальный икт. Фактический стих осуществляет тенденции, заложенные в языке: склонность к регрессивной диссимилиации ударений и к выделению первого сильного икта, которому предшествует начальная слабая доля стиха.<sup>14</sup>

11. Для «Риторике» 1748 г. Ломоносов перевел трехстопным ямбом анакреонтическое стихотворение «Ночную темнотю». Легкий стих этого перевода, с средним слабоударным иктом (профиль ударности: 97.9—37.5—100), сильно отличается от ломоно-

<sup>13</sup> В этой таблице приводятся данные для следующих произведений: 1) № XV; 2) XVI и XVII; 3) XXI; 4) XXXVIII; 5) LIV; 6) четверостишия и восьмистишия с перекрестной рифмовкой AbAb (псалмы 1, 34, 70 и 145 и «Полидор»); 6—7) см. прим. 12. Среди четырехстопных ямбов в «Риторике» 1748 г. особое место занимает перевод басни Лафонтена «Лишь только дневный шум умолк». Его профиль ударности: 93.3—86.7—70—100 сильно напоминает ломоносовский стих до 1745 г. Полноударных строк в этой басне 56.7%. И все же у нас нет достаточных оснований для изменения принятой датировки этой басни (1747). Перевод Лафонтена, Ломоносов мог просто «тряхнуть стариной».

<sup>14</sup> По этому вопросу см. наши статьи «Основные задачи статистического изучения славянского стиха» (в кн.: Poetics. II, Warszawa, 1966, с. 181—184) и «О ритмической структуре русских двусложных разме-

совского полноударного трехстопного ямба 1738 г. В этом переводе 35.4% полноударных строк (I форма), 62.5% осуществляют третью форму («Ночью темнотю») и только одной строкой (2.1%) представлена вторая форма («И при таком ненастье»). Такая ритмическая структура наблюдается и в «естественном» трехстопном ямбе.

12. В 1747—1748 гг. оформилась и русская ритмическая структура шестистопного ямба. Шестистопные ямбы в стихотворениях и стихотворных отрывках из второй «Риторике» Ломоносова, в трагедиях «Хорев» и «Гамлет» Сумарокова и в двух его эпистолах<sup>15</sup> принадлежат к тому типу этого размера, который условно называем симметричным:

	2	4	6	8	10	12
Риторика:	96.7	55.9	88.4	96.2	52.8	100
Хорев:	91.3	67.6	77.1	95.1	50.4	100
Гамлет:	87.4	69.0	77.1	96.4	45.0	100
Две эп.:	90.2	65.0	75.5	95.3	44.4	100

Обе тенденции, определяющие строй русских двусложных размеров, действуют в стихе обоих поэтов и в каждом полустишии в отдельности, и на протяжении всей строки. Оба полустишия в этом стихе отражают ритмическую структуру трехстопного ямба: второе полностью, первое — только частично. Ямб Ломоносова гораздо симметричнее сумароковского: у Ломоносова 88% всех строк, а у Сумарокова только 75—77% осуществляют одну из четырех форм трехстопного ямба. У Сумарокова регрессивная диссимиляция ударений, действуя через всю строку, распространяется на первое полустишие сильнее, чем в стихе Ломоносова (третий икт у Сумарокова значительно слабее, а второй икт значительно сильнее). В дальнейшем развитии сумароковского шестистопного ямба усиленное действие регрессивной диссимиляции на протяжении всей строки приведет к образованию второго, несимметричного типа русского шестистопного ямба.<sup>16</sup>

13. Анализ русского ямбического стиха сороковых годов XVIII в. приводит нас к следующим выводам: 1) «стихия русского языка» в раннем творчестве Сумарокова сказывалась сильнее, чем в поэзии Ломоносова того же времени; 2) русский ямбический стих приобрел свой специфический национальный характер, столь отличный от его немецких образцов, в 1746—1748 гг. в творчестве двух поэтов: Ломоносова и Сумарокова.

ров» (в кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971, с. 420—429).

<sup>15</sup> Статистические подсчеты шестистопных ямбов Сумарокова производились по изданиям: Сумароков А. П. 1) Гамлет. Трагедия. [СПб., 1748]; 2) Хорев. Трагедия. [СПб., 1747]; 3) Две эпистолы. [СПб., 1748].

<sup>16</sup> Несимметричный тип шестистопного ямба находим у Сумарокова, например в «Дмитрии Самозванце» (1771): 89.7—71.3—65.1—95.6—46.2—100. В этом стихе третий икт на 6% слабее второго.

## В. П. СТЕПАНОВ

### КРИТИКА МАНЬЕРИЗМА В «ПРИМЕЧАНИЯХ К ВЕДОМОСТЯМ»

Дискуссия о литературном барокко, широко развернувшаяся в научной литературе последних лет, начиналась в 1960-е годы, и одним из первых, кто выступил с уточнением историко-литературных построений, предложенных к тому времени зарубежной славистикой, был П. Н. Берков. В частности, говоря о русской литературе, он не находил оснований для зачисления в барочные поэты ни Тредиаковского, ни Ломоносова, ни Сумарокова, в творчестве которых наиболее рельефно отразился литературный процесс первой половины XVIII в. Характеризуя литературные взгляды Ломоносова, он писал: «Как ни отличалась литературно-общественная позиция Ломоносова от позиции Сумарокова, все же оба автора могли действовать и действовали в пределах того литературного течения, которое господствовало тогда в европейских литературах, в пределах классицизма». Свой вывод П. Н. Берков аргументировал указанием на отрицательное отношение Ломоносова к итальянскому маньеризму, одному из ответвлений позднего барокко.<sup>1</sup> В русской печати были, однако, и более ранние выступления против барочного стиля, позволяющие считать, что взгляды Ломоносова связаны с определенной традицией.

Среди немногочисленных литературных публикаций 1730—1740-х годов имеется несколько статей, посвященных именно

<sup>1</sup> Анализ состояния вопроса был дан в статье П. Н. Беркова «Проблема литературного направления Ломоносова» (в кн.: XVIII век. Сб. 5. М.—Л., 1962, с. 5—32). Здесь были также приведены выдержки из его переписки с доктором Андьялом, свидетельствующие, с каким пристальным вниманием П. Н. Берков следил за изучением стиля барокко на Западе. Специально вопрос об отношении Ломоносова к итальянскому маньеризму был рассмотрен И. З. Серманом, который показал, что некоторые положения «Риторики» Ломоносова прямо нацелены против подражателей кавалера Марино (см.: Серман И. З. Ломоносов и придворные итальянские стихотворцы 1740-х годов. — В кн.: Международные связи русской литературы. М.—Л., 1963, с. 112—134; далее сокращенно — Серман).



вопросам стиля. Они появились в первом русском журнале «Примечания к Ведомостям», выходявшем с 1728 по 1742 г. при Академии наук.<sup>2</sup> Частично эти тексты также связаны с оценками итальянской литературы.

Некоторое внимание литературным либретто итальянских опер уделялось в статьях Штрубе де Пирмона и Штелипа по истории оперы и театра. Правда, излагавшие здесь точки зрения не всегда можно считать выражением критического кредо авторов, которые не скрывали, что их работы носят ознакомительный характер и в основном являются компиляцией. Например, либретто итальянцев осуждались в этих статьях прежде всего с точки зрения «вольности», противоречащих воспитательным задачам театра, и по существу это обвинение является не более как повторением довольно распространенных представлений.

Но в тех же «Примечаниях» за 1735 г. был опубликован полный перевод писем госпожи де Ламбер сыну и дочери; краткое изложение этого популярного произведения моралистической литературы XVIII в. появилось на страницах издания еще тремя годами раньше. Говоря о круге чтения благородного молодого человека и касаясь воздействия искусства на мораль, сочинительница не только повторяла устойчивое мнение о фривольности итальянских писателей: «Женские особы охотно учатся по-итальянски, однако же то мне кажется опасно, потому что он есть язык любви, и итальянские писатели не весьма основательны. В их письмах находится много *шутки в словах* (курсив наш, — В. С.), к тому же они разум и рассуждение мечтаниями заражают».<sup>3</sup> Этот вопрос о связи «шутки в словах» с повреждением «рассуждения» специально ставится в статье «О различии между разумом и рассуждением», появившейся в номере 88 от 2 ноября 1739 г.

Вынесенные в заглавие статьи термины «разум» и «рассуждение» являются неудачным с точки зрения последующего развития русской философской терминологии переводом определений из второй книги «An Essay Concerning Human Understanding» Дж. Локка, которую автор статьи цитирует, называя книгой «О силе человеческого разума». Слово «разум» в контексте статьи

---

<sup>2</sup> По заданию журнал был научно-популярным, но в нем представлены и общелитературные материалы. Обзор появившихся здесь статей о театре и драматургии в свое время дал В. П. Перетц в статье «Исторический очерк русского театра» (Изв. ОРЯС, 1907, № 3, с. 181—225). О связи журнала с традицией моралистических европейских еженедельников см.: Левин Ю. Д. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века. — В кн.: Эпоха Просвещения Л., 1967, с. 17—24.

<sup>3</sup> Цит. по отдельному изданию Письма госпожи де Ламбер к ее сыну о праведной чести и к дочери о добродетелях, приличных женскому полу. СПб., 1761, с. 106. — Оно представляет простую перепечатку старого перевода, анонимно опубликованного в «Примечаниях» за 1735 г. (ч. 64—73, 80—82, 83—84, 94—99).

употреблено как синоним «остроумия», «живости ума», а под «рассуждением» понимается «способность (правильного) суждения».<sup>4</sup>

Остроумие Локк рассматривал как способность ума быстро формулировать мысли и разнообразно комбинировать те из них, «в которых можно найти какое-нибудь сходство или соответствие, чтобы тем самым нарисовать в воображении привлекательные картины и приятные видения». Способность суждения является при таком истолковании антагонистом остроумия, так как правильность суждения зависит от тщательного анализа исходных идей. Чтобы не впасть в заблуждение, требуется точность определений, а вместе с тем и точность выражения. «Этот образ действий, — заключает Локк, — прямо противоположен метафорам и намекам». Более подробно он развивает эту мысль в 10-й главе третьей книги своего труда, 34 параграф которой доказывает тезис, что «образная речь есть также злоупотребление языком».

Локк ставил вопрос о специфике литературного изложения, его отличии от научной речи в тесной связи с разработкой своей гносеологической теории. Но его рассуждения оказались весьма злободневными в эпоху становления классической теории и связанных с этим стилистических споров.<sup>5</sup> Рассуждение об остроумии имело живой литературный резонанс и отразилось в эстетике английских моралистов, в частности в журналах Стиля и Аддисона, через посредство которых приобрело европейскую известность.

Будучи писателями, оба автора прекрасно понимали, что «остроумие» как творческая способность является неотъемлемой составной частью литературного творчества и что художественная литература не может основываться только на здравом смысле. В центре полемики оказывается поэтому не отрицание «остроумия» в локковском понимании, а борьба с «ложным остроумием». Творческие поиски Стиля и Аддисона сводились к выработке и защите новой системы художественных средств, позволяющих построить литературу на началах логики и разума.<sup>6</sup> Опровержению «ложного остроумия» Аддисон посвятил цикл

---

<sup>4</sup> Такой перевод дается в соответствующем отрывке последнего проверенного переиздания «Опыта о человеческом разуме» (Локк Дж. Избранные философские произведения, т. I. М., 1960, с. 174).

<sup>5</sup> См.: Mac Lean K. John Locke and English Literature of the Eighteenth Century. N. Y., 1962. — На роль идей Локка в формировании русского классицизма указывал Г. А. Гуковский в статье «Русская литературно-критическая мысль в 1730—1750-е годы» (в кн.: XVIII век. Сб. 5. М.—Л., 1962, с. 122).

<sup>6</sup> Вопрос о сложной и продолжительной борьбе с «остроумием» и «остроумцами» в английской литературе эпохи Реставрации, а также о литературных взглядах Стиля и Аддисона подробно рассматривается в диссертации В. Д. Рака «Сатирико-наставительные журналы Аддисона и Стиля и литературная полемика их времени» (1966). Приношу благодарность автору за разрешение воспользоваться его выводами.

из шести эссе в «Зрителе». Защищая основной тезис классической литературы — «подражать природе» и «следовательно правде», он считал главным врагом современного искусства усложненный, цветистый поэтический стиль, самоцельную, не связанную с содержанием игру словами. Статья в «Примечаниях» представляет созвучное сокращение пятого эссе Аддисона.

Автор «Примечаний» принимает данное Локком определение «остроумия» за «яснейшее истолкование, которое человек о сей материи сделать может», но так же как и английский автор, не отрицает литературные приемы в целом. Сокращая текст своего источника, он акцентирует внимание на конкретном вопросе о структуре метафоры, так как «не всякое сходство понятий в разуме состоит, по оному сходству при том такову надлежит быть, чтоб оно и в других, у которых само объявляется, не только удивление, но и удовольствие причинять могло».

Метафору от простого сравнения отличает большая сложность ассоциаций. Сравнение по сходству очевидных признаков не производит «удивления», т. е. художественного впечатления: «Ежели голос одного с голосом другого человека или белый цвет какой-нибудь вещи с белизною или белестью снега сравнить, то никто не скажет, что из сего разум человеческий виден». Усложнение ассоциаций повышает литературную ценность метафоры: «Например, ежели стихотворец скажет, что грудь любезной его так бела как снег, так во оном его сравнении нимало разума нет; а буде он станет жаловаться, что она холоднее снегу, то сие за знак его разума принять можно». Однако для автора статьи суть вопроса заключается не столько в анализе структуры метафоры, сколько в том, чтобы указать на недопустимость злоупотребления сходством, «подобием слов», игрой словами в поэтической речи. Он отмечает, что новейшие стихотворцы часто удаляются от «натурального способа думать и писать, столь высокою инвенциею (изобретением, — прим. переводчика)», которая была в высокой степени присуща древним и основывалась на глубоком раскрытии темы, «дабы мысль собственною ее силою изъяснить и украсить».

Одновременно в статье дифференцируется представление о современной литературе. Сразу же отводится возможный упрек в адрес какой-то части писателей, следующих за древними классиками, хотя и не сумевших с ними сравняться. Эти «знающие люди» восхищаются «высокою инвенциею» древних: сами же «по большей части только для того от нее удаляются, что довольно и способного к тому разума не имеют, дабы мысль собственною ее силою изъяснить и украсить». С тем большей резкостью осуществляется нападение на сторонников «пустого игrania или искусной перемены в речах». Из приведенных в статье примеров ясно, кого имеет в виду автор: «Многие в том мнении находились, что любовь одного свойства с огнем и для того оную огнем и пламенем часто называли. Сим наши стихотворцы больше

других пользовались и чрез то о показании своего разума крайнее старание прилагали. Некто из них пишет, что холодное и беспристрастное взирание на его любезную и способная к возжжению сила его уверила, что очн ее не что иное, как изо льду сделанное зажигательное стекло. Как она плакала, то стихотворец желал, дабы силою любви произведенный приятный жар слезы любезной его через реципент (кубик, — прим. переводчица) его сердца перегнуть и всеобщим лекарством сделать мог. В другом случае уподобляет он слезы ее морю, а себя такому кораблю, который посреди волн сторает».<sup>7</sup>

«Беречься надобно, — замечается по этому поводу, — дабы одного знаменования словами самого сходства мыслей не презирать, и вместо удивления смеху не наделать».

Приведенные примеры были взяты Аддисоном из сочинений английского поэта-метафизика Коули. В «Примечаниях» освобожденная от конкретных указаний статья звучала как общее нападение на барочный стиль в литературе с позиций классической школы. Стиль барочных писателей — это продолжение варварства средних веков, аналог готическому стилю в архитектуре, безобразный и неизбежно уходящий в прошлое: «Что готы в архитектуре, то сии люди в Реторике и поэзии сделали <...> Но понеже таким архитекторам давно пашпорт дан, того ради с толь большею надеждою уповать можно, что скоро и с готическими скрибентами то же сделается».<sup>8</sup>

Вместе с тем сделанные в русской статье сокращения свидетельствуют, что автор «Примечаний» был осторожнее в выражении своих симпатий, чем английские полемисты. Кроме цитаты из Локка, он сохраняет лишь ссылку на мнение аббата Бугура (Bouhours), строгого пуриста в вопросах стиля, но в литературной борьбе фигуры достаточно нейтральной: «Никакая мысль изрядною быть не может, которая сама в себе неправда и с натурою вещей не сходна». Однако многочисленные обращения Аддисона к Буало и Драйдену, авторитетам новой школы, в «Примечаниях» были опущены.

<sup>7</sup> «... the cold regard of his mistress's eyes, and at the same time the power of producing love in him, considers them as burning-glasses made of ice»; «... when she weeps, he wishes it were inward heat that distilled those drops from the limbec»; «... sometimes he is drowned in tears, and burnt in love, like a ship set on fire in the middle of the sea» (цит. по изд.: The British essayists, v. V. London, 1823, p. 291—292 (№ 62, Friday, May 11, 1711)). — Вопрос о том, не использована ли в «Примечаниях» какая-либо промежуточная обработка эссе Аддисона, остается открытым. Французский (Le Spectateur, ou le Socrate moderne, t. 1-er. Paris, 1722, № 49, p. 315—326) и немецкий (Der Zuschauer. Aus dem Eupländischen übersetzt. Th. 1. 2-te verb. Aufl. Leipzig, 1750, № 62, S. 299—307; 2-е издание перевода, вышедшего из круга Готшеда) переводы точно воспроизводят оригинал.

<sup>8</sup> «... I look upon these writers as Goths in poetry, who like those in architecture, not being able to come up to the beautiful simplicity of the old Greeks and Romans» (The British essayists, v. V, p. 293).

С этим кратко пересказанным нами рассуждением связана также статья «О бардах или первых стихотворцах у древних немцев» и редакционные примечания, сопровождавшие текст оды неизвестного поэта, посвященной Аппе Иоанновне. Они появились в номерах 1, 2 и 7—8 «Примечаний» за январь 1740 г.

Здесь созвучные мысли высказаны в связи с историей немецкой поэзии. Давая высокую оценку зачинателю немецкого классицизма Опицу, автор исключает из числа поэтов «свору убогих стихотворцев», которые «уже так глубоко от немецкого Парнаса удалились, что ни один здравым умом и веселыми чувствами на сию гору взирающий человек об них не подумает и для того они в полном забвении погребены».<sup>9</sup> Героические песни древних бардов позволяют ему заметить, что эти основоположники поэзии «не одни только простых ковачи вершей и ткатели песен, но, по-видимому, гораздо лучших и важнейших наук люди были». Поскольку в системе наук XVIII в. ведущее место занимали этика и философия, нужно считать, что здесь вновь подчеркивается высокое содержание поэзии, а серьезный и простой стиль, соответствующий этому содержанию, противопоставляется искусному версификаторству. Может показаться, что подобные общие рассуждения, повторяющиеся из эпохи в эпоху, не заслуживают особого внимания. Дело, однако, в том, что теоретическое соображение получает в журнале конкретное приращение.

Пожелавший остаться неизвестным иностранец, всего несколько месяцев находившийся в Петербурге, сообщил в журнал оду на немецком языке. Аноним для читателей, он не был таковым для издателей, ибо они дали подробную характеристику его литературных симпатий. Он — «великий ревнитель к немецкому стихотворству, а притом презиратель бедных писателей и таких рифмоторцев, которые между внутренним существом стихотворной науки, также между пустым звоном рифм и циркулем отмеренных слов, никакого различия не знают»; к тому же он единомышленник издателей, так как именно от них надеется получить «справедливейшее рассуждение <...> о достоинстве стихотворной науки». Насколько справедливо подобное предположение, показывает пояснение редакций, интересное в том отношении, что оно в какой-то мере подытоживает ее литературную позицию.

«Тонкое рассуждение и способность к изъятию изрядными словами высоких мыслей, с природным дарованием, к достойной хвале славных дел, без сомнения за нужнейшие свойства стихотворца почтены быть должны. Только при сем подобно признаться, что оных свойств в происходящем ныне на свет великом множестве стихов так мало, что сей недостаток за главнейшую к тому

---

<sup>9</sup> В немецком оригинале: «Der Tross <...> der andern schwermet so entfernt, und so tief von dem Deutschen Parnass ab...». Русский переводчик допустил ошибку: «А Трос и другие подобные ему сочинители стихов...».

причину признавать надлежит, для чего стихотворство толь знатную часть древней своей части и достоинства потеряло. А великое число других <...> бедных стихотворцев, которые думают, что они уже великие мастера вирши писать, когда только рифму к рифме приплетут, и тем более стаповятся невразумительны, чем более остроумными показать себя хотят».

Литературная позиция «Примечаний» никогда специально не изучалась. Однако в ряде работ затрагивались те особенности культурной жизни 1730 х годов, которые проливают свет на полемические выступления журнала. Они объясняются литературными связями немецких членов русской Академии наук. Как известно, «Примечания» были двуязычным изданием. Номер составлялся на немецком языке, а затем переводился на русский академическими переводчиками. Первым редактором журнала был Г.-Ф. Миллер (профессор истории с 1730 г.). Впоследствии в нем участвовали Я.-Я. Штелин (профессор элоквенции и поэзии с 1737 г.), Ф.-Г. Штрубе де Пирмон (профессор права с 1738 г.), поэт Г.-Ф. Юнкер (профессор элоквенции с 1734 г.) и ряд других лиц. Среди причастных к литературе академических сотрудников стоит отметить профессора по кафедре греческих и римских древностей Г.-З. Байера и библиотекаря и библиографа И.-Ф. Бакмейстера. Упомянутые лица, представлявшие основные гуманитарные силы в Академии, были все, хотя и в разной степени, близки к новой школе немецкой поэзии, созданной Готшедом в Лейпциге. Штелин учился у Готшеда в Лейпцигском университете и был с ним лично знаком. До того как Готшед занял профессорскую кафедру, в том же Лейпциге учился Миллер.<sup>10</sup> Антимариристами по убеждениям были Байер и Бакмейстер, на что указал Л. В. Пумпянский, характеризуя поэтов «немецкой школы разума». Анализируя взаимоотношения Тредиаковского и Юнкера, он также установил, что последний пропагандировал в России принципы этой поэтической школы, ориентировавшейся в теории и практике на французский классицизм, и что лозунги, направленные против маринизма и прециозности, повлияли на «Эпистолу от российской поэзии к Аполлину».<sup>11</sup> Содержание споров, происходивших в Германии в 1720—1730-е годы и паверпяка известных в России, подробно изложено А. А. Морозовым в связи с литературными интересами молодого Ломоносова.<sup>12</sup> И Пумпянский и Морозов оставляются на издании сочинений Каница, которое в 1727 г. подготовил

<sup>10</sup> См.: Гуковский Г. А. Русская литература в немецком журнале. — В кн.: XVIII век. Сб. 4. М.—Л., 1958, с. 393—394; см. также: Lehmann U. Der Gottschedkreis und Russland. Deutsch-russische Litteraturbeziehungen im Zeitalter der Aufklärung. Berlin, 1966.

<sup>11</sup> Пумпянский Л. В. Тредиаковский и немецкая школа разума. — В кн.: Западный сборник. М.—Л., 1937, с. 159 (далее сокращенно — Пумпянский).

<sup>12</sup> Морозов А. А. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.—Л., 1962, с. 352—377 (далее сокращенно — Морозов).

и снабдил программным предисловием его ученик и соратник Кениг. Каниц, сознательный последователь Буало, выступал против прециозности с характерными для нее перифрастическими словесными ребусами и обертоновой метафорой.<sup>13</sup> Кениг в своем предисловии также осудил пухлые метафоры, ложные мысли, ребячливую игру словами и двусмысленные антитезы поэтического стиля.<sup>14</sup> Как видим, петербургские литераторы поддерживали борьбу с барокко и маньеризмом, разгоревшуюся в Германии.

Неясно, существовал ли конкретный повод для того, чтобы затронуть барочную тему в 1739—1740 гг. Если учесть, что оригинал «Примечаний» писался на немецком языке, то фразу «сим паши стихотворцы больше других пользовались» (см. выше, с. 42—43) скорее можно отнести к немецкой поэзии, чем к кому-либо из русских поэтов этих лет. Выступление «Примечаний» никак не могло относиться к Тредиаковскому, который в это время придерживался сходных взглядов на «украшенность» стиля.<sup>15</sup> Вряд ли оно связано с Ломоносовым, ода которого «На победу над турками и татарами и на взятие Хотина» попала в Петербург только в последних числах декабря 1739 или в первые дни 1740 г. и не сразу стала известной в литературных кругах. Тем более трудно соотнести его со стихами малоизвестных поэтов вроде Витынского и Махницкого.<sup>16</sup>

Кто были авторы рассмотренных статей? Как статья об остроумии, так и статья о бардах подписаны инициалами В.—С. Практика подписывания публикуемых материалов была введена в «Примечаниях» только с 1738 г. Они помечались двумя инициалами, из которых один принадлежал автору, а другой переводчику. В этом убеждают, например, подписи Т.—Ш. к одам Штелина, переведенным на русский язык Тредиаковским.<sup>17</sup> Статью о бардах П. Н. Берков приписал Штелину, ссылаясь на его автобиографию.<sup>18</sup> Что касается статьи об остроумии, то в «Материалах для истории имп. Академии наук» она вместе со статьей «О пользе театральных действий и комедий», также напечатанной за подписью

<sup>13</sup> Пумпянский, с. 160—168.

<sup>14</sup> Морозов, с. 352. — Здесь же приведены и показательные примеры образной системы такого рода: «Ревность вываривает в груди желчь как сахар» и т. п. (с. 379).

<sup>15</sup> См.: Серман, с. 128—130.

<sup>16</sup> См.: Куник А. Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке. Ч. I. СПб., 1865, с. XXVII (далее сокращенно — Куник).

<sup>17</sup> См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, т. IV. М., 1966, с. 172.

<sup>18</sup> Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, с. 68; Пекарский П. П. История имп. Академии наук, т. I. СПб., 1870, с. 555 (далее сокращенно — Пекарский). — Это же подтверждается «Материалами для истории имп. Академии наук» (т. VI. СПб., 1890, с. 513): «Von Herrn Stälin rühren... Abhandlung, von welchen die erstere die Barden oder Dichter der alten Deutschen».

В.—С., атрибутируется Штрубе де Пирмону.<sup>19</sup> В русской транскрипции подписи Штрубе и Штелина совпали. Вторая литера В., встречающаяся и в подписях под другими статьями, обозначает переводчика и, видимо, принадлежит С. С. Волчкову, работавшему с 1730 по 1764 г. при издании «Ведомостей».

Что касается автора оды 1740 г. на день восшествия на престол Анны Иоанновны и письма, помещенного перед нею, то прежде всего приходит на мысль кандидатура Юнкера, в 1737 г. уволенного из Академии, но оставшегося ее почетным иностранным членом. В 1739 г., собирая сведения об организации соляного дела в Германии, он провел четыре месяца во Фрейбурге, откуда выехал в конце ноября. С ним в Петербург были отправлены ода Ломоносова и письмо с обоснованием принципов тонического стихосложения. Скорее всего, он приехал в Петербург еще в конце 1739 г., так как в июне 1740 г., закончив свои дела, он со дня на день ожидал распоряжения Кабинета, чтобы отправиться на Украину.<sup>20</sup> Этому-то факту и противоречат слова автора оды Анне Иоанновне, что он хотел бы напечатать ее, «дабы прежде отъезду из России знак всеподданнейшего высокопочитания оставить». В связи с этим из постов, впервые выступивших на страницах «Примечаний» в 1740—1742 гг., внимание привлекает Иоганн-Людвиг Лесток, младший брат знаменитого лейб-медика и придворного интригана И.-Г. Лестока. В 1742 г. он поместил здесь за своей полной подписью оду в честь Елизаветы Петровны. Братья И.-Г. Лестока жили в Германии, однако сведений о времени приезда Людвига в Петербург обнаружить не удалось.

В рассмотренной односторонней полемике русские литераторы прямо не участвовали. Однако в то время, когда литературные споры не стали еще привычным явлением, эта полемика должна была обратить на себя внимание молодых русских литературных сил. Разумеется, о выраженных здесь взглядах и симпатиях можно говорить лишь как о частном отражении более общих, глубинных процессов. Статьи в «Примечаниях» играли роль ориентира, побуждали обращаться к оригинальным произведениям общеевропейской критической мысли. Как раз в эти годы получали свое первоначальное литературное образование писатели поколения Сумарокова. Попытка Академии через свой печатный орган воз-

<sup>19</sup> «Von Herrn Strube rühren drei Abhandlungen her, nämlich von Nutzen der Schauspiele zur Massigung der menschlichen Neigungen, im 83 und 86, von den stummen Schauspielen bei den Alten, im 87, und von dem Unterschiede zwischen Witz und Urteil, im 88. Stücke» (Материалы для истории имп. Академии наук, т. VI, с. 413). В немецком оригинале «Примечаний» статья об остроумии подписана S. von P., т. е. Strube von Pirmont, в то время как под статьей о бардах стоит подпись S., т. е. Stälin.

<sup>20</sup> Пекарский, т. I, с. 295—297; Куник, ч. I, с. XXXVIII; Морозов, с. 374.



действовать на формирование вкусов русских читателей вряд ли прошла для них бесследно. Профранцузские симпатии молодых дворянских литераторов ясно ощущаются в 1750-х годах. Пропаганда идей классицизма десятию годами раньше, хотя она велась немцами и в связи с немецкой литературой, подталкивала к более широкому усвоению этих идей из их первоисточника тем более, что воздействие «Примечаний» не ограничивалось непосредственно временем их издания. Сохранился ряд сведений о непрекращавшейся популярности журнала. Так, при организации «Ежемесячных сочинений» Ломоносов ставил «Примечания» в образец как полезное и приятное для публики начинание. Еще в 1750—1760-е годы любители чтения разыскивали для полного комплекта номера этого журнала, а впоследствии Академия наук сочла коммерчески возможным переиздание подборки статей из него в виде сборника.

Э. ВИНТЕР

**П. Н. БЕРКОВ И «МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ»**

Серия трудов «Материалы и исследования по истории Восточной Европы» («Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas»), которая издавалась с 1958 по 1966 г. и редактором которой я был, насчитывает 15 томов. Все труды, опубликованные в нашей серии, приобрели известность в международных научных кругах.<sup>1</sup> Благодаря изданным нами работам стал очевидным факт тесного культурного общения, существовавшего между Германией и Россией в XVIII столетии, и была признана значительная роль этого общения в истории европейской науки и культуры.

Создание нашей серии и работа ее редакции в значительной мере связаны с деятельностью П. Н. Беркова, что мне хотелось бы здесь особенно подчеркнуть. Уже после первой встречи с П. Н. Берковым в 1931 г. между моими научными взглядами и его позицией обнаружилась определенная близость, хотя мы сами тогда не обратили на это внимания. Позднее, убедившись в несостоятельности некоторых своих национально-религиозных убеждений, я с еще большим вниманием углубился в историю немецко-славянских и преимущественно немецко-русских взаимоотношений. Однако попытки систематически заниматься в Вене исследованиями в этой области натолкнулись на противодействие клерикальных кругов. Лишь в Галле, куда я переехал в 1947 г., а затем в Берлине, где я работаю с 1951 г., мне удалось наконец посвятить свои силы основательному изучению научных и культурных связей Германии и славянских стран во главе с Россией.

Моя книга «Галле как первоначальный центр изучения немцами России» (1953) непосредственно касалась вопросов, кото-

<sup>1</sup> См., например, обзор в журнале: Canadian Slavic Studies, 1967, v. 1, № 4, p. 524—554.

рыми интересовался П. Н. Берков. Осенью 1955 г., вскоре после того как я был избран действительным членом Немецкой Академии наук в Берлине, мне довелось посетить Ленинград и лично познакомиться с Павлом Наумовичем. Здесь, в Архиве АН СССР, собран большой, бесценный материал не только по истории русской науки, но и по истории науки и культуры Германии. Ввести этот материал в научный оборот — таковы были планы П. Н. Беркова и равным образом мои. Осуществлением этих планов и стала серия «Материалы и исследования по истории Восточной Европы».

В 1957 г. отмечалось 250-летие со дня рождения Л. Эйлера. По этому поводу в ГДР была организована международная научная конференция, в которой принял участие и П. Н. Берков. Он прочел там программный доклад, давший импульс и направление нашей дальнейшей работе. Материал конференции составил первый том серии, и доклад П. Н. Беркова явился, таким образом, своего рода предисловием к ее публикациям.<sup>2</sup>

В своем докладе П. Н. Берков указывал, что по сравнению с историей русско-французских или русско-английских связей общие вопросы взаимоотношений русской и немецкой культуры до того времени сравнительно мало освещались в литературе. В качестве первого опыта этого рода он называл мою статью «Встреча немецкой и русской культур в XVIII столетии», опубликованную в журнале «Wissen und Leben» за 1956 г. Но П. Н. Берков был прав, упрекая меня в том, что я писал только о встрече культур, тогда как речь должна была идти о плодотворных взаимных связях, об обмене духовными ценностями. Правда, вышедший тогда сборник статей к моему 60-летию уже получил заглавие «Немецко-славянские взаимосвязи за семь столетий». В то же время первый том нашей серии, несмотря на его не вполне точное название «Немецко-русская встреча и Леонард Эйлер», подтверждал, как и все последующие тома, наличие именно взаимосвязей и, следовательно, отвечал пожеланиям П. Н. Беркова.

Доклад П. Н. Беркова содержал перечень подлежащих изучению тем из истории немецко-русских культурных связей. Темы распределялись по шести группам: 1) Изучение роли немецких поселенцев в России, в первую очередь в Москве и Петербурге, с точки зрения культурных связей; 2) Русские студенты в Германии; 3) Немецкие путешественники в России; 4) Значение прибалтийских немцев — ученых и писателей в деле изучения России; 5) Переводы русских сочинений на немецкий язык и немецких на русский; 6) Сведения о русской литературе, театре, музыке и других искусствах, а также о рус-

<sup>2</sup> Berkov P. N. Deutsch-russische kulturelle Beziehungen im 18. Jahrhundert. — In: Die deutsch-russische Begegnung und Leonard Euler. Berlin, 1958, S. 64—85.

ском просвещении в немецких журналах и подобные же материалы, касающиеся Германии, в русской печати.

По недостатку времени П. Н. Берков смог остановиться только на первых двух группах вопросов, но его рекомендации остаются и сегодня исключительно важными. Обратив внимание аудитории на таких крупных ученых и государственных деятелей, как А. Виниус, И. Тауберт, А. Л. Шлёцер, К. Крюйс, он особенно подчеркнул значение школ, организованных в России немецкими преподавателями. Кроме того, знаменитые русские учебные заведения вроде академической гимназии или Шляхетного корпуса также, по мнению П. П. Беркова, служили посредниками в процессе общения русской и немецкой культур. К сожалению, эти рекомендации ученого все еще пока не использованы исследователями. П. Н. Берков посоветовал обратиться и к истории немецких пансионов — И. М. Шадена в Москве (конец 1770-х гг.), А. В. Вицмана в Петербурге (у последнего учились сыновья А. Н. Радищева). Дополнительно П. Н. Берков мог бы упомянуть гимназию Э. Глюка, созданную в начале XVIII в. В докладе были названы и другие немецкие педагоги, которые пользовались влиянием в России XVIII в., — Г. Гюйссен, И. Г. Фокерот.

Жившие в России немцы издавали немалое количество журналов. Для XVIII в. П. Н. Берков насчитал по меньшей мере 23 издания, печатавших более или менее обстоятельные известия о русской и немецкой науке, об искусстве обеих стран и находивших читателей как среди немцев, так и среди русских.

Вторая группа вопросов, намеченных П. Н. Берковым, относится к судьбе русских студентов, которые слушали лекции в Галле, а затем в Геттингене и Лейпциге. Многие российские академики обучались в молодости в немецких университетах.

В заключение доклада П. Н. Берков назвал ранние статьи о России и русской культуре, помещенные в немецкой печати. Он напомнил о сообщении одного из старых журналов Грейфсвальда относительно процесса над А. Н. Радищевым. Заметка, обнаруженная проф. Г. Раабом, оказалась вообще самым ранним печатным свидетельством об этом событии. Докладчик высказал сожаление, что немецкие материалы русских журналов не пользуются должным вниманием исследователей, а между тем это, как он выразился, «огромная и едва изученная область».

Ни русская, ни немецкая сторона не исчерпала в XVIII в. всех возможностей лучше узнать своего соседа, признавал П. Н. Берков. Но взаимный интерес безусловно существовал. «Подобные исторически прогрессивные тенденции, — говорил ученый, — всегда находят свое выражение в деятельности наиболее чутких представителей нации; даже если этих людей не-

много — за ними будущее».<sup>3</sup> Эти слова справедливы и по отношению к самому Павлу Наумовичу. В своей области он был инициатором работы, и в этом его великая заслуга. Намеченная им научная программа была обширна. С помощью наших «Материалов и исследований» мы сумели выполнить ее лишь частично.

Среди тех, кто способствовал созданию нашей серии, был Н. А. Фигуровский, тогда директор Института истории естествознания и техники АН СССР. Напомним, что темой конференции, после которой была создана серия, послужила деятельность математика Л. Эйлера. История науки осталась и впоследствии преобладающим направлением «Материалов и исследований» и нашла поддержку у такого видного советского специалиста в этой области, как А. М. Юшкевич. Руководимая мной группа сотрудников Немецкой Академии наук организовала ряд научных конференций, посвященных Э. В. Чирнгаузу, А. Л. Шлёцеру, М. В. Ломоносову, П.-С. Палласу.

Историко-литературным интересам П. Н. Беркова больше отвечала серия публикаций прежнего Института славистики Немецкой Академии наук, выходившая под редакцией академика Х. Х. Бильфельдта. В этой серии принял участие и я, напечатав там три большие работы, которые привлекли внимание П. Н. Беркова. Участники посвященного мне сборника Х. Грасхоф и У. Леман, работавшие в Институте славистики, стали деятельными последователями Павла Наумовича, специалистами по русской литературе XVIII в. и ее связям с Германией. Их работы целиком отвечают программе, намеченной их учителем.

Среди проблем, нашедших отражение в «Материалах и исследованиях», были и немецко-украинские связи. Они также входили в круг интересов П. Н. Беркова и других советских исследователей, например И. П. Еремипа. Следовало возместить урон, нанесенный культурным отношениям Германии и Украины гитлеровским фашизмом. В 1964 г. у нас состоялась конференция, посвященная Т. Г. Шевченко, и Павел Наумович очень сожалел, что не удалось опубликовать ее материалы.

Участие П. Н. Беркова в нашей серии выразилось в его труде об А. Селлии, вошедшем в сборник «Восток и Запад в истории научной мысли и культурных связей» (1966). Работа оказалась обширной, и часть ее материала была помещена в советской печати.<sup>4</sup> Павел Наумович посвятил свое исследование мне,

<sup>3</sup> Berkov P. N. Deutsch-russische kulturelle Beziehungen..., S. 85.

<sup>4</sup> См.: Berkov P. N. Zwei Dokumente zur Biographie von Burchard Adam Sellius. — In: Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. Festschrift für Eduard Winter zum 70. Geburtstag, hrsg. von W. Steinitz, P. N. Berkov u. a. (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd. XV). Berlin, 1966, S. 268—271; Берков П. Н. Бурхард-Адам (Никодим) Селлий и его «Каталог писателей о России» (1736 г.). — Вестник ЛГУ, 1966, № 20, Серия истории, языка и литературы, № 4, с. 98—109.

поскольку ему было известно, что и меня занимала фигура Селля. Посвящение доставило мне большую радость: подобные свидетельства дружбы не так часто встречаются в западном учебном мире.

Когда бы я ни посещал Ленинград — а это происходило довольно часто — я непременно встречался с П. Н. Берковым то в Архиве Академии наук, то в Публичной библиотеке, где он чувствовал себя как дома, превосходно ориентируясь в ее фондах, то в его домашнем кругу на даче в лесах Карельского перешейка. Беседы, которые мы с ним вели, немало помогли мне как редактору «Материалов и исследований по истории Восточной Европы».

Впрочем, не стоит забывать, что изучение немецко-русских связей XVIII в. составляло лишь одну из граней научной деятельности П. Н. Беркова. С какой тщательностью и любовью занимался Павел Наумович историей русско-французских литературных отношений!<sup>5</sup> Однако связи России с Германией всегда находились в центре его интересов. Наша серия «Материалов и исследований» обязана ему очень и очень многим. В ее работах продолжает жить этот скромный человек и большой советский ученый.

*(Перевод Р. Ю. Данилевского)*

---

<sup>5</sup> См.: Berkov P. N. Literarische Wechselbeziehungen zwischen Rußland und Westeuropa im 18. Jh. Berlin, 1968.

Х. ГРАСХОФ

### ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В своих последних работах П. Н. Берков не раз настоятельно указывал на необходимость диалектического подхода к изучению русской литературы XVIII в. и выступал против формальной классификации историко-литературного процесса и раздробления его на множество течений, направлений и школ, а также и против чрезмерного употребления различных «измов». Отрицательное отношение к истории литературы, втиснутой в прокрустово ложе различных литературных стилей и течений, П. Н. Берков особенно полно изложил в статье о русском классицизме.<sup>1</sup>

При анализе и оценке русской литературы XVIII в. должны быть несомненно учтены художественное отображение и восприятие литературной объективной действительности, существующих общественных условий и облика современника, идей и исторических событий эпохи, роль литературы в познании и отображении действительности, а также выработка обязательной нормативной поэтики. Однако принимая во внимание чрезвычайно ярко выраженную идейно-дидактическую устремленность литературы в эпоху Просвещения, литературоведы должны в дальнейшем больше изучать общественно-воспитательную функцию литературы XVIII в. В эпоху европейского, а вместе с тем и русского просвещения именно общественное назначение, воспитательная функция литературы стояли на первом месте среди всех других факторов, определявших развитие литературы. Этим обусловлен, в частности, тот живой интерес, который в наше время проявляется к литературе Просвещения, литературе эпохи поднимающейся буржуазии, вследствие ее воинственности, прогрессивности и устремленности в будущее, несмотря на свойственные ей художественные недостатки.

<sup>1</sup> Берков П. Н. Проблемы изучения русского классицизма. — В кн.: Русская литература. Эпоха Просвещения. XVIII век. Сб. 6. М.—Л., 1964, с. 29.

«В основных чертах Просвещения можно уже различить ростки нашей современной эпохи. Благодаря Просвещению противоречия человечества нового времени впервые стали достоянием общего сознания: противоречие между знанием и верой, из которого должна была родиться наука той эпохи как средство овладения природой и преобразования жизненной практики человека; противоречие между естественным правом и всеми исторически освященными учреждениями, насильственное разрушение которых являлось обязательным условием для возникновения буржуазного общества и капиталистического общественного строя». <sup>2</sup>

В конечном счете в каждом литературном произведении автор высказывает свое суждение об определенных проблемах, касающихся и его лично и всего общества. В этом заключается важная характерная черта любой литературы. Она «является целеустремленным процессом, направленным определенному адресату, определенной публике, которую автор желает сделать соучастницей или сообщницей своего литературного творчества. Ни одно литературное произведение не возникало никогда само по себе, а всегда как послание определенному кругу людей, которые должны были стать его слушателями или читателями, независимо от того, обращался ли автор к одной социальной группе, к целому классу, ко всей нации или к еще не существовавшей публике будущего». <sup>3</sup>

Рассмотрение русской литературы XVIII в. и ее общественно-воспитательной роли, ее «тенденциозности» — в лучшем смысле этого слова — позволило бы найти новый подход ко многим неразрешенным проблемам. Существенное ограничение принятой до сих пор схематичной классификации русской литературы XVIII в. в соответствии со строго очерченными литературными течениями — классицизм, сентиментализм, ранний реализм — под знаком обобщающего понятия «литература русского просвещения» позволило бы дать объективную и непредвзятую общую оценку творчества Прокоповича, Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова и других писателей вплоть до Радищева. При таком подходе художественное воплощение просветительских идей и общественно-эстетическая функция литературы оказались бы на переднем плане.

В истории человечества европейское просветительское движение, нашедшее свое выражение во французской буржуазно-демократической революции 1789 г., относится наряду с Великой крестьянской войной в Германии и «Славной революцией» 1688 г.

<sup>2</sup> Krauss W. Einführung in das Studium der französischen Aufklärung. — In: Grundprobleme der Literaturwissenschaft. Rowohlt Taschenbuch, Reinbeck bei Hamburg, 1968, S. 39.

<sup>3</sup> См.: Bahner W., Schröder W. Literatur und revolutionäres Bewußtsein in der französischen Aufklärung. — Weimarer Beiträge, 1970, II, 5, S. 87.



в Англии к «трем крупным решающим битвам» (Энгельс) подымающейся буржуазии против изжившей себя феодальной системы.

В царствование Петра I самодержавная Россия освоила новейшие и самые ценные достижения наиболее передовых европейских государств в области политики, экономики, науки и культуры. «Петр, — по словам Ленина, — ускорял перепимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства».<sup>4</sup> Решительные меры, значительно способствовавшие социально и политически необходимому процессу, не могли быть делом лишь одной, даже такой исключительной личности, как Петр I. Для этого было необходимо самоотверженное, беззаветное участие круга близких, энергичных сотрудников, которые под знаменем Просвещения и общественного прогресса вовлекли большинство русского народа в революционные преобразования и сделали новые идеи достоянием широких слоев населения. Тем самым в начале XVIII в. также и русская литература превратилась в боевое идеологическое оружие, и ее общественной задачей стало формирование национального и политического сознания самых широких слоев населения. Ведущие русские деятели во главе с архиепископом Феофаном Прокоповичем использовали старые, традиционные литературные формы школьной драматургии и проповеди с новыми целями: они распространяли просветительские идеи веротерпимости, современных научных знаний, естественного права, культуры и образования, нового государственного патриотизма и национального самосознания. Характерно, что при той большой роли, которую приобретала общественно-воспитательная функция этой «тенденциозной» литературы Петровской эпохи, для нее было симптоматичным противоречие между устаревшей художественно-языковой формой выражения и явно проступавшим новым идейным содержанием. Это отставание формы от содержания находит яркое выражение, в частности, в церковной проповеди Прокоповича о необходимости создания нового могучего русского флота. Личность Петра на протяжении всего XVIII в., в особенности в связи с дворянско-церковной реакцией, усилившейся после его смерти (1725), оставалась идеалом в литературе русского просвещения. Русские писатели, восхваляя этого великого царя, использовали его образ для замаскированной критики его ничтожных преемников. Это было своего рода заклинание мертвых, к которому, по словам Маркса, прибегало человечество, когда в эпохи революционных кризисов оно вызывало духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги и костюмы. Образ всемогущего неземного правителя мира, созданный средневековым религиозно-ортодоксальным мышлением, в лице Петра I приобрел черты земного властителя,

<sup>4</sup> Ленин В. И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности. Полн. собр. соч., т. 36. М., 1962, с. 301.

облеченного абсолютной властью, которого общество наделило во взаимно обязывающем договоре полной свободой действий и всеми полномочиями.

Первый русский светский писатель, прогрессивно настроенный дворянин Антиох Кантемир, находясь в тяжелых общественных условиях ненавистного бироновского ига и опасаясь преследований, смог избрать в качестве наиболее целесообразного и самого действенного литературного жанра только сатиру. Здесь также содержание определило форму. Кантемир выступал против бездарного, непросвещенного дворянства, опять пришедшего к власти, против невежественного, фанатичного православного духовенства, против поверхностно европеизированных, паразитствующих помещиков-дворян, а также против угодливых государственных чиновников и властной чиновничьей верхушки. Помимо античной сатиры Горация и Ювенала, классических картин нравов и характеров Буало и Лабрюйера, он использовал сатирические образцы из современных просветительских журналов (ван Эффе). Причисляемый обычно к классицистам, Кантемир, с другой стороны, продолжил также стилистико-речевую традицию русского силлабического стиха Симеона Полоцкого. Он не чуждался элементов народного языка и использовал осуждавшийся французским классицизмом *enjambement*, а также свободный стих англичан и французов. Ярко выраженная просветительская направленность, дидактическая целеустремленность сатир, подчеркиваемая необычным обилием примечаний, явная «тенденциозность» его творчества — все это разрушало узкое представление о литературе, культивировавшееся французским классицизмом.

Новое широкое представление о литературе, характерное для европейского Просвещения, расширение узкого понимания литературы, свойственного классицизму, за счет обогащения ее научным содержанием и актуальными идеями и проблематикой эпохи, переход от поэзии, ограниченной частным интересом, к научно-популярной беллетристической литературе отчетливо проявляется в творчестве первого русского светского просветителя. Глубоко сознавая воспитательную функцию просветительской литературы, Кантемир перевел для любознательных русских читателей поучительные «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля и «Newtonianismo per le dame» Альгаротти. В противоположность французскому классицизму мышление Кантемира формируется уже не только под влиянием рационализма Декарта, но и под воздействием эмпиризма и сенсуализма, весьма отчетливо (особенно в VII сатире «О воспитании») определивших его мировоззрение и его гуманистический идеал.<sup>5</sup> Его непоколебимая

<sup>5</sup> См.: Graßhoff H. Die Humanitätsideale der russischen Frühaufklärung. Das humanistische Weltbild des Aufklärers und Satirikers A. D. Kantemir. — In: Studien zur Geschichte der russischen Literatur des XVIII. Jhs., Bd. III, Berlin, 1968, S. 206—230.

вера в прогресс,<sup>6</sup> его высказывания в защиту конституционной монархии, пробужденные в нем дружбой с Монтескье и личным знакомством с английскими условиями жизни, его веротерпимость, а также впервые сформулированное им положение о принципиальном равенстве аристократа и крепостного крестьянина, его любовь к наукам и искусствам и страстная проповедь идеи мира характеризуют его как убежденного просветителя.

Идеология Просвещения, новое национальное сознание и новое понимание истории, идея прогресса и материалистическое мировоззрение обусловили также художественную и научную деятельность Ломоносова. Подобно Кантемиру, гениальный ученый-энциклопедист исходил во всей своей деятельности из представления об общественном призвании и воспитательной роли литературы и искусства. Писатель и ученый, ученик Вольфа и Готшеда, Ломоносов понял необходимость изменить художественную форму литературы в соответствии с ее новым содержанием. В своих «Грамматике» и «Риторике» он предложил стройную систему, упорядочившую нормы русского литературного языка. Во всем творчестве Ломоносова поэзия и наука самым тесным образом сосуществуют. Ломоносов считается основоположником и ведущим представителем русского классицизма, но тем не менее его панегирическая хвалебная ода заметно отличается от своего художественного прототипа — оды французского классицизма.

Устранение мнимого противоречия между элементами классицизма и барокко в творчестве Ломоносова, чертами классицизма и реализма у Фонвизина, сентиментализмом и реализмом у Радищева и т. д. позволило бы избежать произвольного и схематичного распределения писателей от Прокоповича до Крылова по литературным школам и привело бы к подведению всей русской литературы XVIII в. под более широкое понятие «русская литература Просвещения», а также к отказу от чрезмерного увлечения односторонне истолкованными художественно-стилистическими категориями. Более внимательное изучение общественно-воспитательной функции литературы этой эпохи могло бы дать также и для истории русской литературы новые и неожиданные результаты.

*(Перевод П. Р. Биркана)*

---

<sup>6</sup> См.: Graßhoff H. Der Fortschrittsgedanke in der russischen Literatur der Aufklärung. — Zeitschrift für Slawistik, H. 3, 1969, S. 444—452.

У. ЛЕМАН

## О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

П. Н. Берков неоднократно указывал на необходимость комплексного исследования литературы европейского Просвещения. Он внимательно следил за работами литературоведов ГДР и относился с особым интересом к изучению ими проблем русского просвещения.<sup>1</sup>

Благодаря усилиям многих ученых в современной литературной науке утвердилось представление о литературе этой эпохи как о явлении большого национально-исторического значения, явлении, которое продвинуло далеко вперед дело формирования реалистической эстетики. К числу таких ученых принадлежал П. Н. Берков. Вклад в изучение просветительской литературы внесли и его советские коллеги, а также исследовательские коллективы ГДР.<sup>2</sup>

Не подлежит сомнению, что русская литература XVIII века составляет существенную часть общеевропейского Просвещения. Однако при определении роли и характера русской литературы этого периода возникают разные точки зрения.

Для успешного решения проблем русской просветительской литературы следовало бы, по предложению П. Н. Беркова, отказаться наконец от бесплодных споров об «измах». Вместо этого необходимо сосредоточить силы на выявлении характерных признаков литературы эпохи Просвещения.<sup>3</sup> Это ни в коем случае не означает призыва к ликвидации существующей научной термино-

<sup>1</sup> См., например: Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. Л., 1964, с. 243—244.

<sup>2</sup> См. издававшиеся под редакцией П. Н. Беркова и его коллег сборники «XVIII век», а также книги: Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970; Русская литература и фольклор. (XI—XVIII вв.). Л., 1970. См. по этому вопросу также материалы в журнале «Weimarer Beiträge», 1970, II, 9, 10.

<sup>3</sup> См.: Берков П. Н. [Ответ на анкету «Советская литературная наука и классическое наследие»]. — Вопросы литературы, 1967, № 9, с. 4—8.

логии. П. Н. Берков указал лишь на то, что литературу должно рассматривать как систему.

Опираясь на мысль К. Маркса, который установил факт участия духовного производства и обмена в общем процессе общественного производства и воспроизводства, В. И. Ленин четко определил разницу между литературой буржуазной и литературой социалистической.<sup>4</sup> Тем самым В. И. Ленин развил идею К. Маркса, и это помогло затем исследователям увидеть в истории литературы процесс возникновения и смены литературных систем, зависящий от общих социальных процессов. Литературоведение располагает ныне фактами, свидетельствующими о том, что и в средние века, и в эпохи Возрождения, Просвещения и т. д., так же как и в настоящее время, задачи, которые ставили и ставят перед собой писатели, всегда определяются конкретными общественными условиями. С этой точки зрения можно и для периода абсолютизма, кризиса и разложения феодального строя определить особенности литературной системы.

Исходя из марксистского тезиса о том, что господствующий класс не относится безразлично к идеям, которые распространены в обществе, в том числе и к эстетическим идеям,<sup>5</sup> можно заключить, что именно в эпохи коренных изменений общественного строя литература должна играть большую социальную роль. Просвещение подтвердило истинность наблюдения, что при определенных обстоятельствах слово становится материальной силой.

Процессы, происходившие в русской литературе XVIII в., могут, следовательно, рассматриваться как разные этапы борьбы между позднефеодальными и новыми, буржуазными тенденциями литературного развития. Для русского просвещения так же характерна острота литературных столкновений, как и для западноевропейской духовной жизни последней трети XVIII в.<sup>6</sup> Литература уже тогда в какой-то степени становится общественной трибуной, с помощью которой антифеодальные идеи находят путь к читательским кругам.

Остановимся на некоторых вопросах общественной функции русской литературы.

Начиная с XVII столетия русская литература все отчетливее обнаруживает стремление к универсальному познанию природы и человека. Эти тенденции привели к формированию принципов раннего Просвещения,<sup>7</sup> чему способствовали также, с одной стороны, заимствованный художественный опыт античности, с другой — успех естественных наук, утвердивших представление о «земном» человеке и его «земных» интересах. Во времена Кап-

<sup>4</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12. М., 1960, с. 99—105.

<sup>5</sup> См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3. М., 1955, с. 45—47.

<sup>6</sup> Ср.: Тураев С. В. Спорные вопросы литературы Просвещения. — В кн.: Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970, с. 15—17.

<sup>7</sup> Ср.: Макогоненко Г. П. Русский реализм на его печальной стадии. — Там же, с. 195.

темира и Прокоповича общественная функция литературы определялась такими задачами, как укрепление экономического положения русского государства и освобождение человека от полного подчинения церкви. Из объекта истории человек мало-помалу превращался в ее субъект — и это отразилось как в философских концепциях, так и в искусстве.

Если в эпоху Петра I и ближайшее за ней время перед литературой стояли преимущественно задачи воспитания гражданского сознания и преданности интересам государства, то в последнем тридцатилетии XVIII в. она стремится выйти за пределы духовной жизни узкого круга феодальной элиты. При всей ценности вклада, внесенного ими в литературу, Кантемир, Тредиаковский и другие поэты первых десятилетий века стояли только в начале пути. Понадобились длительные и самоотверженные усилия прогрессивных писателей, публицистов, издателей журналов, для того чтобы русская литература конца века смогла стать более демократичной.

Национально-патриотические, описательные, развлекательные и т. п. тенденции произведений русской литературы, попадавших в руки читателей второй половины XVIII в., встречали с их стороны полное понимание. Литературный процесс оказывался двусторонним: авторы будили сознание читателей, а те в свою очередь оказывали своими запросами стимулирующее воздействие на литературный процесс.<sup>8</sup> Русское общество находило в литературе свое отражение — и нередко отражение очень верное. Этим можно объяснить любопытные факты позднейших перепечаток и переизданий литературной продукции 1730—1750-х годов. Читатель последних десятилетий века уже настолько хорошо овладел культурой чтения, что ощутил потребность выйти за пределы современной ему литературы и вернуться к сочинениям, которые уже ушли в историю и должны были представляться ему частью духовного наследия прежних времен и тем самым были призваны помочь ему подойти к современности с исторической меркой. Литературные произведения этого рода — независимо от того, были ли они оригинальными или переводными, — оказывали на читателей такое воздействие, какое, собственно, и является целью работы любого писателя: человек на время как бы высвобождался из окружающей его повседневности, и под влиянием чтения, постепенно, изменялось его мировосприятие.

История взаимосвязей национальных литератур, которой много занимался П. Н. Берков, может рассматриваться, таким образом, в следующем аспекте: всякое произведение русской литературы XVIII в., попадавшее за рубеж в переводах и переложениях и получавшее отклик в критике других стран, становилось действенным фактором общеевропейского просветительского движе-

<sup>8</sup> См.: Naumann M. *Literatur und Leser*. — Weimarer Beiträge, 1970, Н. 5, S. 92 ff.

ния. Если согласиться с Гердером, считавшим действительность сущностью литературы, то с этой точки зрения следует очень высоко оценить русскую литературу последней трети XVIII в. Как справедливо заметил Г. П. Макогоненко, иностранных переводчиков русских произведений зачастую привлекали не те сочинения, в которых были наиболее полно выражены признаки той или иной эстетической системы, а те, которые отличались конкретным изображением человеческих характеров и, следовательно, обладали большой силой воздействия на читателей.<sup>9</sup> Случаи, когда именно по этим причинам переводились произведения незначительные и второстепенные, на взгляд сегодняшнего теоретика, только лишней раз доказывают, что проблема диалектики традиций и новаторства все еще требует дальнейшей разработки.

Кризис, разложение литературной системы, характерной для позднефеодального общества, могут быть объяснены не только как следствие изменения социальных функций литературы, но и как кризис самой ее структуры. Можно было бы ограничиться констатацией примечательного самого по себе факта, что в литературу проникает идеология демократических слоев общества.<sup>10</sup> Однако накопление качественных изменений в искусстве всегда приводит к определенным изменениям его форм. Проблемы жанров и литературного языка приобретают в конце XVIII в., как известно, особое значение.

Функциональные особенности русской литературы начиная с 1760-х годов состояли в следующем: в ней появились признаки осмысления диалектики национального и социального начал, государственного и гражданского сознания, патриотизма и борьбы за общественную справедливость и т. д., а также появилось совершенно иное, чем раньше, представление о личности и ее связи с обществом, что нашло отражение в басне, идиллии, сатире, «слезной драме». В области философии, права, экономики, эстетики происходили аналогичные изменения.

Писатели все больше интересуются народной жизнью. Литература приобретает более демократический характер и становится трибуной, с которой обсуждаются вопросы, волнующие все русское общество. Журналы, театр, а также бесчисленные, чаще рукописные, памфлеты, пародные стихи, песни и т. п. показывают, какого разнообразия форм при их функциональном единстве достигла русская словесность конца XVIII в.

Поэт, выполняющий роль своего рода посредника в системе литературных коммуникаций, начинает осознавать личную ответственность перед обществом: ведь он владеет оружием, которое может быть эффективно использовано в общественной

---

<sup>9</sup> См.: Макогоненко Г. П. Русский реализм на его начальной стадии, с. 195.

<sup>10</sup> Это явление исследовано в кн.: Штранге М. М. Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке. М., 1965.

борьбе.<sup>11</sup> Нередки примеры, когда автор ставит перед читателями вопрос о своем долге по отношению к ним, о своем вкладе в борьбу против господствующего класса. Эта борьба осознается им как обязательное условие прогресса человечества, и свою миссию он рассматривает именно в этом общечеловеческом аспекте.

Автор предполагал в читателе сложную духовную жизнь и высокую требовательность к литературному произведению, от которого читатель был вправе ожидать раскрытия новых сторон жизни природы и общества и объяснения своих связей с окружающим миром. Русский читатель XVIII в. (кстати сказать, привлекающий до сих пор слишком мало внимания исследователей) хотел увидеть в литературе самого себя, чтобы осмыслить свое прошлое и облегчить себе выбор будущих решений.

Без обратного влияния читателя на автора невозможно существование какой-либо системы литературных коммуникаций. Всякий автор нуждается в читательском понимании, и читатель XVIII в., безусловно, понимал сочинения своих современников. Воспитанный литературой от Кантемира до Крылова, от Тредиаковского до Карамзина, русский читатель относился к книге особым образом, с уверенностью отгадывая смысл намеков и недомолвок, появившихся в ней по цензурным и иным причинам.

Понятие системы (структуры), которое было использовано К. Марксом в «Предисловии» к «Критике политической экономии», должно включать в себя и сферу потребления. Литература в принципе представляет собой такую же систему соответствующих друг другу форм производства и потребления, связанных определенными формами обращения, распределения. Системе литературы отвечает в каждую историческую эпоху определенная система литературного «производства», литературного «распределения» и «потребления». Специфический способ «потребления продукта» путем чтения можно было бы обозначить как систему чтения, присущую той или иной эпохе. Такие системы чтения почти не изучены, и в наши дни изучить, например, систему чтения XVIII в. действительно нелегко, поскольку это можно сделать лишь косвенным путем, через изучение бытования литературы. Однако в этом направлении сделано уже многое — и в частности благодаря усилиям ленинградских литературоведов, и особенно П. Н. Беркова. Используя его наследие, мы стремимся к ясности теоретических представлений о развитии русской литературы.

*(Перевод Р. Ю. Данилевского)*

---

<sup>11</sup> См.: Dudek G. Die Herausbildung der typologischen Grundformen des gesellschaftlichen Dichterbildes in der russischen Literatur des 18. Jh's. — In: Studien zur Geschichte der russischen Literatur des XVIII. Jh's., Bd. III, Berlin, S. 179 ffg.



## БАКМЕЙСТЕР И РУССКИЙ ЧИТАТЕЛЬ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

В последние годы литературоведческая наука начинает уделять все большее внимание изучению проблем восприятия литературы, читательской среды, взаимоотношений между литературой и читателем.<sup>1</sup>

Мы, однако, еще слишком мало знаем о том, как читались и усваивались книги. Известные советские литературоведы (П. Н. Берков, Г. П. Макогоненко, Л. Н. Степанов и др.) постоянно обращали внимание на исторический фон, социальные условия возникновения и распространения литературных произведений. П. Н. Берков, кроме того, указывал на роль и значение неопубликованной, распространявшейся в рукописях и запрещенной литературы, уточняя тем самым сложный характер отношений между литературой и читателем в России XVIII в.<sup>2</sup> Однако если не считать исследования М. М. Штранге,<sup>3</sup> существует еще очень мало специальных трудов, которые бы содержали достаточно сведений об уровне образования городских слоев населения в России в XVIII в., о влиянии на читательскую среду учебных заведений, число которых резко возросло как раз во второй трети XVIII в.

<sup>1</sup> См.: Гей Н. К. Искусство слова. О художественности литературы. М., 1967; Храпченко М. Б. Время и жизнь литературных произведений. — Вопросы литературы, 1968, № 10, с. 144—170; Jauss H. R. Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. Konstanz, 1967; Escarpit R. Das Buch und der Leser. Köln—Opladen, 1961; Kagan M. Vorlesungen zur marxistisch-leninistischen Ästhetik. Berlin, 1969. — О современных дискуссиях по проблеме «литература и читатель» см.: Weimarer Beiträge, 1970, Н. 2, 5, 11 ffg.

<sup>2</sup> Берков П. Н. Besonderheiten des literarischen Prozesses in Rußland im 18. Jahrhundert. — In: Studien zur Geschichte der russischen Literatur des XVIII. Jhs., Bd. III, Berlin, 1968, S. 9—55; Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. Л., 1964.

<sup>3</sup> Штранге М. М. Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке. М., 1965.

Литературовед-марксист В. Краусс, определяя понятие литературы в век Просвещения, исходил из ее общественной функции, что включает в себя расширение роли литературы как орудия формирования национального и политического сознания и в то же время как средства вошложения мировоззренческих, научных и художественных устремлений. В эпоху Просвещения возникает совершенно новое понятие литературы, которое мы можем правильно интерпретировать и полностью осмыслить, только если мы включим в наши исследования историю книгопечатания и всей организации литературной жизни. «История литературы не может дать удовлетворительного и исчерпывающего ответа на вопрос об общественном назначении и воздействии литературного произведения, пока она упорно игнорирует социальные и экономические факторы в издавна принадлежащей ей сфере, пока она не проследит весь путь литературного творения до конца, до его превращения в „служу“, в образе которого оно стучится в двери к людям, готовое осветить их повседневность».<sup>4</sup>

Русские писатели середины XVIII в. — в том числе и Ломоносов и Сумароков — были далеки от подобных задач. Лишь с постепенным экономическим развитием русских городских центров<sup>5</sup> во второй половине XVIII в., с усилением влияния русского и европейского Просвещения появился совершенно новый читатель, который выдвигал новые запросы перед литературой. Непосредственный успех у публики теперь не зависел от отношения властей, а был связан с зарождающимися литературными потребностями, суждениями и опытом широких кругов читателей, сконцентрированных прежде всего в городских центрах.

Таким образом, заметный расцвет литературы в России второй половины XVIII в. является выражением новых, закономерно развивающихся отношений между писателем и читателем: «Просвещение предполагает участие более широких масс».<sup>6</sup>

Книга в XVIII в. стала «необходимым предметом широкого потребления».<sup>7</sup> Но известно, что книги тогда еще были чрезвычайно дороги. В России оставалось огромное количество людей, которые хотя и умели читать, не имели возможности приобрести книги. Таким образом, между книжным сбытом, потреблением, с одной стороны, и производством книг и интересом к литературе — с другой, не было соответствия. Поэтому, чтобы правильно оценить участие русской просветительской литературы в общественной жизни, необходимо не только обратить внимание на из-

<sup>4</sup> Krauss W. Über den Anteil der Buchgeschichte an der literarischen Entfaltung der Aufklärung. — In: Zur Dichtungsgeschichte der romanischen Völker. (Reclam, Bd. 199). Leipzig, 1969, S. 194.

<sup>5</sup> См.: Lehmann U. Zur Rolle Petersburgs als Ausstrahlungszentrum russischen Nationalbewußtseins im 18. Jh. und du Beginn des 19. Jhs. — Zeitschrift für Slawistik, H. 6, 1970, S. 857—880.

<sup>6</sup> Krauss W. Über den Anteil der Buchgeschichte. ..., S. 198.

<sup>7</sup> Ibid., S. 248.

дательские каталоги, на данные о сбыте книг и на богатые, частично сохранившиеся до наших дней книжные собрания, принадлежавшие людям из высших сословий, но, кроме того, и учесть роль библиотек, читательских кружков, литературных обществ, рукописной литературы, распространение литературы устным путем и прежде всего возрастающее значение журналистики. Есть книги, которые хранились в архивах и собраниях, никем так и не прочтенные, и есть книги, которые не только переходили из рук в руки, но и достигали малограмотного читателя.

Одним из тех, кто принадлежит к кругу просветителей, способствовавших своей издательской деятельностью практическому решению насущных общественных задач (подобно Н. И. Новикову), был Х. Л. К. Бакмейстер,<sup>8</sup> немец по происхождению, приехавший из Германии в Петербург в 1762 г. и до своей смерти в 1806 г., т. е. более 40 лет, служивший русскому просвещению. Перу Бакмейстера принадлежат многочисленные труды в различных областях знаний, и прежде всего одиннадцатитомный библиографический журнал «Русская библиотека для познания современного состояния русской литературы» («Russische Bibliothek, zur Kenntniss des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Rußland», 1772—1789), реферативное издание, которое впервые давало читателю полные сведения о современном состоянии русской науки и литературы.

«Русская библиотека» — один из важнейших источников формирования русской национальной библиографии,<sup>9</sup> а также изучения тесных культурных и научных связей между немецким и русским народами. Ни один исследователь русской культуры в период Просвещения не может пройти мимо этого ценного материала. Из этих библиографических данных мы узнаем о существовании в то время книг, которые до сих пор остались пенальденными. Аннотации к книгам открывают нам имена переводчиков многих произведений, считавшихся анонимными; нередко мы впервые узнаем из журнала Бакмейстера о происхождении этих людей, их занятиях и т. п., находим имена, которые отсутствуют в библиографических справочниках.<sup>10</sup> Мы узнаем также о научных замыслах, которые по разным причинам так и не были осуществлены, о местонахождении ценных рукописей и печатных изданий, даже целых библиотек, что необходимо нам для общей оценки духовной жизни России в эпоху Просвещения.

Быстрый рост литературной продукции в последней трети XVIII в., увеличение числа русских ученых и писателей — прежде всего представителей буржуазно-демократической среды, появле-

<sup>8</sup> Подробнее о нем см.: Lauch A. Wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen in der russischen Aufklärung. Zum Wirken H. L. Ch. Bacmeisters. Berlin, 1969.

<sup>9</sup> См.: Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века. Изд. 2-е. М., 1951, с. 73 и сл.

<sup>10</sup> См.: Lauch A. Wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen..., S. 86 ffg

ние новых литературных жанров — все это находило отражение в «Русской библиотеке». По нумерации Бакмейстера в его журнале упомянуто 1100 книг. Однако на самом деле число отмеченных им произведений гораздо больше, так как отдельно не были учтены статьи и сочинения, напечатанные в таких изданиях, как например «Труды Вольного русского собрания», «Собеседник любителей российского слова» и т. д.

В истории русской библиографии «Русская библиотека» Бакмейстера — первый специально посвященный России библиографический литературный журнал.<sup>11</sup> Не случайно, что возникновение библиографической журналистики в России находится в тесной связи с общим экономическим и политическим подъемом второй половины XVIII в. При Екатерине II за первые 20 лет ее правления было основано 12 типографий, а после указа о вольных типографиях (1783) сразу последовало 20 других, что не только свидетельствует о постоянном росте культурной продукции в России, но одновременно характеризует потребность в чтении и образовании в то время.

Проникнутый настроением этой эпохи, Бакмейстер хочет своими библиографическими очерками дать представление зарубежному читателю «о состоянии русской литературы начиная с 1770 г., ее становлении и росте, о расцвете различных наук, о самых значительных выходящих книгах и многих более мелких произведениях, о самих писателях и их творчестве и многих других подобных предметах, достойных внимания».<sup>12</sup> О значении библиографической информации и ее инициаторов в эпоху Просвещения говорится в предисловии Бакмейстера к первому тому его «Русской библиотеки»: «Это будет способствовать обмену знаниями с другими странами, то есть просвещению, взаимному обогащению наук, дружескому сближению ученых. Это также расширит книжную торговлю с другими странами. Чем больше людей познакомится с результатами здешней науки, тем больше станет число любителей, и чем больше книг уходит из страны, тем больше их она получает, как это обычно делается. Это не только улучшит книжную торговлю (условия которой следовало бы всячески облегчить, особенно потому, что она здесь не всюду свободна от пошлины), но весьма будет способствовать росту образованности».

Журнал Бакмейстера удовлетворял насущным потребностям публики во всесторонней информации, и поэтому он находил благодарного читателя.<sup>13</sup> Публика требовала объективного описания и характеристики литературных новинок и решительно отвергала всякую односторонность и пристрастность. Бакмейстер предлагал

<sup>11</sup> См.: Здобнов Н. В. История русской библиографии... с. 73.

<sup>12</sup> Бакмейстер пишет это, говоря о «плане и пользе» своего журнала (см.: *Russische Bibliothek*... Bd. 11, 1789, S. 458).

<sup>13</sup> Многочисленные рецензии в современной публицистике указаны в кн.: *Lauch A. Wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen*... S. 86—155.

своим читателям составленные с глубоким знанием дела аннотации книг, надежно и тщательно проверенные сведения, по возможности разносторонние. Публика должна была судить сама.

В журнале Бакмейстера наряду с такими известными представителями русской культуры, как например Ф. Прокопович, М. В. Ломоносов, А. С. Сумароков, Н. И. Новиков, М. М. Херасков, И. Ф. Богданович, Г. Р. Державин, упоминались писатели и ученые, которые принадлежали к третьему сословию и выражали его интересы. Речь идет о деятелях, которые внесли существенный вклад в развитие научной и культурной жизни России, которые отваживались вступать в борьбу с политикой Екатерины, например Ф. А. Эмин, М. Д. Чулков, В. А. Левшин, М. И. Попов, М. Н. Майков, О. Чернявский, М. И. Прокудин-Горский, С. Г. Цибелин, А. А. Барсов, Д. С. Аничков и др.

Мы находим у Бакмейстера имена почти всех переводчиков, которые переводили на русский язык произведения западноевропейской литературы Просвещения: переводчиков многочисленных статей из «Journal encyclopédique» (И. У. Ванслов, Я. Я. Костенский). Далее Бакмейстер сообщает, что 63 статьи по философии («philosophie, dialectique, morale, jurisprudence, éthique, politique» и т. д.) переведены Я. П. Козельским; перевод статей о различных «формах правления» («démocratie, aristocratie, monarchie, despotisme, anarchie, tyrannie, tyran») был сделан И. Г. Туманским, и т. д. Упоминаются также А. И. Лужков, переводчик Руссо, И. Сичкарев и В. И. Крамаренков, которым принадлежал вольный перевод произведений Монтескье на русский язык, С. К. Котельников, И. И. Богачевский и многие другие литераторы, которые занимают видное место в истории культурной жизни России.

О намерении Бакмейстера обратить внимание читателей преимущественно на самые актуальные явления русской литературы свидетельствует также указание на журнал «Собеседник любителей российского слова»,<sup>14</sup> в частности на «Вопросы» Фонвизина — одно из самых смелых сатирических произведений, появившихся до «Путешествия» Радищева.

Бакмейстер исключил из немецкого перевода, сделанного для зарубежных читателей, два из этих непосредственно нацеленных на Екатерину вопроса (второй и восемнадцатый), но несмотря на это из ответов были совершенно очевидны крайнее неудовольствие и недвусмысленная угроза со стороны высочайшего лица, и это само по себе представляло большую опасность для издателя. Бакмейстер всегда рассматривал свободу слова как требование, от выполнения которого зависит расцвет науки, литературы и публицистики. Он правильно понял общественное назначение литературы русского просвещения. Его задача заключалась не только в том, чтобы познакомить читателя со всеми выдающи-

<sup>14</sup> Russische Bibliothek. . ., Bd. 9, S. 251 ffg,

мися произведениями русской и европейской просветительской литературы, по также и в том, чтобы вовлечь читателя в творческий процесс, сделать его активным участником общественной жизни. Так, Бакмейстер перевел из речи Я. Княжнина на собрании Академии художеств при выпуске питомцев в 1779 г. следующие слова: «Ожидай, Россия, превосходных художников, происходящих из собственных недр твоих, славу твою и сынов твоих начертывающих, иссекающих и изваяющих пред очами потомства, и ожитворенным глаголом живописи и скульптуры, столь же сильно как велеречие, вещающих чувствительным сердцем благовоспитанного юношества: се герои и благодетели человечества в нашем отечестве, вам к подражанию их добродетели искусством представляемые».<sup>15</sup>

Русское национальное искусство и литература вовлекались таким образом в общий поступательный процесс общественного развития.

Литература стала выполнять совершенно новую общественную функцию, откликаясь на вопросы читательской публики и современной общественной жизни.

*(Перевод Л. Э. Найдич)*

---

<sup>15</sup> Собеседник любителей российского слова, 1783, ч. I, с. 153; Russische Bibliothek. . ., Bd. 9, S. 412.

М. РЕВ

## СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ ИДЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ И ВЕНГРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

На конференции, посвященной эпохе русского просвещения, П. Н. Берков высказал новую точку зрения на проблемы просветительства XVIII в., на его отношение к литературным направлениям, на самый характер и содержание этих направлений и их национально-историческую специфику. П. Н. Берков неоднократно обращался к исследователям литературы XVIII в. с призывом серьезно изучать международные связи русской литературы, взаимосвязи и взаимодействия русской и средневропейских литератур того времени.<sup>1</sup>

Данная статья — плод некоторых раздумий как раз над этими проблемами. В качестве первого опыта сравнительно-типологического анализа русского и венгерского просвещения наша работа претендует только на то, чтобы поставить вопрос и, быть может, сделать первые шаги на пути изучения этих исключительно сложных и важных проблем.

Отметим, что в Обществе венгерского литературоведения в октябре 1969 г. состоялась конференция, посвященная новейшим результатам и проблемам литературы эпохи венгерского просвещения.<sup>2</sup> Всеми было признано, что вследствие особенностей исторического развития эпоха Просвещения в средневропейских и восточноевропейских странах начинается позже, чем в Западной Европе. В этом смысле мы наблюдаем много общего между развитием венгерского и русского просвещения. В связи с этим, пожалуй, стоит вспомнить высказывание В. М. Жирмунского о том, что возникновение какого-либо влияния определено уже самой необходимостью и потребностью, чтобы это влияние воз-

---

<sup>1</sup> См.: Берков П. Н. Основные вопросы изучения русского просветительства. — В кн.: Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. М.—Л., 1961, с. 23.

<sup>2</sup> *Irodalom történet*, 1970, № 2, с. 415—445.

никло, иначе говоря, «потребностью идеологического импорта».<sup>3</sup> Необходимо более тщательно изучать национальное своеобразие каждой страны. Применительно к Венгрии это тем более необходимо, что в венгерской печати XVIII в., согласно тогдашним обычаям, очень мало сообщалось о культурной и литературной жизни России. Читателей информировали преимущественно о политических событиях, о военных походах. К концу XVIII в. появляются первые сообщения о том, что в отдаленной «северной державе» живут и ученые, а не только одни военные, что там интересуются и наукой, а не только военной славой.<sup>4</sup> Даже имя Карамзина, по нашим данным, в венгерской печати появляется впервые в начале XIX в. в трактате известного венгерского писателя Ференца Казинци.<sup>5</sup> Первая работа венгерского автора по истории России была напечатана в 1831 г.;<sup>6</sup> первый обобщающий очерк истории русской литературы XVIII в. появился только в 1896 г.<sup>7</sup>

П. Н. Берков писал: «Как нам представляется, при определении национального своеобразия русского просветительства необходимо сопоставлять его с Просвещением не только „трех главных европейских наций“ — англичан, французов и немцев, как это до сих пор у нас принято».<sup>8</sup> Он же обратил внимание на изучение «литературы монархически-католической Австрии времен Марии-Терезии и Иосифа II».<sup>9</sup> В данной работе нам хотелось коснуться только одной стороны этой обширной темы: сопоставить судьбы венгерского просвещения в рамках Австро-Венгерской монархии времени Марии-Терезии и Иосифа II с судьбами русского просвещения.

Истоки венгерского просвещения коренятся в общественных и политических противоречиях, которые привели к изменению отношений венгерского дворянства и двора и вызвали со стороны венгерского среднего и мелкого дворянства национальное сопротивление против колонизаторской экономической политики ав-

<sup>3</sup> Жирмунский В. М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литературы. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1960, т. XIX, вып. 3, с. 184.

<sup>4</sup> Magyar Hírmondó, 1780. I. félev, с. 57; Magyar Hírmondó, 1792, február 14. I. félev, с. 221, 225—230; Magyar Kurír, 1789. I. félev, с. 292—295; Mindenes Gyűjtemény II. k. (1789), с. 206—207, 211; Mindenes Gyűjtemény III. k. (1790), с. 296, 369—370, Kálmán Bor. Orosz tudományos és irodalmi vonatkozások a magyar nyelvű hírlapirodalomban (1780—1824). Tanulmányok a magyar oroszl irodalmi kapcsolatok köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, I, с. 86—120.

<sup>5</sup> Kazinczy Ferenc. Orthológus és neologus nálunk és más nemzeteknél. — Tudományos Gyűjtemény, 1819, XI. K. 3—27.

<sup>6</sup> Lassú István. Az orosz birodalom. Budán, 1831.

<sup>7</sup> Podhradzky Lajos. Bevezetés az orosz irodalom XVIII-ik századbeli történetébe. Besztercebánya, 1896. — Два года спустя Подhradски издал книгу по истории русской литературы X—XVII веков.

<sup>8</sup> Берков П. Н. Основные вопросы изучения русского просветительства, с. 21.

<sup>9</sup> Там же, с. 23.



стрийской знати. Императрица Мария-Терезия не считалась с желаниями венгерского дворянства, и за ее красивыми обещаниями все более вырисовывалось стремление укрепить свой престол. Венгрия превратилась в колонию Австрии, поставлявшую сырье, хлеб, мясо. Пошлинные льготы она получала только на австрийские товары. Таким образом внутри страны совершенно парализовалось развитие промышленности.<sup>10</sup> Мария-Терезия, заботясь о наполнении казны, давала известные льготы крепостному крестьянству, что вызвало пробуждение политической активности венгерского дворянства. Именно в эту пору началось становление новой венгерской литературы и науки. Организация светских школ, попечительство над ними государственных органов дали толчок развитию светской интеллигенции.<sup>11</sup>

В эти же годы стала выходить первая газета на венгерском языке «Magyar Hírmondó» («Венгерский вестник»), 1780) и заметилось оживление венгерской публицистики. Деятельность венгерских просветителей неотделима от их попыток пробудить стремление к национальной независимости, которое позднее стало одним из основных мотивов борьбы за национальное освобождение.<sup>12</sup>

В России в эпоху Просвещения были поставлены вопросы благосостояния народа и развития культуры, в частности вопрос об усовершенствовании национального языка. В этот же период была разработана соответствующая терминология для политики, науки, беллетристики и публицистики. Но в России в отличие от Венгрии не назревала борьба за национальную самостоятельность страны. Но и в России существовали серьезные препятствия для просветительской деятельности. Императрица Екатерина довольно рано отказалась от принятой ею на себя роли просвещенной законодательницы.<sup>13</sup> Венгерская газета «Magyar Hírmondó» в 1792 г. отмечает, что Екатерина II оберегает своих подданных «от французского образа мышления как от заразной хвори».<sup>14</sup> Ясно, что и за пределами России понимали, что Екатерина II уже и в начале своего правления скорее «кокетничала» с французскими просветителями, нежели следовала их идеям. На самом деле она, стараясь сохранить славу просвещенной монархини, правила государством все более и более деспотично.

<sup>10</sup> Об этом подробно см. в кн. «История Венгрии»: Magyarország története 1526—1790, Egyetemi tankönyv, 1962.

<sup>11</sup> Grünwald Béla. A régi Magyarország 1711—1825. Budapest, 1910, с. 46, 54—55, 446—448.

<sup>12</sup> Об этом интересно говорил в своем выступлении на конференции по проблемам Просвещения в венгерской литературе профессор будапештского университета им. Этвеша Лоранда Пал Панди: Irodalom történet, 1970, № 2, с. 440—445.

<sup>13</sup> См.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры, ч. 3. СПб., 1904, с. 280; об этом см. также в кн.: Rambaud Alfréd. Oroszország története, II. 1890, с. 112—154.

<sup>14</sup> Magyar Hírmondó, 1792, február 14, I. félév, с. 221.

Однако несмотря на гнет самодержавия, Россия быстрее преодолевала вековую отсталость, чем Венгрия, вынужденная одновременно решать проблемы национального освобождения и общественного и культурного прогресса. В связи с этим следует отметить, что венгерские передовые силы вынуждены были вести борьбу с догматическими взглядами католической церкви и ригоризмом протестантизма. В России со времен Петра I православная церковь не имела такой власти, как католическая в Венгрии.

Несмотря на эти отличия, общим является то, что идеологическое развитие в обеих странах протекает в рамках абсолютной монархии, и то, что сторонниками общественных преобразований являются прежде всего дворяне (в основном среднее дворянство), в том числе и офицеры, а в Венгрии и представители лейб-гвардии Марии-Терезии. Сходство проявляется еще и в том, что период Просвещения сравнительно растянут в обеих странах и охватывает даже несколько десятилетий XIX в.<sup>15</sup> В обеих странах первостепенную важность приобретает развитие, обогащение и обновление родного языка, но в России преобразования начинаются раньше, чем в Венгрии. Нельзя забывать и о реформах Петра I и их определяющем значении для всего дальнейшего развития России.<sup>16</sup>

Теперь следует хотя бы кратко рассмотреть проявления просветительской мысли в деятельности наиболее интересных венгерских писателей конца XVIII в.

Самым значительным венгерским писателем последней трети XVIII в. был Дердь Бешшени (1747?—1811). Писатель, серьезно мыслящий и стремившийся воздействовать на своих современников в духе идеи Просвещения, он нашел для себя самый подходящий жанр: трактаты и так называемые дискуссионные брошюры, где он мог выразить свои собственные чувства, не стесняя себя сюжетом. Ему удалось объединить в своих трактатах идею национального освобождения с идеей создания национального языка. В этой нелегкой для осуществления программе он коснулся самой сущности развития венгерской нации в период вновь всплывавшихся противоречий между престолом и дворянством, дворянством и крестьянством.

---

<sup>15</sup> Мы не ставим своей задачей определение начала и конца вышеуказанных периодов: эти вопросы являются дискуссионными и в русском—советском и в венгерском литературоведении, как это подтверждается материалами упомянутых конференций по вопросам Просвещения.

<sup>16</sup> Лайош Подхрадски в указанном очерке истории русской литературы XVIII в. (см. выше, прим. 7) интересно пишет о том, что Россия пробудилась ото сна в XVIII в. и начала превращаться в современное европейское государство (с 41—42). Сравнивая просветительские процессы, он порой идеализирует Екатерину II и Иосифа II, но в общем приходит к правильному выводу: «В просвещенном абсолютизме дворянские идеологи видели лучшую форму правления для осуществления общего блага» (с 49—50).

Вначале Бешшенеи писал на немецком языке. Его первые произведения были напечатаны в 1772 г. Его трагедии на исторические темы вышли из печати как раз в то время, когда на австрийской сцене немецкий язык победил французский и были выдвинуты требования создания национального героя. Это оказало воздействие и на венгерского писателя, помогло ему преодолеть вкус к галантным историям в духе рококо и влияние французского классицизма. Трагедии Бешшенеи все больше проникаются политическими и философскими идеями просветительства. Писателю казалось, что именно в драматической форме сможет он дать ответ на волнующие его вопросы. В драме он показывает героя-резонера, который рассуждает и анализирует окружающее. Этот резонерский тон доминирует в пьесах Бешшенеи, которым не чужды и отступления в духе сентиментализма.<sup>17</sup>

Бешшенеи писал также и комедии; из них выделяется комедия «Философ», в которой он старался дать объективную картину жизни венгерского дворянства. Лучше всего в этой комедии образ провинциального дворянина Понти, и этот опыт Бешшенеи оказал значительное влияние на дальнейшее развитие венгерской комедии.<sup>18</sup>

В написанной им программе всеобщего образования Бешшенеи много места уделяет планам создания венгерской академии. В статье «Благочестивые намерения в отношении венгерского общества» он провозглашает, что важнейшим средством процветания страны является наука. Здесь же развивает он мысль о необходимости развития родного языка. Вслед за Лабрюйером он говорит: «Les langues sont la clef lu l'entrée des sciences», но продолжает, усиливая демократические тенденции: «... для большинства людей, которые не имеют возможности изучить много языков, — это родной язык каждой страны. Его усовершенствование должно быть первым делом для той нации, которая хочет распространять науки среди жителей для их благополучия».<sup>19</sup> Он возвращается на родину в 1782 г., создает философский роман «Путешествие Таримена». Было бы весьма интересно провести сравнительный анализ творчества Бешшенеи, сопоставив его

---

<sup>17</sup> Первая драма Бешшенеи — «Трагедия Ласло Хуняди», затем «Трагедия Буды» и «Трагедия Агиса» из древнегреческой истории. О его творческом пути см. более подробно в работах: Szauder József. Bessenyei. 1953; Waldapfel József. A magyar irodalom a felvilágosodás korában. 1957, с. 115—181; Szauder József. Bessenyei György. — A magyar irodalom története, 1772-től 1847-ig, 1965, III, с. 22—53.

<sup>18</sup> Gyulai Pál. Előszó Bessenyei György «A filozófus», с. vigjátékához. Budapest, 1904. 17. — Интересно отметить, что в литературе этой поры и в Венгрии и в России преобладали драматические жанры, хотя впоследствии в Венгрии основным жанром стала почти исключительно поэзия, а в России наряду с поэзией проза.

<sup>19</sup> Bessenyei György. Egy magyar társaság iránt való jámbor szán dék. Первое издание вышло в 1790 г., второе — в издании Ласло Вайто.

с творчеством его современников Д. И. Фонвизина и Н. И. Новикова.<sup>20</sup> К сожалению, полное прокомментированное собрание сочинений Бешшенеи до сих пор еще не издано. Это одна из насущных задач венгерского литературоведения. Возникает, в частности, и такой вопрос: хотя он уехал из Вены в начале 1780-х годов, но, может быть, он имел все-таки возможность познакомиться с немецким переводом «Недоросля» Фонвизина, изданным в 1787 г.: в этом году он еще живо интересовался общественными и литературными явлениями.<sup>21</sup>

Яркой фигурой венгерского просвещения был Янош Бачани, который приветствовал в своих стихах французскую революцию. Особо нужно упомянуть вождя венгерских якобинцев Игнатца Мартиновича, казненного в 1795 г. за участие в антиправительственном заговоре. В их рассуждениях мы видим много общего с идеями А. Н. Радищева. Стоило бы тщательно изучить круг знакомств Радищева во время его пребывания в Лейпциге.

В таких странах, как Венгрия, Польша, Россия, развитие капитализма происходило медленнее, чем на Западе. Здесь буржуазия была очень слабой. Главными деятелями Просвещения были не представители буржуазии, а передовое дворянство. Именно это выдвигает специфический вопрос о сравнительно длинном периоде Просвещения в этих странах и о том, почему дворянские революционеры не смогли осуществить буржуазных преобразований.

---

<sup>20</sup> Что касается Новикова, то следует процитировать высказывание А. И. Герцена о нем: «Новиков был одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму, — одним из проводников тайных идей, чей подвиг становится известным лишь в минуту торжества этих идей» (Герцен А. И. Собр. соч. в тридцати томах, т. VII. М., 1956, с. 189). То же самое можно сказать о Я. Бачани, идеи которого стали по-настоящему достоянием широких кругов общества почти полвека спустя.

<sup>21</sup> См.: Хексельшнейдер Э. О первом немецком переводе «Недоросля» Фонвизина. — В кн.: XVIII век. Сб. 4. М.—Л., 1959, с. 330—334; Wytrzens G. Eine unbekannte Wiener Fonwisin Übersetzung aus dem Jahre 1787. — Wiener slawistische Jahrbuch, Bd. 7, 1959, s. 118—128; Берков П. Н. Основные вопросы изучения русского просветительства, с. 23.

И. МАТЛЬ

**Ф. Я. ЯНКОВИЧ И АВСТРО-СЕРБСКО-РУССКИЕ СВЯЗИ  
В ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ**

В своей статье «Эпоха Просвещения в России и ее отличие от Просвещения в других славянских странах» я указал на большие достижения и заслуги серба Федора Янковича в области школьного обучения австрийских сербов в XVIII столетии.<sup>1</sup> Как известно, Федор Янкович был приглашен в Россию в царствование Екатерины II как специалист по вопросам народного образования. Недавно вопрос об участии Федора Янковича и реорганизации народного образования у австрийских сербов и в России был заново рассмотрен в диссертации доктора Петера Польца (Институт славистики Грацкого университета), которой была присуждена премия Южно-восточноевропейского общества в Мюнхене в конце 1970 г. В этой работе содержится целый ряд новых данных, характеризующих новаторскую, педагогическую и организаторскую деятельность Федора Янковича в России и показывающих связь этой деятельности с австрийской и австро-сербской школьной реформой при императрице Марии-Терезии. П. Польш в своей работе не только изучил русскую специальную литературу по вопросам реорганизации народного образования и системы школьного обучения в России,<sup>2</sup> по сравнил созданные

---

<sup>1</sup> См.: Матль И. Эпоха Просвещения в России и ее отличие от Просвещения в других славянских странах. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. XVIII век. Сб. 7. К 70-летию чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. М.—Л., 1966, с. 203.

<sup>2</sup> См.: Воронов А. Я. И. Янкович де-Мериево, или Народные училища в России при императрице Екатерине II. СПб., 1858; Сухомлинов М. И. История Российской академии, вып. I, IV, VII. СПб., 1874, 1878, 1885; Толстой Д. А. Городские училища в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1886; Грот Я. К. Заботы Екатерины II о народном образовании по ее письмам к Гримму. — В кн.: Грот Я. К. Труды, т. IV. СПб., 1901, с. 328—342; Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII—XIX веках. СПб., 1912; Константинов Н. А. Выдающийся русский педагог

в то время русские учебники и учебные пособия с австрийскими и австро-сербскими. П. Польц изучил также и не исследованные еще до сих пор материалы сербского архива в Сремских Карловцах, австрийского государственного архива в Вене, а также акты венгерской придворной канцелярии Иллирской придворной депутации. На основании этих исследований, с согласия доктора Польца, я кратко изложу его наблюдения над организацией новой русской школьной системы, введенной при императрице Екатерине II, и австрийской и австро-сербской в связи с деятельностью Федора Янковича.

Екатерина II, следившая за всеми новыми явлениями в культуре Западной Европы, была знакома со стремлениями правительств Пруссии, Австрии и других западноевропейских стран усовершенствовать народное образование. Она переписывалась об этом с известным просветителем Фридрихом Мельхиором Гриммом, немецким ученым, жившим и работавшим в Париже. Однако решающее влияние на реформы Екатерины II в области народного образования оказал Ульрих Теодор Эпинус, бывший астроном Берлинской обсерватории. Эпинус, поступивший на службу в русскую Академию наук, будучи личным советчиком императрицы, высказался за австрийскую модель элементарных школ и основной предпосылкой для ее осуществления объявил подготовку учительских кадров. Эпинус предложил основать три или четыре нормальных школы в Петербурге, Москве, Казани и Киеве, учредить общегосударственное школьное правление для пересмотра австрийского школьного плана и его приспособления к русским условиям, перевести и переработать австрийские учебники. На основании этого предложения Екатерина II решила провести в России школьную реформу по австрийскому образцу, тем более что великий князь Павел Петрович после своего путешествия по Европе 1781—1782 гг. отзывался об австрийской школьной реформе как о самой удачной. Во время встречи Екатерины II с австрийским императором Иосифом II в Могилеве обстоятельно обсуждался также вопрос о нормальных школах, и 29 июня того же года было отправлено в Россию 29 австрийских учебников для нормальных школ, в том числе и справочник Федора Янковича. Эти учебные пособия были одобрены и в начале 1782 г. в Вену поступила просьба русской императрицы направить в Россию несколько «иллирских» (т. е. южнославянских) учителей, которые смогли бы приступить к проведению школьной реформы. Фельдигер, вдохновитель и административный руководитель австрийской школьной реформы, пользовался правом подбора кандидатов. Он предложил Марии-Терезии отпустить в Россию Федора Янковича, занимавшего в то время долж-

---

Ф. И. Янкович. — Советская педагогика, 1945, № 9. с. 38—47; Константинов Н. А., Струминский В. Я. Очерки по истории начального образования в России. Изд. 2-е. М., 1953.

ность директора Темешварской нормальной школы, как наиболее подходящего человека для проведения школьной реформы в России. Еще весной 1782 г. император Иосиф II сообщил Екатерине, что он выбрал Янковича.

Как нам известно из архивных источников, 1 марта 1782 г. венгерский канцлер граф Эстергази писал императору Иосифу II, что отъезд Янковича в Россию «является истинной потерей». 4 сентября 1782 г. Янкович прибыл в русскую столицу, а 6 сентября был принят императрицей. Как свидетельствуют акты австрийского государственного архива,<sup>3</sup> Янкович еще во время своего пребывания в Братиславе разработал «Проект нормальных школ для России» и представил его председателю австрийской школьной комиссии Ван Свитену, который после тщательной проверки передал его 19 мая 1782 г. императору Иосифу II, заметив: «Проект, согласно которому Янкович намеревается ввести в России нормальные школы, соответствует достижению намеченной цели и свидетельствует о том, что Янкович основательно знает как устав, так и методы обучения в нормальных школах».

Для обучения учителей следует ввести усвоение нового метода обучения, т. е. совместное преподавание, совместное чтение, азбучный метод, обучение с помощью таблиц, ответы на вопросы, преподавание школьных предметов, соблюдение школьной дисциплины, указание относительно важности должности учителя, наставление относительно открытых экзаменов и выработка общих инструкций.

Программа преподавания в двухклассных сельских школах: знание букв, чтение (святцы, катехизис, рекомендованная хрестоматия и школьные уставы), письмо, арифметика и чистописание. Программа преподавания в четырехклассных городских школах: учебная программа первых двух классов должна отвечать программе двухклассных сельских школ, в третьем классе следует преподавать катехизис в расширенном виде, христианскую этику, библейскую историю, евангелие, продолжение рекомендованной хрестоматии, чистописание, диктант, латинский язык, арифметику и продолжение грамматики. Четвертый класс должен длиться два года. Предметы четвертого класса: чистописание, литература (сочинения), арифметика, геодезия, зодчество, механика, физика, естествознание, география, история государств и рисование.

Преимущества этого нового метода обучения вытекают из его организации. Так, например, азбучный метод тренирует память и внимание; совместное обучение имеет то преимущество, что все дети одновременно включаются в процесс обучения и что каждый из учащихся учится не только на своих, но и на ошибках товарищей; совместное чтение вслух развивает внимание и

<sup>3</sup> Венгерское учредительное ведомство, дело 107, № 34, 95, 1782 г.

помогает учащимся правильно читать и говорить; обучение с помощью таблиц является важным фактором для укрепления памяти и содействует более наглядному изложению учебного материала: вопросы и ответы способствуют развитию ума и сообразительности. Организационные проблемы отражены в уставе нормальных школ, согласно которому школы подчинены руководящим органам, окружным школьным комиссиям и окружным инспекторам или главным надзирателям, директорам школ, местным надзирателям; с другой стороны, этот устав основан на предписаниях, которые издаются как инструкции для окружных контрольных органов, учителей закона божьего и преподавателей.

Янкович в своих предложениях использовал в качестве образца классификацию типов школ и учебный материал по австрийскому методу обучения согласно всеобщему школьному уставу и «Ratio educationis». Вскоре после приезда Янковича в Россию, 7 сентября 1782 г., царским указом была образована «Комиссия об учреждении училищ», которую Янкович сначала консультировал по всем теоретическим и практическим вопросам школьного устройства, и только в 1797 г. был избран членом этой комиссии. 17 сентября 1782 г. его проект об организации русских нормальных школ был подвергнут рассмотрению в комиссии и полностью принят. Уже в том же году Янкович основал первые школы, а в 1783 г. по его предложению в Петербурге было основано первое педагогическое училище, названное «Главное народное училище». Янкович был назначен первым директором этого училища и директором всех школ Петербургской губернии. В методическом отношении очень важен тот факт, что Янкович уже в то время требовал введения наглядного обучения, применения моделей и приборов. В дальнейшем Янкович посвятил себя созданию русской педагогической литературы, составлению и изданию школьных учебников, опираясь на поддержку и сотрудничество Ковалевского. Вместе со своими сотрудниками Янкович создал целый ряд таблиц и географических карт.

Ниже приводится перечень школьных учебников, изданных под редакцией Янковича, которые — как убеждают сопоставления, сделанные доктором Польцем, — несомненно были созданы по австрийским или сербским образцам.

#### *Русский школьный учебник*

1. Таблицы азбучные для складов церковной и гражданской печати. СПб., 1782.

Эта азбучная таблица отличается от своего сербского оригинала только употреблением гражданского шрифта.

2. Российский букварь для обучения юношества чтению, изданный при учреждении народных училищ в Российской империи, по Высочайшему повелению царствующия им-

#### *Австрийский или сербский оригинал*

1. Сербская «Азбучная таблица» («ABC-Täflein»), изданная в Вене в 1777 г. как специальный выпуск азбуки для сербских учителей. Автор Янкович.

2. Сербские «Святцы» («Namenbüchlein»), своего рода букварь с молитвами и нравственными поучениями, изданный Янковичем в Вене в 1777 г.



ператрицы Екатерины Вторья. СПб., 1782 (до 1822 г. вышло еще 18 изданий).

3. Руководство к чистоисанию, для юношества в народных училищах Российской империи, издашное по Высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторья. СПб., 1782.

4. Сокращенный катехизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учреждении народных училищ в Российской империи в царствование блаочестивейшей государини императрицы Екатерины Вторья. СПб., 1782.

5. Правила для учащихя в народных училищах, изданныя по Высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторья. СПб., 1782.

6. Руководство учителям перваго и втораго класса народных училищ Российской империи, изданное по Высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторья. СПб., 1783. Автор И. И. Фельбигер; перевод с немецкого Ковалева, переработка и сокращения Янковича.

7. О должностях человека и гражданина, книга к чтению определенная в народных городских училищах, изданная по Высочайшему повелению царствующия императрицы Вторья. СПб., часть 1, 1783;

8. Руководство к арифметике, для употребления в народных училищах Российской империи, изданное по Высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторья. СПб., часть 1, 1783; часть 2, 1784.

9. Шрекова всемирная история для обучения юношества. СПб., 1787.

В том же 1783 г. по приказу императрицы он разработал план реорганизации Артиллерийского и Инженерного корпусов с введением учебного материала по образцу главных нормальных

3. Славенская и валахийская каллиграфия или наставление к правильному писанию. Карловитц, 1788. Автор Захариас Орффелин, так же как и 11 главы второй части справочника для сербских учителей Янковича.

4. Сербский «Катехизис малый, или Сокращенное православное исповедание греческого неунитского закона. Во употребление неунитских юности. Сочинени от неунитского епископского в Карловце 1774 лета держаннаго сипода подтвержден». Вена, 1776. Автор Иован Райич.

5. Сербские «Школьные законы для учащихя» (Вена, 1778), переведенные Янковичем с немецкого языка. Автор немецкого оригинала («Schulgesetze für die Schüler») И. И. Фельбигер.

6. Сербская «Ручная книга потребная магистрам илирических малых неунитских школ в Цесаро-Кралевских государствах». Вена, 1776/77. Автор И. И. Фельбигер, переработка Янковича.

7. Сербское «Руководство к честности и правости». Вена, 1777. Автор Атанасиус Секереш (которому послужило образцом «Руководство к честности» И. И. Фельбигера).

8. Сербское «Руководствие во арифметике за употребление илирические неунитские в малых училищах участиее юности». Вена, 1777. Автор Атанасиус Секереш, которому послужил образцом немецкий школьный учебник.

9. Hilmar Turas — Einleitung zur Universalhistorie, ganz neu umgearbeitet von Johann Mathias Schröckh. Wien.

школ для учащихся первого и второго курсов и заменой возрастного принципа принципом успеваемости. Его предложения были приняты, однако из-за отсутствия необходимых предпосылок осуществление реформ не оправдало всеобщих ожиданий. В 1785 г. был введен декретом Синода новый метод обучения, разработанный Янковичем, и в духовных семинариях. Как мы видим, педагогическая реформа Янковича проводилась не только в начальных школах, но и в высших специальных учебных заведениях.

Янкович разработал также проект, одобренный императрицей, для узаконения реформы в так называемом «Уставе народных училищ» от 8 августа 1786 г., согласно которому вся школьная система, до сих пор подразделявшаяся на три части, должна была состоять только из двух типов — главных и нормальных училищ. Таким образом сельское население практически лишалось возможности получить начальное образование. Интересно заметить, что французский язык был исключен из программы преподавания иностранных языков как опасный язык вольномыслия, в то время как татарский и латинский языки считались важными международными языками.

Существенное различие между школьными реформами в России и в Австрии XVIII в. заключается в том, что в Австрии эта реформа проводилась и в городах, и в деревнях, в то время как русская реформа охватывала только города и большие населенные пункты; кроме того, посещение школы в Австрии было обязательным, а в России нет. Следует также подчеркнуть, что в организационном отношении в Австрии школы находились на попечении специальных областных школьных комиссий, получавших директивы от верховной школьной комиссии из Вены, в то время как в России все исполнение было поручено губернским властям и таким образом отдано на произвол недостаточно подготовленного и равнодушного административного аппарата. К этому следует еще добавить, что для проведения реформы Екатерины II не предоставила достаточных денежных средств, в то время как в Австрии для проведения реформы были взяты средства, полученные из имущества ликвидированного иезуитского ордена в 1773 г.

Янкович был тесно связан с православием; однако, с другой стороны, хорошо сознавал недостатки образования православного духовенства — как мы знаем из его меморандума (Венгерский государственный архив в Будапеште 1781 г.) — и поэтому отвергал ведущую роль духовенства в области образования. Как государственный служащий Янкович полностью считал себя сторонником идей просвещенного абсолютизма и служил русскому государству так же верно, как и раньше австрийскому.

*(Перевод Н. Сальникова)*

Г. Н. МОИСЕЕВА

**О ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ РУССКИХ ПОВЕСТЕЙ  
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА**

(Роль переводных курантов XVII века)

Литературный стиль повестей первой трети XVIII в. давно уже привлекал внимание исследователей русской литературы. Определение его характера давало основание установить степень оригинальности этих произведений или же показать их зависимость от «иноземных образцов».<sup>1</sup>

Анализ поэтического языка таких произведений начала XVIII в., как «Гистория о российском матросе Василии Кариотском», «Гистория о российском купце Иоанне», произведенный В. Н. Перетцем, отчетливо показал, что «стиль любовных обращений, писем, вставных арий» сложился под воздействием итальянской и французской литератур, пришедших в Россию через посредство Польши.<sup>2</sup> Характерными признаками этого стиля является повышенная эмоциональность любовной фразеологии: любовь «яко огонь», она «сжигает» «горячим пламенем» героя (или героиню); Купидон «стреляет» в сердце и «сладко уязвляет» его; от красоты Ираклии, героини «Гистории о российском матросе Василии Кариотском», Василий «паде на землю», любовная печаль «во гроб вселяет» Елеонору — героиню «Гистории о российском кавалере Александре», умирает от любви и юная цесаревна из «Гистории о некоем шляхецком сыне».

Современный исследователь Рената Лахман полагает, что любовная тема в русской литературе начала XVIII в. нашла отра-

<sup>1</sup> Сухомлинов М. И. История о славном и храбром Александре, кавалере российском. — Библиотека для чтения, СПб., 1858, № 12, с. 1; Пыпин А. Н. Библиографический список рукописных романов, повестей, сказок, поэм и пр., в особенности из первой половины XVIII века. М., 1888, с. VIII.

<sup>2</sup> Перетц В. Н. Очерки по истории поэтического стиля в России. (Эпоха Петра Великого и начало XVIII в.). — ЖМНП, 1906, июнь, ч. III, с. 390—391.

жение в стилевом направлении рококо, что и объясняет ее характер.<sup>3</sup>

Литературный стиль повестей начала XVIII в. отражает не только новую фразеологию, выражающую любовные чувства героев. В так называемых повестях петровского времени значительное место занимает описание различных европейских и восточных стран, где происходят события. Авторы с большим вниманием останавливаются на характеристике поведения литературных героев, подробно раскрывая их поступки в различных жизненных обстоятельствах.

Что послужило источником повествовательной манеры, столь отличной от литературного стиля повестей предшествующего времени? Именно стиль произведений позволял Л. Н. Майкову говорить о принципиально новых чертах повестей петровского времени.<sup>4</sup>

Нам представляется важным указать на роль переводчиков Посольского приказа в формировании литературного языка второй половины XVII—начала XVIII в.

Посольский приказ в XVII в. являлся центром литературной жизни Москвы.<sup>5</sup> При Посольском приказе с начала XVII в. осуществлялся перевод на русский язык западноевропейских известий — «вестовых писем».

В настоящее время впервые осуществлено полное научное издание рукописных вестей — курантов,<sup>6</sup> что дает возможность показать, что не только фактические сведения, сообщаемые в этих переводных известиях, оказали влияние на литературные про-

<sup>3</sup> Lachman Renate. (Köln). Pokiń, Kupido, strely. Bemerkungen zum Topik der russischen Liebesdichtung des 18. Jahrhunderts. — Slavistische Studien zum VI Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968. München, 1968, S. 458—459.

<sup>4</sup> Майков Л. Н. Неизвестная повесть Петровского времени. — ЖМНП, 1878, ч. СС, с. 194—195.

<sup>5</sup> Каган М. Д. «Повесть о двух посольствах» — легендарно-политическое произведение начала XVII века. — ТОДРЛ, т. XI, М.—Л., 1955, с. 248—254; Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памятник первой четверти XVII в. — ТОДРЛ, т. XIII, М.—Л., 1957, с. 247—272; Русская версия 70-х годов XVII в. переписки запорожских казаков с турецким султаном. — ТОДРЛ, т. XIV, М.—Л., 1958, с. 309—315; Легендарный цикл грамот турецкого султана к европейским государям — публицистическое произведение второй половины XVII в. — ТОДРЛ, т. XV, М.—Л., 1958, с. 225—250; «Титулярник» как переходная форма от исторического сочинения XVII в. к историографии XVIII в. — ТОДРЛ, т. XXVI, Л., 1971, с. 54—63; Кудрявцев И. М. «Издательская» деятельность Посольского приказа. (К истории русской рукописной книги во второй половине XVIII века). — Книга. Исследования и материалы. Сб. VIII. М., 1963, с. 179—244; Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973, с. 34—63.

<sup>6</sup> Вести-куранты. 1600—1639 гг. Издание подготовили Н. И. Тарбасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под редакцией С. И. Коткова. М., 1972. — Выражаю сердечную признательность С. И. Коткову за разрешение ознакомиться с материалами подготовленного под его редакцией издания «Вести-куранты» до выхода книги из печати.

изведения конца XVII — начала XVIII в., но и стиль повествовательных сочинений того времени испытал влияние языка деловой прозы курантов.

Рукописные куранты (или «вестовые письма») XVII в. являлись сводом печатных и рукописных известий, полученных из европейских стран и переведенных на русский язык толмачами Посольского приказа. В курантах помещались сведения о политических событиях, происшедших во Франции, Германии, Англии, Польше, Австрии, Силезии, Голландии, Италии, Венгрии и других странах. Кроме того, здесь же сообщалось и о «куриозных» фактах, привлечших внимание иностранных корреспондентов. Через посредство рукописных курантов в России познакомились с религией, правами и обычаями жителей Западной Европы.

В переводе «немецкой тетради о вестях из Венгрии, Австрии, Германии, Чехии и других мест» сообщалось, например, что «монс Фронтиснак, которой к новой королевной Флоренцеской посолскую грамоту от французского короля привез, и он ныне в пятницу приехал назад, а целовал де у папы ноги и дела свои папе объявил и от него не мешкая в Францовскую землю поехал и тамо дела свои совершил».<sup>7</sup> Здесь упоминался и «цесарское величество», который обменялся грамотами с Флоренским королем.

Не исключено, что в описании Флоренского государства в «Истории о российском матросе Василии Кариотском» сказано знакомство русского автора с рукописными курантами. Об этом свидетельствуют некоторые эпизоды повести, и в частности описание первой встречи российского матроса Василия с цесарем: «Потом приехал и цесарь к церкви, и вшел в церковь, и увидев Василия в богатом убранстве, и, чая каков присажий царевич или король, тотчас призвал к себе камергера, которому спросить приказал его, что за человек <...> Которой выслушав камергер и цесарю объявил. И как отслушав церковное пение, то цесарь просил к себе российского матроса. И российский матрос, поклонясь цесарю, и обещал быть, его величеству поклон отдать. И цесарь поехал во дворец свой, а Василий остался в церкви для некоторой своей богу должности.

Потом поехал к цесарю во дворец. Приехал и припят был от цесаря с великою славою, подобно яко некоего царевича. И как вошли внутрь царских палат, в палату убранную, в которой был поставлен стол со всем убранством и кушаньем, потом цесарь стал российского матроса сажать за стол кушать».<sup>8</sup>

Придворный быт саксонского двора нашел отражение в рукописи курантов 1621 г. (без начала текста): «...всякой особно молитву и благодарене богу воздал после наказанья ис церкви

<sup>7</sup> Вести-куранты, с. 25. — Упрощение орфографии: замена ѣ — е, ѡ — я, і — и, исключение ъ в конце слов и расстановка знаков препинания — произведено нами.

<sup>8</sup> Русские повести первой трети XVIII века. Исследование и подготовка текстов Г. Н. Моисеевой. М.—Л., 1965, с. 200.

вышли. А в то церкве у того наказания и пенья был сам курфистр и его кнеиня и курффистова мат вдова кнеиня Анна Саксенская и со всеми шляхотными женским цолом. Тут же в церкве был арцух Карл Фредерих Мунстербергский начальной шлеизенской посол и иные шлеизинские посланные и арцуха Мунстербергскаго думные и приказные люди и стол много шляхотных и всяких людей было, что было невозможно всем людям в церкве устави́тися. И выпед ис церквы всякой к себе пошол <...>, а курфист Саксенский <...> ными своими <...> а его курффисто(ва) милость особно одип сидел за столом в плате отлас черной выстеган золотом и имел у себя рашиер позлаченный, подале от курффиста по левой стороне курффиста гораздо подале место уготовано было и тут сел арцух Карл Мунстербергский и с ним сели иные шлепзецские посланники, а было их пятеро».<sup>9</sup>

Можно привести множество примеров того, как самые разнообразные сведения переводных «вестовых писем» оказались использованными анонимными авторами русских повествовательных сочинений первых десятилетий XVIII в. Рассказы о военных действиях, о быте «мальтийских кавалеров» (в «Истории о российском кавалере Александре»), о придворных обычаях двора «аглинского» короля (в «Истории о некоем шляхецком сыне»), вероятно всего, имеют своим источником известия рукописных курантов.

Петровские «Ведомости», печатание которых началось, как известно, с 1702 г., продолжили традицию рукописных курантов XVII в. Но в «Ведомостях» начала XVIII в. большее место заняли известия естественнонаучного характера (отвечавшие потребностям своего времени), и значительно меньше внимания было уделено описаниям придворного быта западноевропейских дворов. Поэтому можно думать, что авторы русских повестей первых десятилетий XVIII в. в описании иноземных придворных церемоний и обычаев черпали материал из переводных рукописных курантов XVII в. Несмотря на то что куранты существовали в ограниченном количестве, они все же были достаточно распространены. В сборниках XVII—XVIII вв. сохранились списки известий, почерпнутых из курантов.<sup>10</sup> Отдельные листы попадали и в руки простых людей. Об этом свидетельствуют материалы одного из судебных дел 1642—1643 гг. Так, например, при обыске в сених и в избе, произведенном у стрельчихи Катеринки Андреевой дочери, в «коробке» нашли «письмо» с вестями.<sup>11</sup> Кроме того, можно думать, что к созданию повестей могли быть причастны лица, связанные с Посольским приказом или Разрядной канце-

<sup>9</sup> Вести-куранты, с. 51.

<sup>10</sup> См.: Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. Библиографические материалы. СПб., 1903, с. 246—247.

<sup>11</sup> Московская деловая и бытовая письменность XVII века. Издание подготовили С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М., 1968, с. 271—272.

лярией, располагавшие не случайными экземплярами курантов, а подборкой этих переводных «вестовых писем», комплекты большей части которых сохранились до настоящего времени в ЦГАДА<sup>12</sup> (куда вошел фонд Посольского приказа).

Характер источников определил литературный стиль повестей начала XVIII в., отличающийся крайней пестротой языковых «пластов». Наряду с любовной фразеологией, почерпнутой из переводных романов, здесь присутствует язык деловой прозы с его стремлением к сдержанности и лаконизму.

На формирование общелитературного языка начала XVIII в. язык Посольского приказа оказал значительное влияние. И это отчетливо представлял Петр I, сознательно ориентировавшийся на этот процесс. В 1717 г. И. А. Мусин-Пушкин писал Федору Поликарпову, исходя из мнения самого Петра: «Посылаю к тебе и географию переводу твоего («Географию» Г. Варения, — Г. М.), которая за неискусством либо каким переведена гораздо плохо: того ради исправь хорошенько не высокими словами словенскими, но простым русским языком <...> Со всем усердием трудися и высоких слов славенских класть не надобясь, но Посольского при ка зу у по т ре би сло ва».<sup>13</sup>

Приступая в начале 40-х годов XVIII в. к созданию «Российской грамматики», Ломоносов изучал «Ведомости»,<sup>14</sup> сознавая, что в языке деловой прозы нашли отражение прогрессивные тенденции в развитии русского литературного языка.

Составители русских повестей начала XVIII в., обратившиеся к переводным курантам как источнику фактических сведений о западноевропейских странах, сохранили литературный стиль этих деловых «вестовых писем», отразив и с этой стороны характерные черты петровской эпохи.

---

<sup>12</sup> Вести-куранты, Введение, с. 15—16.

<sup>13</sup> Русский архив, 1868, № 7—8, стб. 1054—1055 (разрядка наша, — Г. М.).

<sup>14</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1952, с. 767.

А. И. КУЗЬМИН

ВОЕННАЯ ТЕМА В САТИРИЧЕСКИХ «РАЗГОВОРАХ  
В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ»

П. Н. Берков несколько раз указывал на необходимость исследования жанра «разговоров в царстве мертвых», и данная статья представляет первую попытку их анализа.

В России, как и на Западе, этот жанр часто использовался в целях политической сатиры. Широкое распространение он получил в русской литературе XVIII в. «Разговоры» сохранились в нескольких рукописных сборниках.<sup>1</sup> Некоторые из «разговоров» были опубликованы в более позднее время. «Разговорам» русских авторов также присуще критическое отношение к окружающему человеку миру социальной несправедливости. Главным объектом осмеяния и здесь были цари и полководцы. Так, в «разговоре» прусского короля Фридриха II с фельдмаршалом Вейделем<sup>2</sup> рассказывается об одном из сражений Семилетней войны.<sup>3</sup> Фридрих II изображен самонадеянным и самоуверенным полководцем, неспособным понять истинное положение, возникшее на поле боя. Он уверен, что запер русскую армию в ловушку, собирается атаковать ее и уничтожить. Для того чтобы русские не спаслись бегством, он посылает на противоположный берег Одера специальный корпус. Однако известно, что это первое сражение в кампанию 1759 г. во время Семилетней войны закончилось разгромом прусской армии и открыло русским путь в сторону Франкфурта и Берлина. Новое сражение приносит незадачливому королю новые неприятности: началась атака, какие-то войска в панике

<sup>1</sup> См.: Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII в. М., 1963, с. 162—164.

<sup>2</sup> Полное название произведения: «1759 году июля 30 дня. Разговор прусского короля с фельдмаршалом своим Вейделем» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 3, № 9, с. 241—245). Опубликовано Д. Ровинским, см.: Ровинский Д. Русские народные картинки, кн. II. СПб., 1881, с. 59—62 (Сб. ОРЯС АН, т. XIV).

<sup>3</sup> Сражение при Кунерсдорфе 31 июля—1 августа 1759 г.; оно было самым крупным во время Семилетней войны.



отступают, Фридрих II призывает в них стрелять. Оказывается, что, вопреки ожиданию, бегут не русские, а немцы. Сражение проиграно, Фридрих II хочет послать в Берлин курьера, предупредить королеву и чиновников о грозящей им опасности, но и здесь его опередили: русские идут к Берлину.

Осмеяние короля и королевской власти содержится и в «Приключении Густава III, Короля Шведского, 1788 года июля 6 дня».<sup>4</sup> Произведение представляет собой «разговор» живого, ведущего войну с Россией Густава III с вставшим из гроба королем Карлом XII. Подобно Фридриху II Густав III самоуверен. Он подражает Карлу XII, хочет возвратить потерянные дедом в войне с Россией земли и «посадить с разбегу на рога Старинного врага» (с. 41). Тщетно уговаривает его Карл XII не воевать с Россией. Густав остается верен своим целям; он насмехается над дедом за то, что тот проиграл Полтавское сражение:

Ты первый наутек всем махом побегал  
И чуть штаны  
На месте, где сидеть им должно, удержал  
И после, будучи и слаб и хром от раны,  
Не престава! ты бить тревогу в барабаны.

(с. 41)

Карл XII в свою очередь издевается над внуком: Густав, словно «лукавый пес», подкрался к России и хотел ее укусить, но получил в зубы, и «плача утирает кровоточивый нос». Произведение выражает народное сатирическое представление о войне: Густав вступает в войну от безделья («и в брань вступаю на досуге, Палю затем, что порох есть», с. 38). Карл XII называет внука «шишиморой» «в героях нуль», который достоин не лавров, а смеха или слез, пророчит Густаву время, когда тот будет мечтать, чтобы датчане жили в мире и не трогали его, как «чирья», а народ будет называть его презренным королишкой, дармоедом. Тогда он не станет задирать своих соседей. Единственное, что ему разрешено будет делать, это воевать с волками, медведями, болотными кабанями, дворцовыми крысами и мышами, но для этого не понадобятся ни ядра, ни свинцовые пули. Как мы видим, «Приключение» сатирически изображает честолюбивого короля, презирающего народ, его неумение соразмерить свои планы с реальностью.

Было бы неверно полагать, что в подобных произведениях высмеивались только иноземные короли и полководцы. Доставалось

<sup>4</sup> ИРЛИ, ф. 265, оп. 3, № 9, с. 36 (далее ссылки на страницы этой рукописи даются в тексте). — В этом произведении излагаются события русско-шведской войны 1788—1790 гг., когда шведский король, пользуясь затруднительным положением России, которая вела турецкую войну, объявил войну Екатерине II. Об этой же войне рассказывается и в рукописном «Послании из царства мертвых Карла XII Густаву, королю Шведскому» (начинается словами «Ужасна весть войны весь ад здесь всколебала...») — ГБЛ, № 2805, с. 105. Рукопись первой четверти XIX в.

и русским. Резкой критике в «разговорах в царстве мертвых» подвергся русский император Павел I. Остановимся на одном из таких сочинений.<sup>5</sup> В «Елисейские поля» приходит дочь Павла I — Александра Павловна, она рассказывает о военных успехах А. В. Суворова: он «отнял в три месяца у французов все, что они приобрели в три года», одержал много побед, взял в плен многих генералов, однако вместо награды был отправлен императором в ссылку. Появляется сам Суворов и рассказывает о том, что делается на земле, у живых людей. Особенно резко осуждению подвергается политика Павла I. Скоро Смерть, словно собаку на поводке, приводит задуманного офицерским шарфом русского императора.<sup>6</sup> Екатерина II говорит, что ее сын недостойн быть вместе с теньми великих русских людей, и просит отвести Павла I к Фридриху II, которому он подражал и делами которого восхищался. Павел I просит у прусского короля должности «соразмерно его достоинствам». Король жалеет императора за то, что тот благоволил к немцам, и принимает его в свою армию «в кавалерский генерал-лейтенанта графа фон Дершица полк» — на должность погонщика. И эта должность для Павла I оказывается почетной: «Но, так и быть, ежели не станешь сумасбродничать, можешь на век сие место за собой удержать», — говорит Фридрих II. Русскому императору выдают куртку, ботфорты, за пояс засовывают кнут, на голову надевают колпак.

Образами глупых королей «разговоры» не ограничиваются, в резко сатирической форме они изображают деятельность полководцев, министров и иных представителей господствующего класса. В «Разговорах, бывших между двух российских солдат, случившихся на галерном флоте в кампании 1743 года»,<sup>7</sup> рассказывается о фельдмаршале Минихе, который морил солдат голодом и жаждой, подвергал жесточайшим наказаниям, во имя осуществления своих честолюбивых замыслов жертвовал десятками тысяч жизней. Временщик Биропп грабил Россию, а бедных крестьян держал за недоимки в тюрьмах. Действия Миниха критикуются в «Беседе трех российских солдат в царстве мертвых, служивших в трех разных войнах против турок, т. е. при фельдмаршале графе Минихе, во вторую (турецкую войну, — А. К.) при графе Румянцеве-Задунайском и при князе Потемкине-Тав-

<sup>5</sup> Титов А. А. «Разговор в царстве мертвых». — Изв. ОРЯС, 1907, т. XII, кн. 3, с. 70—97; Виноградов Н. Н. Екатерина Великая в Елисейских полях. — Изв. ОРЯС, 1909, т. XIV, кн. 4, с. 81—95.

<sup>6</sup> В «Разговоре в царстве мертвых», распространенном в списках в 1801 г., тоже намечается на царубийство 11 марта 1801 г. «Павла I в царстве теней встречает Суворов и спрашивает: „Давно ли, государь, такая стала мода у русского народа, что шарф на шее вижу я у вас? И кто с таким узлом надел его на вас?“» (Литературное наследство, т. 9/10. М., 1933, с. 55—56).

<sup>7</sup> Подробнее см.: Кузьмин А. И. Разговоры, бывшие между двух российских солдат. — В кн.: Историко-филологические исследования. М., 1966, с. 290—295.

рическом, писанные на исходе декабря месяца 1790 г. в Яссах».<sup>8</sup> Здесь проводится мысль о том, что чем меньше военачальник заботится о солдатах, тем более он жесток с ними. При Минихе командиры совсем не думали о здоровье солдат («важивали по таким дорогам, что и воды совсем не было, а мучительства много», с. 10). В более позднее время при Г. А. Потемкине порядки были не лучше. В «беседе» рассказывается о том, что в Екатеринославской армии солдаты не получали и трети положенного им жалованья (с. 7), их кормили гнилым хлебом, отчего в каждой роте за одну только зиму умирало до 60 человек. Солдат не снабжали топливом и теплой одеждой. Плохо несли службу и генералы. При штурме крепости войска генерал-поручика А. Н. Самойлова остановились, и «хвост колонны по передним начал жарить» (с. 9). Испугавшись турок, обратились в бегство саперы инженер-майора Кнорринга, посланные для возведения батарей (с. 11). Ударами прикладов беглецов возвратили солдаты Санкт-Петербургского гренадерского полка. В турецком городе предоставленные самим себе солдаты разграбили армянскую церковь и перекололи укрывшихся в ней жителей (с. 12). Нет порядка и на бивуаках. В «лагере никаких караулов нет, сбору не бьют и смена не делается; за водою кто как хочет и когда <идет>, офицера никогда не присылают. За дровами тоже, одним словом, что хочешь, то и делай» (с. 12—13). Офицеры избегают опасных мест: генерал-поручик Гудович ни разу не был на батарее, а все смотрел в зрительную трубу за 200 сажен из резерва. В лагере в Бендерах «светлейший никогда к разводу не выходит и не смотрит, да и никто и из генералов не бывает, а когда этого мало, так и полковники тех полков, чья смена, иногда в дурную погоду не бывают» (с. 14). Генералы злоупотребляют своим положением; повторяется часто встречающаяся на страницах демократической литературы XVIII в. жалоба на то, что начальники используют солдат на работах для своих личных нужд. Плохим генералам в «Беседе» противопоставлен А. В. Суворов. Автор говорит о Суворове с любовью, называет «забубенной головушкой», подробно описывает штурм турецкой крепости Измаил. Рассказ насыщен реальными подробностями (с. 16—18).

Сатирическому изображению сильных мира сего в «разговорах в царстве мертвых» противопоставлены глубоко сочувственные рассказы о простых людях, и прежде всего солдатах. В «Разговорах, бывших между двух российских солдат... 1743 года» солдаты Симон Ионин и Яков Алфеев исполнены патриотической гордости за своих сотоварищей и русскую армию в целом. Солдаты смело идут в штыковой бой, преодолевая рогатки, рвы и палисады. Победы в русско-шведской войне, в крымском походе и других военных столкновениях одерживаются благодаря само-

<sup>8</sup> ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 3013 (далее ссылки на страницы этой рукописи даются в тексте).

отверженности и героизму именно солдат. То же мы находим в «Беседе трех российских солдат». Главными героями здесь являются солдаты Иван Гаврилов, Степан Статный и Сергей Степанов-Двужильный, они служили в русской армии в разное время и честно выполнили свой долг. Сергей Степанов прослужил в армии 20 лет, в последнее время был на гарнизонной службе, по старости не мог принимать участия в походах, но его опять взяли в полевые войска. Солдаты прозвали за это Степанова «Двужильным». Сатира на царей и полководцев в «разговорах» сосуществует со скорбью о бесправном положении простых людей.

Мы видим, что «разговоры в царстве мертвых», созданные на русской почве, так же как и произведения этого жанра в западноевропейской литературе, посвящены современным событиям. «Разговоры», написанные русскими авторами, в значительной части посвящены жизни армии, проникнуты духом обличения армейских не порядков, одновременно превозносят героизм и стойкость русских солдат. Эти произведения злободневны, они имеют в виду не порок вообще, а конкретных деятелей: Густава III, Фридриха II, Павла I, полководцев — А. Х. Миниха, Г. А. Потемкина, А. В. Суворова; солдат — участников вполне определенных войн и походов.

Как жанр, «разговоры» являются одним из распространенных видов сатирической литературы, «презрешей печать»; в них свободно говорилось о страданиях солдат, тогда как в печать такая критика проникнуть не могла.

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

## ДОСТОЕВСКИЙ И ФОНВИЗИН

Достоевский испытывал интерес ко многим явлениям русской культуры, в том числе и русской литературы XVIII в. При этом на разных этапах творческого пути внимание писателя притягивали различные ее произведения и представители: обострение интереса Достоевского к явлениям литературы прошлого всегда определялось в той или иной мере их созвучием собственным идейным и художественным исканиям романиста в данный период.

Поэтому обращение Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863 г.) к размышлениям над письмами Д. И. Фонвизина из-за границы и его комедией «Бригадир» не менее симптоматично для момента идейно-творческой эволюции, переживавшегося писателем в это время, чем испытанное им в детские годы восхищение «Историей государства Российского» Карамзина или интерес в конце жизни к сочинениям Тихона Задонского с их высоким морально-поучительным пафосом, соединенным с глубоким поэтическим отношением к жизни.

В 1846 г. в «Отечественных записках» появилась статья друга писателя, В. Н. Майкова, о «Сочинениях» Д. И. Фонвизина и В. А. Озерова в издании Смирдина,<sup>1</sup> посвященная в основном вопросу о значении русских писателей XVIII в. вообще. Возможно, что к тому же времени восходят первые размышления Достоевского над эволюцией автора «Бригадира» и «Недоросля». Но более вероятным представляется, что мысли о Фонвизине, сформулированные в «Зимних заметках», возникли в начале 1860-х годов после первой заграничной поездки Достоевского. В 1858 г. появились «Избранные сочинения» Д. И. Фонвизина, изданные П. Перевлесским, куда вошла часть писем комедиографа, причем сочинениям его было предпослано «полное изложение статей о Фонвизине, помещенных в периодических и других из-

<sup>1</sup> Отечественные записки, 1846, № 11, отд. VI, с. 1—6; перепечатано в кн.: Майков В. Н. Соч., т. II. Киев, 1901, с. 173—179.

даниях».<sup>2</sup> Возможно, этим изданием пользовался Достоевский в конце 1862—начале 1863 г., работая над «отчетом» о своем заграничном путешествии: так или иначе, письма Фонвизина из-за границы, «Письма русского путешественника» Карамзина и книги Герцена «Письма из Франции и Италии» и «С того берега» Достоевский, как видно из текста «Зимних заметок», внимательно перечел в это время, по-видимому расценивая их как наиболее выдающиеся в литературном и идеологическом отношении образцы этого жанра, созданные его предшественниками.

«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье» — этой, не совсем точной цитатой из письма Фонвизина к П. И. Панину из Ахена от 18/29 сентября 1778 г., приведенной, очевидно, на память, Достоевский открыл вторую главу своих «Зимних заметок» (V, 50). В оригинале приведенная Достоевским фраза звучит несколько иначе: она входит в состав размышлений, в которых Фонвизин подытожил свои отрицательные и тревожные впечатления, вызванные знакомством с Францией эпохи Людовика XVI. «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, — писал драматург в этом письме, — ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила <...> Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его деньги».<sup>3</sup>

Заграничные письма Фонвизина привлекли еще в 1843 г. внимание В. Г. Белинского, который оценил их как важный социальный документ — яркое отражение упадка общественных порядков и нравов в предреволюционной Франции XVIII в. («...читаю их (письма Фонвизина, — Г. Ф.), — писал критик, — вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной

<sup>2</sup> Фонвизин Д. И. Избр. соч. СПб., 1858 (Собр. соч. русских писателей, издав. П. Перевлесского, вып. 4). Впрочем, оба цитируемых Достоевским отрывка — из письма Фонвизина и из «Бригадира» (д. 4, явл. 2) — приводятся им неточно: цитируя, Достоевский отклоняется и от «Избр. соч.» в издании Перевлесского (с. 151; 34) и от предшествовавших им смирдинских изданий «Соч.» Фонвизина (изд. 2-е, СПб., 1847, с. 306; 55; изд. 3-е, СПб., 1852, с. 306, 55—56). В цитате из «Бригадира» Достоевский по изданиям 1817 или 1828 г. в одном случае исправляет ошибки всех трех перечисленных выше изданий. Ср.: Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2 томах, т. I. М.—Л., 1959, с. 85 (здесь, как и у Достоевского, «изрядная, изрядная молодка» вместо «изрядная молодка»). См. также: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 томах, т. V. Л., 1973, с. 363, 366 (комментарий Е. И. Кийко). (Далее ссылки на это издание даются в тексте, римская цифра обозначает том, арабская — страницу).

<sup>3</sup> Фонвизин Д. И. Избр. соч., с. 151. Ср.: Сержант И. З. Достоевский и Ап. Григорьев. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 138—139; современную историко-литературную оценку писем Фонвизина см. в кн.: Макогоненко Г. П. Д. Фонвизин, Творческий путь, М.—Л., 1961, с. 209—237.

картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником».<sup>4</sup>

Достоевский подходит к оценке писем Фонвизина с другой стороны. Стремясь отграничить свою «почвенническую» позицию от позиций славянофилов 1840—1860-х годов, Достоевский рассматривает Фонвизина в «Зимних заметках» в равной мере как предтечу современных романисту западничества и славянофильства.

Белинский выделял и подчеркивал в письмах Фонвизина их остро современное, в понимании критика, социально-критическое содержание. Достоевский оценивает их смысл иначе: он готов видеть в них скорее выражение ставшей традиционной психологии русского не только дворянского, но и разночинного интеллигента, уставшего от нескольких десятилетий насильственной бюрократической «европеизации», проводимой «сверху» самодержавием, и потому втайне «весело» отводящего душу против нее гневными инвективами, направленными по адресу ни в чем не повинного «француза»: «Тут слышится какое-то мнение за что-то пропешдшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас <...> я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил» (V, 50), «Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то правится» (V, 50—51).

Так оценка Фонвизина неожиданно перерастает под пером Достоевского в яркую культурную характеристику типа образованного русского барина XVIII в. и шире — в характеристику типа русского дворянского либерала вообще, не лишепную сатирического начала и отдаленно подготавливающую образы русского «либерально-культурного» слоя 1840-х годов в «Бесах»: «Этот человек по своему времени был большой либерал. Но хоть и таскал он всю жизнь на себе неизвестно зачем французский кафтан, пудру и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего происхождения (которого у нас совсем не было) и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина, но только что высунул свой нос за границу, так и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами и решил, что „рассудка француз не имеет“, да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастие» (V, 53).

И все же Фонвизин в глазах Достоевского был не только типом либерального русского барина XVIII в., осмелившегося выступить против «европейских помочей», хотя «в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были

---

<sup>4</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 119; ср. другой отзыв Белинского о тех же письмах — там же, т. IX, с. 677 («Письма Фонвизина так дельны, что только теперь настало время для их настоящей оценки»),

самые святые, самые европейские помочи и самая милая опека» (V, 55).

Достоевский саркастически замечает, что европейский «маскарад» русского дворянства XVIII в., его «французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки» — все это «ничему не мешало: Гвоздиловы гвоздили по-прежнему, наших де Роганов наш Потемкин и всякий подобный ему чуть не секли у себя на кобрюшке, Монбазоны драли с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и подспинники, а маркизы валялись на куртагах,

Отважно жертвуя затылком.

Одним словом, вся эта заказная и приказная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга — самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара» (V, 57).

И, однако, Фонвизин, несмотря на его «французский кафтан», в своих комедиях сумел не только глубоко заглянуть за официальный фасад екатерининской империи, показать зрителю реальное обличье Простаковых и Скотининых, скрытое под покровом всей этой маскарадной фантазмагии. Он — и в этом Достоевский готов видеть одновременно и наиболее глубокий слой фонвизинского реализма, и полусознательное проявление присущего драматургу подлинно национального начала — смог ощутить буднично-каждодневный трагизм существования человека, принадлежащего к почти бессловесному в его время «большинству» русского общества. Более того, в оценке этого «большинства» Фонвизин смог возвыситься над характерными для его времени отвлеченными критериями добра и зла, скроенными по европейской мерке, и показать правдиво те невольные преимущества, которые нередко непосредственный реальный жизненный опыт и здравый смысл давали простому, необразованному человеку большинства даже перед лучшими представителями европеизированного культурного слоя, которые считали себя стоящими на высоте европейской культуры и образования. В доказательство этого тезиса Достоевский ссылается на различный характер переживаний бригадирши и Софьи во время рассказа первой о страданиях зверски избиваемой пьяным мужем капитанши Гвоздиловой (в комедии «Бригадир»). Образованная Софья, выслушав рассказ, ограничивается репликой, выражающей возмущение дикостью крепостнических нравов (так как она подходит к истории капитанши «извне», как чужой человек). Бригадирша же в ходе рассказа испытывает невольное чувство близости собственной своей женской судьбы и судьбы Гвоздиловой, а потому видит в капитанше не чужого человека, а как бы сестру по жизненным испытаниям. Это позволяет бригадирше подойти к Гвоздиловой «изнутри», проникнуться живым участием к ней: «...почему именно не



Софья, представительнице благородного и гуманно-европейского развития <...>, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем „Бригадире“, а дуре бригадирше, которую он уже до того подделывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу выпли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурпой женщиной сделал, а все-таки побоялся и даже художественно невозможным почел, чтобы такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскочила, а почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье:

...у нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, наша сторона дело, а што наплачешься, на нее глядя.

Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты и *слушать* об этом не хочешь, каково ж было *терпеть* капитанше?

Таким-то образом и сбрендилла благовоспитанная Софья своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет у него ничего метче, гуманнее и... нечаяннее» (V, 58).

Достоевский подчеркивает художественную живучесть созданной Фонвизиним фигуры Гвоздилова: несмотря на изменившуюся социально-историческую и культурную обстановку, те же Гвоздиловы, хотя и в ином, буржуазном обличье, продолжают существовать в условиях новой, пореформенной России (где фонвизинский Гвоздилов «жив и здоров, сыт и пьян», V, 58). Современные «оранжерейные прогрессисты» готовы видеть, но иронически замечанию писателя, движение вперед в том, что цивилизовавшийся пореформенный Гвоздилов расчетлив, как всякий буржуа, а потому бьет жезу «только под пьяную руку да по старой привычке, когда уж очачь стоскуется. Ну, а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение» (V, 59). Отвергая подобный благовоспитанный, «оранжерейный прогрессизм», Достоевский видит преимущество Фонвизина в том, что, как показывает невольное развенчание Софьи перед лицом необразованной «простой бабы» — бригадирши, драматург уже понимал — хотя и не вполне осознавал это — истинную цену отвлеченно-либеральных дворянского прогрессизма и чувствительности. Именно поэтому-то простую русскую женщину с ее слезами и «безгранично-всепрощающей

любовью» Фонвизин, действуя нечаянно и повинувшись своему художественному чувству, поставил выше благовоспитанной Софьи.

Так фигура Фонвизина приобретает в интерпретации Достоевского широкую социально-психологическую объемность. Это и барин XVIII в. во французском кафтане — верный сын общества своего времени, легко готовый сменить порой веру в спасительную силу «французских помочей» на веселую насмешку над теми же помочами и не имеющим будто бы рассудка французом, то русский человек большинства, испытывающий органическое уважение к этому большинству, его незаурядной жизненной стойкости, разуму и практическому смыслу. В итоге проблема демократизма и реализма Фонвизина предстают в трактовке Достоевского в новом, неожиданном ракурсе. Белинский связывал обличительный пафос писем Фонвизина с состоянием общества и настроениями предреволюционной Франции. В глазах же Достоевского творчество Фонвизина предстает в качестве сложного художественного сгустка. Здесь он ощущает истоки и традиционного либерального «европеизма» русской дворянской интеллигенции, и ее — явного или тайного — «славянофильства», и трезвого, демократического по своей социальной окраске, ощущения реальной стихии жизни русского большинства (стихии, путей приближения к которой настойчиво искал в 1860-х годах и сам Достоевский, не вполне правомерно противопоставлявший, однако, эти свои искания исканиям сознательно демократической части русского общества того же десятилетия).

«Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону», — писал о себе несколько позднее Достоевский.<sup>5</sup> Анализ образов капитанши Гвоздиловой, ее мужа и бригадирши в «Зимних заметках» свидетельствует о том, что в творчестве Фонвизина Достоевский сочувственно выделял первые зачатки подхода к решению именно этой художественной задачи, а вместе с тем и зачатки неотделимого от ее решения в понимании романиста стремления «найти в человеке человека». Так собственные идеологические и художественные искания Достоевского осветили для него по-новому смысл реалистических достижений одного из самых выдающихся русских писателей XVIII в.

---

<sup>5</sup> Литературное наследство, т. 77. М., 1965, с. 342.

М. Г. А Л Ь Т Ш У Л Л Е Р

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭПИЗОД ЖУРНАЛЬНОЙ ПОЛЕМИКИ  
НАЧАЛА XIX ВЕКА

(«Друг просвещения» и «Московский зритель»)

В февральском номере журнала «Друг просвещения» за 1806 г. напечатано без имени переводчика «Письмо Петрония к Ювеналу» с подзаголовком: «Перевод с латинского», в котором рассказывается, как некий Эвмольп, «загорелый африканских степей житель, иссохший, бледный, у которого длинный нос может служить преградой собеседникам от солнечных лучей», пришел в гости к Сенеке, где были «Лукан, Перций и другие знаменитые и просвещенные люди. Ты знаешь, — продолжает далее Петроний, — что Эвмольп имеет страсть душить Рим вздыхательными сочинениями. Ты, верно, хотя для смеху читал его путешествия в Партеноп, хотя уже несколько лет он не путешествовал, как мы все знаем, далее Цирка и Аветинского холма. Все, что он ни видит, ему кажется кустарником, везде перед его глазами ручьи, птички и Буколические предметы <...> Он не пропустил посетить Сенеки, зная, что в тот день найдет там собрание муз. В этом он не ошибся, но бедный Эвмольп не знал, что встретит вместо лавров огорчительное для самолюбия вздыхательного стихотворца неуважение».<sup>1</sup> Гости во время приятной и полезной беседы не обращали на Эвмольпа ни малейшего внимания. Он попытался вмешаться в разговор, сообщив, что намерен выдать «Увеселительные замечания о нравах римлян», однако «объявление сие не только не произвело рукоплескания, но ниже получило ответа». Раздосадованный писатель покинул собрание, а «собеседники, занимаясь разговорами, не удостоили Эвмольпа даже и тем, чтобы над ним посмеяться».<sup>2</sup>

Совершенно очевидно, что под римскими масками здесь описаны какие-то современные литературные отношения и что под именем бездарного поэта Эвмольпа, героя романа Петрония «Сатирикон», изображен какой-то современный писатель. Архив

<sup>1</sup> Друг просвещения, 1806, ч. I, № 2, с. 155—156.

<sup>2</sup> Там же, с. 157.

графа Хвостова позволяет очень точно интерпретировать этот любопытный документ. В первом томе архива он переписан полностью рукой Хвостова. В оглавлении вместо подзаголовка печатного текста: «Перевод с латинского» — писарским почерком указано: «Перевод якобы с латинского, напечатан в „Друге просвещения“». На полях рукописи Хвостов записывает: «Сие письмо очень любопытно, смотри „Друг просвещения“, где оно напечатано». Далее в маргиналиях следующих страниц он раскрывает смысл этой записи: «Сие письмо есть сочинение графа Дмитрия Ивановича Хвостова на князя Петра Ивановича Шаликова. Описанное происшествие случилось в присутствии Карамзина, Дмитриева, графа Хвостова, В. Л. Пушкина и других в доме покойного именинника творца Россияды. Сатира или пасквиль сей был напечатан в Друге просвещения под титулом перевода».<sup>3</sup>

Хвостов не только издевается над сентиментализмом Шаликова: «... имеет страсть душить Рим воздыхательными сочинениями», — но описывает его наружность («иссохший, бледный, у которого длинный нос может служить преградой собеседникам от солнечных лучей») и намекает на грузинское его происхождение («загорелый африканских степей житель»),<sup>4</sup> а также на конкретные произведения издателя «Московского зрителя»: «Путешествие в Партеноп» — это, несомненно, «Путешествие в Кронштадт», начало которого было опубликовано в первом номере журнала Шаликова.<sup>5</sup> Эвмольп обещает выдать «увеселительные замечания о нравах римлян». Автор пасквиля и здесь имеет в виду конкретные замыслы своего противника: в апрельском номере «Московского зрителя» напечатана статья «Черта народного характера русских», в которой рассказывается о кулачном бое.<sup>6</sup>

Злая выходка Хвостова была, вероятно, ответом на критику его сочинений, которую подготовил к печати Шаликов, но опубликовать из-за противодействия Хвостова не сумел. «Шаликова журнал „Зритель“ пошел неудачно, — писал И. И. Дмитриев Д. И. Языкову 10 января 1806 г. — Он хотел во второй книжке поместить свою рецензию на некоторые уродливости графа Хвостова; цензоры наши университетские пропустили; Хвостов о том стал их стращать, что с глупости никогда пошлин не брали; они поверили и, взяв назад Шаликова тетрадку, написали на ней, что „хотя в ней нет ничего противного уставу о цензуре, однакож думаем, что напечатать ее не можно!“. Почему же не можно, когда сами говорят, что законы цензуры тому не противятся?».<sup>7</sup>

<sup>3</sup> ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 322 Д. И. Хвостова, № 1, л. 19 об.

<sup>4</sup> Ср.: «Кн. Шаликов был по происхождению грузинец, что обнаруживала и его физиономия: большой нос, широкие черные брови: худощавость» (Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 95).

<sup>5</sup> «Князь» Шаликов». Путешествие в Кронштадт. — Московский зритель, 1806, январь, с. 5—21.

<sup>6</sup> Московский зритель, 1806, апрель, с. 10—12.

<sup>7</sup> Дмитриев И. И. Соч., т. II. СПб., 1893, с. 199; см. также письмо Д. И. Языкову от января 1806 г.; Там же, с. 198.

В то же время из писем Дмитриева становится ясно, что редакция «Друга просвещения» еще в конце 1805 г. собиралась развернуть активное наступление на карамзинистов, и в первую очередь на князя Шаликова: «Хвостовщина объявила явную войну врагам своим, команду над армией своей вручила Сандунову, который, предводительствуя друзьями просвещения, и выступит с будущего месяца противу „Московского зрителя“». <sup>8</sup> О том же пишет Дмитриев в конце 1805 г. к В. А. Жуковскому: «Друзья просвещения присоединили к тричисленному своему лику обер-секретаря Сандунова, и с первою рыжею книжкою на будущий год пустят гром на русских путешественников и на все, где только встретят слезу и милое. По всему кажется, что не уйги и мне от их перунов, хотя я ни до слез, ни до сладкого не охотник». Противопоставляя «Другу просвещения» Шаликова, Дмитриев далее продолжает: «С другой стороны, князь Шаликов возлагает на надежный свой нос зеленые очки и объявляет себя „Московским зрителем“». <sup>9</sup>

Сведения Дмитриева очень точны: «Письмо Петрония» было только эпизодом той полемики, которой насыщены первые номера «Друга просвещения» за 1806 г. Нападки на русских путешественников мы найдем в письме к издателям, подписанном НΣ: «... многие у нас пишут без цели и предмета и пишут к совершенному убивству сочинительства, натягивая отборными выражениями несообразную ни с чем несвязицу <...> Шлюсь на многое множество нынешних журналов путешествий — один ездя по свету без всякого предмета колобродил по горам, полям, лесам, озерам и рекам; другой, сидя дома, умственно поехал на полдень и гармонизировал, по его мнению, со встречными и поперечными особами; третий, но господи прости мое согрешение — давно ли я сам боялся пересудов и осуждений, а только за перо, так и тут пересужать других». <sup>10</sup> НΣ, вероятно, имеет в виду сначала Карамзина («... ездя по свету без всякого предмета...»), а затем несомненно «Путешествие в полуденную Россию» В. В. Измайлова (1800, 2-е изд. — 1802). Поскольку Шаликов в своих книгах «Путешествие в Малороссию» (1803) и «Другое путешествие в Малороссию» (1804) подражал и Карамзину, и Измайлову, то письмо к издателям «Друга просвещения» задевает и его. Возможно, он и есть «третий».

Без подписи, но с указанием на место и время сочинения: «село Прямухино маяя 20 дня 1805 года» — там же напечатано полемическое стихотворение «Чувствительно-нежный бред». <sup>11</sup> Верны были и слова Дмитриева о «громе» на «слезу и милое». Анонимные стихи первого номера «Друга просвещения» за

<sup>8</sup> Письмо Д. И. Языкову от 24 декабря 1805 г.: Там же, с. 197.

<sup>9</sup> Письмо от 15 ноября 1805 г.: Там же, с. 196.

<sup>10</sup> Друг просвещения, 1806, ч. I, № 1, с. 72—73.

<sup>11</sup> Там же, с. 31—33.

1806 г. называются «Ода к милой во вкусе модной литературы». Начинаются они с прославления слова «милый»:

*Мила* похлебка с бураками,  
*Мила* говядина, что в ней,  
*Мила* капуста с огурцами,  
*Мил* соус красный из гребней... .

Далее автор переходит к «слезам»:

Стихи прекрасны — в том признайтесь,  
*Слеза и мило* — все тут есть... .  
Что нужды в том, что смыслу мало.  
Не всякий с толком говорит,  
Пролей *слезу* — и ты пийт!

Заканчивается «Ода» злым намеком на «Московский зритель»:

Последуя влеченью моды,  
*Слезу и милую* твердя,  
Я скоро опишу походы,  
Из комнаты не выходя.<sup>12</sup>

Действительно, спустя несколько месяцев, в октябре 1806 г., в «Московском зрителе» за подписью Б\* (т. е. Борис Карлович Бланк, 1769—1826, постоянный и плодовитый сотрудник Шаликова) появились «Отрывки путешествия моего по комнатам».<sup>13</sup>

В связи с общей полемической направленностью этой части «Друга просвещения» следует рассматривать и известную строфу из «Письма к другу моему Николаю Петровичу Николеву» Д. П. Горчакова:

И даже Мирлифлор, Прозопита Дамской,  
Мечтающий пленить то былью нас, то сказкой,  
Между сороками сидящий гогольком,  
Горячую слезу лиющ над васильком,  
И он умрет. — Ах! Нет, как сахарец растает,  
В незриму превратится мглу,  
И свет бессовестный во веки не узнает,  
Что дивом некогда он слыл в своем углу.<sup>14</sup>

Вопрос о том, кто скрывается под именем Мирлифлора, уже рассматривался в научной литературе. Так, Г. В. Ермакова-Битнер следом за своими предшественниками считает, что Горчаков «имеет в виду Н. М. Карамзина или, может быть, кого-либо из его последователей».<sup>15</sup> М. А. Арзуманова, полемизируя с Г. В. Ер-

<sup>12</sup> Там же, с. 27—30.

<sup>13</sup> Московский зритель, 1806, октябрь, с. 5—25. — «Отрывки» являются подражанием книге Ксавье де Местра (Xavié de Maistre. Voyage autour de ma chambre, 1794).

<sup>14</sup> Друг просвещения, 1806, ч. 1, № 3, с. 227.

<sup>15</sup> Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. (Библиотека поэта. Большая серия), с. 626.

маковой-Битнер, выдвигает предположение, что Мирлифлор — скорее всего И. И. Дмитриев.<sup>16</sup> Точка зрения М. А. Арзумановой, на наш взгляд, неприемлема, поскольку «Прозопиитой» можно назвать только автора, пишущего и прозой и стихами, а Дмитриев, как известно, прозаических художественных произведений никогда не писал.

Стихотворение Горчакова, как показала Г. В. Ермакова-Битнер, написано, видимо, в 1799 г. Однако впервые оно опубликовано только в мартовском номере «Друга просвещения» за 1806 г. Строфа о Мирлифлоре, написанная другим размером и мало связанная по содержанию с текстом стихотворения, в котором говорится о смерти и дружбе, могла быть добавлена позднее, при подготовке «Письма» к печати. В этом случае, поскольку основная полемика «Друга просвещения» направлена против князя П. И. Шаликова и его журнала «Московский зритель», можно предположить, что под именем Мирлифлора Горчаков также имел в виду Шаликова. Это предположение тем более вероятно, что в «Послании к князю С. Н. Долгорукову» (1807) под именем Мирлифлора Горчаков, по всей вероятности, изображает именно Шаликова, так как затем в этом стихотворении идут достаточно ясные намеки на Дмитриева и Карамзина.<sup>17</sup>

«Московский зритель» энергично отвечал на нападки «Друга просвещения». Разбирая сочинение П. Ю. Львова «Изображение Москвы и всей России в царствование Иоанна IV», Шаликов выступает против идей Шишкова: «Неужели *старый* язык лучше и вразумительнее *нового* даже и в самом простом описании?»<sup>18</sup>

Рецензию о творениях Пиндара, переведенных Павлом Голенищевым-Кутузовым, Шаликов под видом похвал пересыпает едкими замечаниями: «Несмотря на то, что в девяти стихах повторено шесть раз *тебя* да однажды *любя* — неизбежность, в которой, очевидно, находился поэт или его переводчик — едва ли чувствуете сие повторение — от чего? От того, что нет ни малейшей

<sup>16</sup> Арзуманова М. А. Об одной распространенной легенде. — Вестник ЛГУ, № 2, Серия истории, языка и литературы, вып. I, 1964, 99—102 (там же литература вопроса).

<sup>17</sup> Поэты-сатирики. . ., с. 158, 631.

<sup>18</sup> Московский зритель, 1806, апрель, с. 17. — Рецензия не подписана и, как большинство неподписанных материалов, принадлежит, видимо, Шаликову. П. Ю. Львов отвечал своему оппоненту в журнале «Любитель словесности» (1806, № 4, с. 57—70). Перепечатав в подстрочном примечании целиком рецензию Шаликова, Львов пишет: «...красноречие российского языка основано на важности и силе языка славенского <...> не мог я увизиться до простоты и мелкости обыкновенного языка, которым лишут любовные повести (неудачное подражание Стерну) и другие сему подобные безделки <...> *старый* язык несравненно лучше и выразительнее *нового*» (там же, с. 62—63, 64). Шаликов отвечал Львову не по существу, ограничившись обвинением в грубости и несколькими злыми намеками на сочинения Львова (Московский зритель, 1806, август, с. 25—30),

вялости в стихах»,<sup>19</sup> — или по поводу нелепого образа: «Витающий на скипетре орел» — рецензент замечает: «Нельзя живописнее».<sup>20</sup>

Встретив в переводе Кутузова слово *мила*, Шаликов, очевидно имея в виду «Оду к милой», не без злорадства шипит: «С каким удовольствием находим слово *мила* в Пиндаре или переводчике его — нет нужды! Ненавистники *милого*, вопреки всему тому, что они говорят и пишут против сего слова, признаются, может быть, что дозволено употребить его во всяком роде сочинения».<sup>21</sup>

В основном, однако, Шаликов не столько рассуждает по теоретическим вопросам, связанным с борьбой приверженцев старого и нового слога, сколько прибегает к колкостям и намекам на личности, лишь слегка замаскированным. Так, в апрельском номере «Московского зрителя» напечатан отчет о торжественном обеде, который дал в честь Багратиона английский клуб 3 марта 1806 г. Без всякой связи с предшествующим изложением последний абзац этого отчета гласит: «В утешение некоторых наших неудачных лириков сообщаем стихи известного французского поэта Парни насчет лириков своего народа:

Sur nos victoires

Jupiter un jour dit ses mots:  
«Les mortels aiment trop la gloire;  
Il est trop doux d'être héros:  
Punissons un peu la victoire;  
Et fidele à mes deux tonneaux,  
Mélangeons les biens et les maux».  
Dans le cieux cette voix divine  
Retentit, et tombant des airs.  
Au laurier brillant, pour épine,  
Elle attacha les mauvais vers».<sup>22</sup>

Как известно, стихи в честь Багратиона для этого обеда были написаны Н. П. Николевым и П. И. Голенищевым-Кутузовым.<sup>23</sup> Последний был одним из издателей «Друга просвещения», первый — сотрудником этого журнала, близким другом Д. П. Горчакова и Д. И. Хвостова. Стихотворение Парни в контексте рас-

<sup>19</sup> Московский зритель, 1806, июнь, с. 71.

<sup>20</sup> Там же, с. 75.

<sup>21</sup> Там же, с. 70—71.

<sup>22</sup> Там же, апрель, с. 69. Ср.: Рагну Еваристе. Butade decembre 1805. — Oeuvres, t. 2. Paris, 1805, p. 222—223. — Перевод: «О наших победах. Юпитер некогда сказал: „Смертные очень любят славу. Очень приятно быть героем, поэтому накажем немного победу и, оставаясь верными моим двум бочкам, смешаем добро и зло“. Падая с небес и распространяясь в воздухе, этот голос божества приказал прикрепить к блистающему лавру в качестве терния плохие стихи».

<sup>23</sup> См.: Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955, с. 196—197.



сказа об обеде, очевидно, било по врагам Шаликова и, таким образом, высмеивая Николева, Шаликов в апрельской книжке отвечал на «Письмо» к Н. П. Николеву Д. П. Горчакова, напечатанное в марте, в котором, если наши предположения справедливы, был сильно задет он сам.

Естественно, что в этой журнальной перепалке сильно досталось и Хвостову. Заканчивая на полях «Письма Петрония» рассказ о давно минувших днях, он писал: «Сатира или пасквиль сей был напечатан в Друге просвещения под титулом перевода и никто не догадался, что это было. Первый оцупал через полгода Ив. Ив. Дмитриев, пересказал Шаликову, который так рассердился, что напечатал в своей Аглае, по-матерну, что я непристойный уд на Парнасе. После князь Шаликов ко мне умилился, пишет доселе нежные письма, а я при сущей старости моей усовестился и каюсь в моем грехе. 1832 года марта 1 дня».<sup>24</sup>

Возможно, к Хвостову обращена резкая эпиграмма под названием «Бесполезная сатира»:

Водяной рифмоплет! Что прибыли в сатире,  
Которую меня ты хочешь растерзать?  
Кто сведает об этом в мире?  
Стихи твои одним наборщикам читать!<sup>25</sup>

Слова «водяной рифмоплет», «стихи твои одним наборщикам читать» как нельзя лучше подходят для характеристики знаменитого графомана, а под «сатирой» здесь, возможно, имеется в виду «Письмо Петрония», о значении которого Шаликов мог узнать не через полгода, как пишет Хвостов, а значительно раньше.

Посвящает Шаликов Хвостову и разпосную критическую статью «О переводе Циклопа из Феокрита, напечатанном в первой книжке „Друга просвещения“ за 1804 год». Обращение к переводу двухлетней давности — свидетельство того, что Шаликов искал любого подходящего повода для нападков на Хвостова. В рецензии он издевается над поэтическими потугами своего противника:

«Едва на бороде лишь показался пух,  
Любови сделался его невольник дух.

Не спрósите: „На чьей бороде? Не на любви ли? Дух ли сделался невольником или невольник духом?“ — Все ясно и прекрасно».<sup>26</sup>

<sup>24</sup> ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 322, № 1, л. 20. — Спустя четверть века Хвостов, видимо, забыл, что «Аглая» начала выходить только в 1808 г., т. е. через два почти года после описываемых событий. Этот журнал Шаликова содержит известный полемический материал, в частности намеки на Хвостова; см., например, эпиграмму «На перевод Буаловой пиитики» (Аглая, 1808, июнь, с. 33). Однако искать здесь отклики на полемику 1806 г. едва ли правомерно.

<sup>25</sup> Московский зритель, 1806, март, с. 42.

<sup>26</sup> Там же, август, с. 61.

Заканчивается рецензия похвалой Хвостову, которая предвосхищает известную речь Д. В. Дашкова в честь Хвостова, прочитанную в «Беседе любителей словесности наук и художеств» 14 марта 1812 г., в которой Хвостов провозглашался крупнейшим в мире поэтом.<sup>27</sup> Шаликов пишет: «Судя по переводу Теокрита, мы имеем причину думать, что переводчик его имеет по крайней мере столько же гения, сколько и славный поэт греческой».<sup>28</sup>

Наконец, в июньском номере «Московского зрителя», т. е. действительно почти через полгода (февраль—июнь) после появления «Письма Петрония», мы находим исключительно грубое и резкое замечание, подписанное Издатель, т. е. сам Шаликов. К последним строчкам басни Бланка:

Иной лишь песенку, сонет или мадригал  
К любезной написал,  
А так уж о своем достоинстве мечтает,  
Что с Гением себя равняет, —

сделана сноска, в которой Шаликов пишет: «А иной, что еще примечательнее, написал гнусной пасквиль и почитает себя остроумным сатириком. Но кто не вспомнит прекрасных Вольтеровых стихов?

On peut à Despréaux pardonner la satire;  
Il joignait l'art de plair au malheur de médire.  
Les miel que cette abeille avait tiré des fleurs,  
Pouvait de sa piqûre à doucir les douleurs;  
Mais pour un lourd frelon méchamment imbécille,  
Qui vit du ma qu'il fait, et nuit sans être utile,  
On écrase à plaisir cet insect orgueilleux,  
Qui fatigue l'oreille et qui choque les yeux.

Издатель».<sup>29</sup>

Можно думать, что Шаликов писал это о Хвостове и что именно этот резкий отзыв имел в виду Хвостов, вспоминая спустя 26 лет о своей войне с князем Шаликовым.

При всех намеках на личности и личных неудовольствиях борьба между «Другом просвещения» и «Московским зрителем» носила принципиальный характер. Она является заметным эпизодом раннего этапа борьбы шипковистов с карамзинистами.

Анализ этой полемики имеет также известное методическое значение. Запись Хвостова лишней раз показывает, какие кон-

<sup>27</sup> ЧОИДР, 1861, кн. 4, отд. V, с. 183—186.

<sup>28</sup> Московский зритель, 1806, август, с. 69.

<sup>29</sup> Там же, июнь, с. 45—46. — *Перевод*: «Можно простить Депрео его сатиру. Он соединил искусство правиться с несчастием злословить. Мед, который эта пчела извлекает из цветов, успокаивает боль, нанесенную ее жалом. Что же касается тупого трутня, скверного дурака, который видит зло, им творимое, и вредит без пользы, то с удовольствием давят это спесивое насекомое, которое надоедливо жужжит в ушах и оскорбляет зрение».

кретные, точные события, имена, факты скрываются за литературными выступлениями, направленными, на первый взгляд, не против авторов, а против литературных явлений, взятых в целом. К сожалению, за неимением материалов, мы часто просто не можем расшифровать эту полемику.

Кроме того, следует отметить, что в первой части «Друга просвещения» за 1806 г. мы дважды — в «Письме Петрония» и в «Оде к милой» — сталкиваемся с намеками на произведения, которые еще *будут* опубликованы. Круг писателей был тогда, очевидно, настолько узок, что сведения о составе будущих номеров журналов расходились в нем довольно широко. Poleмические стрелы, таким образом, могли выпускаться не только после выхода очередного номера, но даже до или к моменту его появления.

Ю. В. С Т Е Н Н И К

ТРАДИЦИИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОДЫ XVIII ВЕКА  
В ЛИРИКЕ ПУШКИНА ПЕРИОДА ЮЖНОЙ ССЫЛКИ

(«Наполеон»)

Есть одна историческая тема, неизменно вызывавшая в лирике Пушкина обращение к одическому жанру. Это тема войны 1812 г., героический момент борьбы России с нашествием армий Наполеона.

Первый раз события Отечественной войны 1812 г. привлекли внимание Пушкина в Лицее. Молодой поэт обращался к теме по горячим следам в стихотворениях «Воспоминания в Царском Селе», «Александрю» и др. Поэт-лицеист верно уловил те возможности, какие давала русская торжественная ода XVIII в. для воссоздания атмосферы подъема национальных чувств, и он стилизовал в своих стихах отдельные элементы одической системы, подражая авторитетам прошлого.

События войны 1812 г. привлекут пристальное внимание Пушкина и позднее, в период польского восстания 1830—1831 гг. Поэт откликнется на него циклом стихотворений («Бородинская годовщина», «Клеветникам России», «Перед гробницею святой»). Традиции торжественной оды XVIII в. вновь оживут в этом цикле. И функциональный смысл обращения Пушкина к одической поэзии предшествовавшего, славного своими военными победами века также объясняется пафосом, составлявшим содержание стихотворений этого цикла.

Промежуточным звеном между двумя обозначенными веками являются два стихотворения периода пребывания поэта на юге: «Наполеон» и «Недвижный страж дремал...». В обоих происходит переосмысление ранних пушкинских оценок личности Наполеона и его роли в исторических судьбах России. Здесь же одновременно намечается существенная в кругу исторических размышлений поэта проблема отношений России и Европы. И в обоих случаях поэтический строй стихотворений демонстрирует отчетливые признаки восприятия традиций торжественной оды XVIII в.

Обращение Пушкина к теме Наполеона летом 1821 г. было, по-видимому, вызвано непосредственно получением известия

о смерти великого полководца. Но обстановка, в которой поэт создает свои стихотворения, по сравнению с лицейским периодом творчества коренным образом изменилась.<sup>1</sup> Находясь в ссылке, Пушкин переживает кратковременное увлечение романтизмом Байрона. Образ сосланного Наполеона наполняется теперь ассоциациями, которых не могло быть у лицейца Пушкина. И в содержании стихотворения отчетливо прослеживается полемика с теми официозными откликами на смерть Наполеона, которые появились в русской периодической печати.

Так, в июльском номере «Вестника Европы» за 1821 г. М. Т. Каченовским были опубликованы «Выписки о Буонапарте» как отклик на смерть Наполеона.<sup>2</sup> «Выписки» представляли собой перевод отрывков из книги Ж. де Сталь «Dix années d'exil» («Десять лет изгнания»), вышедшей в числе посмертно изданных сочинений писательницы в 1821 г. Приведенные в статье выдержки из книги де Сталь, как и сопроводительные замечания издателя «Вестника Европы», явно служили цели дискредитации Наполеона и всего, что могло вызывать в памяти современников это имя.

Сами по себе отзывы мадам де Сталь о Наполеоне во многом были близки к оценке личности этого человека, какую мы находим у Пушкина в его стихотворениях. «Ни прошедшее, ни будущее для него (Наполеона, — Ю. С.) не существует; властолюбивая, все презирающая душа его ничего не хочет признавать священным во мнении; он уважает одну лишь настоящую силу».<sup>3</sup> Но это была лишь одна сторона вопроса. Мадам де Сталь писала свои мемуары по личным впечатлениям еще при жизни Наполеона, и конечно ее оценка личности этого деятеля определялась в первую очередь ее особым отношением к политическим акциям самозванного императора Франции. Со смертью Наполеона положение менялось. Попытка понять историческое значение Наполеона неизменно вела к восстановлению в памяти событий, породивших его появление. В свете будораживших Европу тех лет революционных выступлений отношение к Наполеону становилось критерием для оценки политических убеждений. И когда Каченовский в своей публикации ограничивался в основном отзывами де Сталь о недостатках внешности и манер Наполеона, а также ее впечатлениями от казни герцога Энгиенского, преподнося это русским читателям в качестве своеобразного некролога на смерть Наполеона, Пушкин не мог быть согласен с подобной оценкой. Видимо, одним из внутренних побудительных мотивов для переосмысления значения Наполеона было для Пушкина его несогласие с трактовкой личности Наполеона подобной той, какая

<sup>1</sup> Вопрос об отношении Пушкина к Наполеону в этих стихотворениях уже являлся предметом внимания Б. Г. Реизова в его статье «Пушкин и Наполеон». — Русская литература, 1966, № 4, с. 49—58.

<sup>2</sup> Вестник Европы, 1821, т. CXVIII, № 13, с. 201—210.

<sup>3</sup> Там же, с. 206.

распространялась «Вестником Европы», тем более что такая точка зрения разделялась не одним издателем этого журнала.

Другим откликом на это событие, правда несколько запоздалым, явилось опубликованное в октябрьском номере «Сына отечества» стихотворение Ф. Н. Глинки «Судьба Наполеона». Пафос его — утверждение бессмысленности всего содеянного Наполеоном.<sup>4</sup> Оценка личности Наполеона в стихотворении Ф. Н. Глинки, конечно, существенно иная по сравнению с явно предвзятой точкой зрения Каченовского. Но и им возможность позитивного подхода к пониманию исторической роли Наполеона по существу отрицается. К этим запоздалым патриотам, по-видимому, и было обращено восклицание поэта в заключительной строфе стихотворения:

Да будет омрачен позором  
Тот малодушный, кто в сей день  
Безумным возмутит укором  
Его развенчанную тень!

Пушкин получил известие о смерти Наполеона в июле 1821 г. «18 juillet 1821 nouvelle de la mort de Napoléon»<sup>5</sup> — записывает он в тетради. Тогда же, по-видимому, поэт приступил к работе над стихотворением. набросанный между первыми строфами прозаический план стихотворения дает общие контуры развития его идеи, оставшиеся почти без изменения в процессе завершения. Но основное время работы над первой редакцией «Наполеона» приходится на сентябрь—ноябрь 1821 г.<sup>6</sup> К этому времени Пушкин мог прочесть и стихотворение Ф. Глинки. Так ли уж бессмысленно было все содеянное Наполеоном? Пушкин дает свой ответ на этот вопрос.

Время создания «Наполеона» знаменуется расцветом пушкинского романтизма. И это накладывает отпечаток на поэтический стиль стихотворения. Черты жанрового канона оды не составляют доминанты в художественной системе произведения. По существу в нем своеобразно сочетаются две стилистические струи, восходящие к различным истокам. Такое раздвоение вытекает из идеи произведения. Само отношение Пушкина к Наполеону не укладывается в рамки однозначной оценки. Эта многоаспектность оценки и порождает своеобразную многостильность стихотворения:

Чудесный жребий совершился:  
Угас великий человек.  
В неволе мрачной закатился  
Наполеона грозный век.

<sup>4</sup> Сын отечества, 1821, ч. 73, № XVI, с. 35—36.

<sup>5</sup> Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 292.

<sup>6</sup> Известие о завершении работы Пушкина над первоначальной редакцией стихотворения содержится в письме Е. Н. Орловой к А. Н. Раевскому от 12 ноября 1821 года — см. в кн.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, с. 316.

Исчез властитель осужденный,  
Могучий баловень побед,  
И для изгнанника вселенной  
Уже потомство настает.

Такова начальная строфа. Два первых стиха как бы подчеркивают масштабность случившегося и предопределяют своеобразную торжественность стиля всей строфы. Но о наличии воздействия традиций торжественной оды XVIII в. в первой строфе говорить еще нельзя. Мы видим в стихах Пушкина отчетливое влияние Байрона с грандиозностью его поэтических образов, с его гиперболизацией духа отторгнутой миром личности. «Изгнанник вселенной», «могучий баловень побед» — вот формулы, долженствующие воссоздать облик Наполеона. Космизм мировосприятия, насыщенный элементами пессимизма, фаталистической веры в предначертанность мировых судеб («Чудесный жребий совершился. . .»), — все это в приведенной строфе принадлежит объективно к романтическому методу английского поэта. И в этом стилистическом ключе выдержаны первые строфы, посвященные непосредственно личности Наполеона.

Двойственность поэтического строя стихотворения начинает ощущаться со второй строфы:

О ты, чьей памятью кровавой  
Мир долго, долго будет полн,  
Приосенен твоею славой,  
Почий среди пустынных волн!

Пушкин здесь по существу довольно точно воспроизводит интонационно-синтаксическую схему традиционной для панегирической поэзии XVIII в. усложненной фигуры риторического призыва — восклицания, когда предикативный член, будучи отнесен на самый конец фразы, отделен от субъекта, предваряясь целой цепью придаточных определительных и дополнительных предложений, причастных и деепричастных оборотов и других распространений.<sup>7</sup>

Своеобразие приведенных пушкинских стихов состоит в том, что традиционная для оды синтаксическая фигура оказывается

---

<sup>7</sup> Достаточно вспомнить широко известное место из оды Ломоносова «На восшествие на престол Елисаветы Петровны. . .» (1747) — «О вы, которых ожидает Отечество из недр своих. . .» или аналогичный ход из оды В. Петрова «На сочинение нового уложения» (1765):

О ты, который земнородных  
Щасливо общество нарек,  
Где царь исполнен превосходных  
Даров, ведет свой мудро век,  
. . . . .  
Воостань, Платон, и посмотри, —

Соч. В. Петрова, ч. I. СПб., 1811, с. 26.

лексически выдержанной в русле романтической поэтики. Так происходит совмещение в одном произведении двух систем художественного освоения мира. Такая двойственность как бы задана самим осмыслением личности Наполеона. Риторический призыв к почившему герою начала второй строфы сменяется спокойной примирительной тирадой, содержащей одновременно и оценку деяний Наполеона:

Великолепная могила...  
Над урной, где твой прах лежит,  
Народов ненависть почила  
И луч бессмертия горит.

Это сочетание «бессмертия» и «ненависти народов» знаменует новый диалектический подход Пушкина к оценке исторической роли Наполеона. «Герой» и «тиран» одновременно — таковы аспекты оценки. С точки зрения понимания художественной структуры произведения данные два аспекта личности Наполеона и обуславливают возможность одновременного сочетания романтической (идушей от Байрона) и одической (национальной в своих истоках) поэтических систем. Наполеон — «могучий баловень побед», «великий человек», «изгнанник вселенной» окружен героическим ореолом. И здесь ключ для понимания роли романтической поэтики, в которой выдерживается эта сторона его личности. Но Наполеон — «надменный» завоеватель, уничтоживший свободу Франции, пошедший войной на Россию, — «тиран». И в решении темы Наполеона с подобной позиции поэтическая доминанта определяется жанровым канонам русской торжественной оды.

С третьей строфы поэтический строй стихотворения почти полностью переключается в русле использования одического жанрового канона:

Давно ль орлы твои летали  
Над обесславленной землей?  
Давно ли царства упадали  
При громах силы роковой?

Гиперболизм метафор, теперь уже несущий в себе отчетливые черты системы тропики высокого стиля оды («царства упадали при громах силы», уподобление одержанных военных побед орлиному полету), органично сочетается с воспроизведением типичного для оды приема интонационно-синтаксического параллелизма. Всякий раз, когда Пушкин переходит к осмыслению Наполеона-завоевателя, определяющей стихией поэтического строя стихотворения становится художественная система жанра оды.

Несколько усложняется положение в 4—5-й строфах. Стилистическая окраска стиха вновь меняется. Обращение к предыстории появления Наполеона, воскрешение атмосферы событий французской революции 1789 г. оживляют фразеологию вольно-



любивой лирики Пушкина конца 1810-х годов. Исследователи уже отмечали пересмотр Пушкиным в этих строфах своих прежних оценок революции.<sup>8</sup> В политической обстановке начала 1820-х годов Пушкин приветствует революцию. «Человечество», «падежда», «волнение бурь народных», «площадь мятежная», «свободы яркий день», «рабство» — вот акцентные «слова-сигналы», формирующие стилистическую тональность стихов данных строф. Интонационный строй оды сохраняется, но фразеологический контекст определяется здесь комплексом традиций XVIII в., которые были восприняты Пушкиным ранее при создании оды «Вольность».

Вновь воздействие стилистического канона торжественной оды на поэтическую структуру стихотворения проявляется с 8-й строфы. Пушкин переходит к центральной части произведения, основу содержания которой составляет тема «Наполеон и Россия».

Мы видим, как снова меняется фразеологическая окраска стиха. «И се...», «росс», «колосс», «тиран», метафорическое уподобление «ступил на грудь ее Европы» — все это уже знаки, традиционные формулы панегирических гимнов победам русского оружия в одах XVIII в., Державина и Петрова. В батальных описаниях еще чувствуются следы стилизаций лицейского периода. Но в то же время здесь уже зарождается стиль патриотических стихотворений Пушкина 1830—1831-х годов. Романтический ореол вокруг имени Наполеона первых строф смещается теперь типичной для оды формулой «тиран»:

И все, как буря, зашумело;  
Европа свой расторгла плен;  
Во след тирану полетело,  
Как гром, проклятие племен.

«Проклятие племен» и знаменует ту «ненависть народов», почившую над урной с прахом Наполеона. И в этих строфах присутствии одической традиции закономерно подсказано патриотическим пафосом, пронизывающим концовку стихотворения. Последняя строфа содержит окончательную оценку значения Наполеона для исторических судеб России, оценку, которая у Пушкина уже не менялась в дальнейшем («Хвала!.. Он Русскому народу Высокий жребий указал...»).

---

<sup>8</sup> См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. I. М.—Л., 1956, с. 558—559.

С. МАТХАУЗЕРОВА

«СОБРАНИЕ РАЗНЫХ ПЕСЕН» ЧУЛКОВА  
И «СЛАВЯНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ» ЧЕЛАКОВСКОГО

В библиотеке Национального музея в Праге хранится под шифром 76 G 128 небольшая русская книжка, зачитанная и заполненная заметками, сделанными характерным почерком, свидетельствующим о том, что она принадлежала чешскому литератору первой половины XIX в. Вацлаву Ганке. Это сборник русских песен. Первая страница отсутствует, но на обложке рукой Ганки дополнено название: «Собрание разных песен», без имени издателя, места и года издания. Перед нами, бесспорно, первый том чулковского сборника «Собрание разных песен»,<sup>1</sup> переизданный Новиковым уже без имени первого издателя под названием «Новое и полное собрание российских песен».<sup>2</sup>

В литературной истории достаточно известно значение этой небольшой книжки для чешской поэзии первой половины XIX в., в особенности для знаменитого поэта и переводчика Ф. Л. Челаковского, которому В. Ганка давал русские книги,<sup>3</sup> и среди них, несомненно, также и чулковский песенник. Очень подробно изучена связанная с этим песенником история возникновения двух книг Ф. Л. Челаковского — «Славянских народных песен» (1822—1827) и «Эха русских песен» (1829);<sup>4</sup> «Собрание разных песен» М. Чулкова<sup>5</sup> исследовано также как источник половины русских

<sup>1</sup> Чулков М. Д. Собрание разных песен. СПб., 1770—1774.

<sup>2</sup> Новое и полное собрание российских песен, чч. 1—6. М., 1780—1781.

<sup>3</sup> В письме к своему другу В. Камарыту он пишет: «Одно я постараюсь у него (у Ганки, — С. М.) выпросить, а именно, если я перееду в Будейовицы, чтоб он там туда давал на прочтение русские и польские книги; ибо без них, как мне кажется, я уже не мог бы жить» (Korespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského, díl I. Praha, 1907, s. 81).

<sup>4</sup> Čelakovský Fr. L. 1) Slovanské národní písně, díl I—III. Praha, 1822—1827; 2) Ohlasy písní ruských. Praha, 1829.

<sup>5</sup> В письме В. Камарыту от 18 ноября 1821, т. е. во время работы над переводом, Челаковский переписал несколько песен из «Собрания разных песен»: «... для заполнения места присылаю я несколько русских народных песен, которые, только что напечатанные, я читаю (числом их 200)» (Korespondence... , díl I, s. 57).

песен, переведенных Челаковским в издании «Славянских народных песен».<sup>6</sup>

Однако не было еще выяснено, в каком отношении находятся песни, подобранные Челаковским, к остальным песням сборника Чулкова, т. е. совпадали ли художественные планы обоих собирателей и в какой мере вместе с песнями заимствован также принцип выбора и составления «разных песен». Этому вопросу и посвящена наша статья.

Челаковский нигде не упоминает имени Чулкова как автора «Собрания разных песен». В письмах он несколько раз говорит о сборнике, переписывает в своих письмах его песни, печатает их вместе с переводом на чешский язык в собрании «Славянские народные песни»,<sup>7</sup> однако он никогда не называет их собирателя. Интересно, что в примечании к первой русской песне третьего тома «Славянских народных песен» он говорит об «издателе Абевеги русских суеверий», опять-таки не называя его имени, хотя известно, что это Чулков. Это неудивительно, так как Чулков, автор романов и известный литератор 70-х годов XVIII в., был в начале XIX в. забыт,<sup>8</sup> и его имя как издателя сборника песен обычно уже не упоминалось. В переизданном Новиковым «Собрании разных песен» имя Чулкова также не приводится.

Данный факт способствовал тому, что Челаковский, не чувствуя себя обязанным учитывать художественный замысел этого издателя, выбирал из сборника Чулкова то, что отвечало его собственному художественному замыслу, определенному преимущественно романтическим предпочтением народной песни песне литературной. Таким образом, собранные Чулковым народные песни очутились в совершенно новом контексте и получили другое значение по сравнению с тем, какое придавал им Чулков в своем собрании.

Не будучи романтиком, Чулков не вносил в свое отношение к народной песне идеализации и возвеличения, которые типичны для романтизма. Напротив, Чулков, не подчеркивая своеобразия русских народных песен, в соответствии с духом Просвещения собирал народные песни наравне с литературными, он печатал их рядом с теми, которые создавались под влиянием французской и немецкой поэзии. В отношении Чулкова к народной песне проявилась прежде всего точка зрения человека среднего сословия, для которого народная песня — предмет не эстетического изуче-

<sup>6</sup> Máchal J. F. L. Čelakovského Ohlasy písní ruských. — Listy filologické, Praha, 1899, ročn. 26, s. 200, 212; Horák J. Drobné příspěvky národopisné. — Národopisný věstník Československý, ročn. IX, Praha, 1914, s. 124; Никольский С. В. К вопросу о знакомстве Ф. Л. Челаковского с русской фольклористикой начала XIX века. — Уч. зап. Инст. славяноведения, т. I, М.—Л., 1949, 359—366.

<sup>7</sup> Slovanské národní písně, díl III. Praha, 1827, s. 226.

<sup>8</sup> О том, как трудно открывались сведения о жизни и творчестве М. Чулкова, пишет В. Шкловский (см.: Шкловский В. Чулков и Левшин. Л., 1933).

ния, а живого потребления. Чулкову было близко содержание народных песен, их сюжеты и конфликты; они для него еще не стали простым объектом созерцания, они тщательно подбираются для «Собрания разных песен». Чулков распределил собранные им песни по содержанию (в рукописных сборниках помещались в случайном порядке песни разного стиля, ритма и содержания).<sup>9</sup>

Уже в названии сборника Чулков подчеркивает, что это песни «разные». Однако что же надо понимать под словом «разные»? Что является главным критерием выбора? До сих пор эти вопросы объяснялись неодипаково. А. В. Марков отметил, что каждый из четырех томов чулковского сборника состоит из двух частей. В первую половину каждого тома вошли исключительно песни искусственные, литературные произведения, в то время как во второй половине содержатся почти исключительно песни народные.<sup>10</sup> И. Н. Розанов не согласен с мнением А. В. Маркова. Он показывает, что в тех частях всех четырех томов чулковского сборника, в которых, по Маркову, должны быть исключительно песни народные, имеются также литературные произведения, например песня А. П. Сумарокова («О ты крепкой, крепкой Бендер град»), и М. И. Попова («Ты, несчастный добрый молодец»), и других авторов, т. е. песни, стилизованные под народную песню. И. Н. Розанов утверждает, что Чулков выбирал песни по стилю. Песни, написанные в стиле книжной лирики, преимущественно романсы и пасторальную лирику, он помещал в начале каждого тома своего собрания. Во второй части каждого из четырех томов он печатал все остальные песни, написанные в стиле устной народной лирики. Розанов приводит еще один принцип деления, а именно рифмованность. В первых частях имеются стихи рифмованные, во вторых частях стихи преимущественно без рифмы.

Розанов, кажется, лучше постиг критерии, которыми руководствовался Чулков, так как разница между литературным произведением индивидуальным и народным (т. е. коллективным) не была для XVIII в. решающей. Многие стихотворения вошли в разные рукописные сборники без имени автора.

Однако нам кажется, что Чулков с большим вниманием отнесся также к содержанию и функции отдельных песен. В начале каждого сборника он поместил любовные романсы и пастушеские песни. Во вторых частях чулковских томов песни также объединены тематически: песни исторические, о царе-батюшке, о войне с врагами, о казаках. Рядом с песнями народными напечатаны песни литературные. Дальше следуют песни о молодце, убитом в поле врагами, о гостинном сыне, о несчастной любви, о красной девице. Чулков объединил песни по их содержанию

<sup>9</sup> См.: Чернышев В. Русский песенник середины XVIII века. — В кн.: XVIII век. Сб. 2. М.—Л., 1940, с. 275.

<sup>10</sup> Марков А. В. Чулковский песенник и его значение для изучения великорусских народных песен. — Изв. ОРЯС, XXII, 1917, кн. 2, с. 2—9.

и жанру. При большом разнообразии собранных им песен он не мог соблюдать свой принцип последовательно, но все-таки он к этому стремился. Во второй части первого тома можно различить следующее деление: песни исторические (№ 121—144), преимущественно военные, о царях, славных воеводах, князьях, казаках. Начиная с песни № 142 появляется мотив несчастного молодца, который или лишается жизни в поле, или поддается соблазнам царского кабака, или должен проститься с красной девицей, или просто его преследует горе (№ 146—148). Начиная с песни № 149 печатаются песни о «красных девицах» и их «гореваниях». В конце сборника имеются песни кабацкие и шуточные, песни о разбойниках и плутах.

Ставя — хотя и не совсем последовательно — выше всяких других критериев критерий содержания и функции, Чулков объединил в этом смысле «разные» песни в едином сборнике. Приписав в духе Просвещения одинаковое значение и модному салонному романсу, и народной песне, Чулков достиг интеграции вкусов низших слоев общества и эстетических взглядов привилегированных слоев.<sup>11</sup> В предисловии к своему сборнику он писал: «Сих песен собрано у меня несколько, а сие составил бы ужасной величины книгу, если бы я напечатал их все вместе: того ради рассудилось мне выдавать их по частям. Каждая часть состоять будет из песен разного сложения, как сия первая, а в том же числе будут театральные, маскарадные, подблюдные, хороводные, и словом всякого звания».<sup>12</sup>

\* \* \*

Ф. Л. Челаковский интересовался только песнями второй части «Собрания разных песен» Чулкова (которые Марков называет «народными», а Розанов — «созданными в стиле устной лирики»). Для своего сборника «Славянские пародные песни» Челаковский перевел 25 песен (№ 121, 126, 131, 133, 135, 136, 139—141, 143—146, 150, 154, 155, 158, 162, 171, 175, 178, 190, 191, 198, 199) исключительно из второй половины сборника. Песни из первой половины (12 и 103) он процитировал в письме к своему другу Камарыту с рекомендацией взять «еще одну из народного русского сборника»,<sup>13</sup> но ни одной он не внес в свое собрание. В духе народно-возрожденческих взглядов он хотел обогатить чешскую культуру знакомством с народными русскими песнями. Чешская культура развивалась во взаимосвязи с другими славянскими культурами, поэтому песням из второй части чулковского сборника Челаковский придавал большее значение, чем песням из первой части, признавая за ними большую эстетическую ценность и оригинальность. В песнях из первой части он

<sup>11</sup> См.: Mathauserová S. Ruský zdroj monologické románové formy (M. D. Čulkov). Praha, 1961.

<sup>12</sup> Собрание разных песен М. Д. Чулкова. СПб., 1913, с. 8.

<sup>13</sup> Korespondence... , díl I, s. 109.

видел подражательство. Народные русские песни, их «поэтическую силу, необыкновенность образов, полноту чувств»<sup>14</sup> он предпочел «новейшим, преимущественно рифмованным песням русским, которые заимствованы у иностранцев и соцветены из пустых понятий».<sup>15</sup> Предпочтение народной русской песни песне искусственной имело еще одну причину. «Собрание разных песен» Чулкова воспринималось чешским поэтом и ученым в свете современных стремлений создать оригинальную чешскую поэзию, народную также в отношении стихосложения. Эти стремления проявлялись в резком отказе от той современной чешской поэзии школы Пухмайера, которая была результатом заимствования условных образцов иностранных литератур и использовала равномерное чередование ударных и безударных слогов и рифмовку. Новым поколением (Шафарик, Палацки) такая техника стиха ощущалась как слишком механическая, слишком упрощенная и вследствие этого малохудожественная. Ударяемость и безударность соответствовали динамике в музыке, следовательно, они казались аспектом второстепенным по сравнению с аспектом времени, который имеет место только в более сложных ритмах. Силлабо-тонический стих в свете новых метрических стихов нового поэтического поколения на самом деле казался лишним аспектом времени. В полемическом сборнике «Начало чешского стихотворства»,<sup>16</sup> объясняющем правила метрического стихосложения, ритм был определен как «правильное развитие элементов в определенной мере времени». Новое поэтическое поколение, упрекая стихи своих предшественников в бедности ощущения времени и в механичности, искало новые формы в оригинальной народной поэзии, так как «... техника стихотворства по своей природе должна быть затрудненная». Поэтов предшествующей школы новое поколение упрекало в отсутствии гармонии, которую не может заместить «бездушная рифма», двигающаяся, как «аист, однообразным прыжком, длинноватым и слабым».

Чешский стих, против которого направлены вышеуказанные возражения, был похож на тот стих, каким написаны искусственные салонные песни чулковского сборника, и ощущался как малохудожественный. В противоположность ему народные песни из второй части чулковского сборника, которые не подвергались механической упорядоченности стоп и рифм, казались реализацией «свободного духа», они считались более ценными в эстетическом отношении и поэтому более желательными для новой чешской поэзии. Они воспринимались как выражение славянского гения и как таковые были достойны воспроизведения

<sup>14</sup> Čelakovský Fr. L. Slované národní písně, díl III, s. 226.

<sup>15</sup> Позже И. П. Розанов подобным же образом оценивает эти песни: «Любовные песенки Сумарокова и его подражателей, очень популярные среди дворянской столичной молодежи, были переделками или подражаниями любовной лирике» (Розанов И. П. Песни о гостинном сыне. — В кн.: XVIII век. М.—Л., 1935, с. 221).

<sup>16</sup> Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie. Praha, 1818.

в словесности другой славянской страны. Их переводы и подражания им сливались с современными попытками в области чешского стихосложения, которые должны были проверить природные свойства чешского языка и дать ему возможность найти свое применение в новом, усовершенствованном стихе. Челаковский не был строгим сторонником и ревнителем метрической поэзии, хотя ею тоже пользовался. Последовательный тонический принцип народной русской поэзии он понимал также как противовес рекомендуемому в то время метрическому стихосложению, и, реализуя его в переводах русских песен, он доказывал, что к тоническому стиху как таковому не относятся возражения, направленные против силлабо-тонического стиха предшествующей школы. Тонический принцип является динамическим и открытым, его никак не касаются упреки в механичности, которые могут относиться только к силлабо-тонике как закрытой системе, где действительно не хватает чувства времени, так как время здесь не движется вперед, а вращается по кругу одинаково длинных стихов и одинаково длинных строф.

Внешнее оформление песен не было, конечно, единственным критерием, определявшим выбор Ф. Л. Челаковского. В его собрание не вошла, например, ни одна песня о гостинином сыне, хотя по подсчету И. Н. Розанова в первом томе сборника Чулкова имеются три такие песни (№ 160, 183, 189).<sup>17</sup> Это объяснимо тем, что в духе гердеровского отношения к народной песне и — как показал и С. В. Никольский<sup>18</sup> — в духе русской фольклористики начала XIX в., Челаковский считал песню деревенского населения более оригинальной и более правдиво отражающей дух народа, чем городской фольклор.

Отношение Челаковского к народной песне развивалось в совсем другой культурной обстановке по сравнению с той, которая на полстолетия раньше побудила Чулкова включить во вторую часть своего сборника также «песни городского мещанства», среди других и такие, где «речь идет о представителях высшего слоя купечества, о гостиных детях».<sup>19</sup> Напротив, Челаковский, выбрав песни о добром молодце, даже о крестьянском сыне, не имел никакого интереса к песням о гостинином сыне. Чешский поэт искал такое русское народное творчество, которое могло послужить базой для создания подлинно национальной чешской литературы.

Таким образом, хотя Чулков руководствовался общественными и эстетическими идеями, несколько отличавшимися от тех, которые вдохновляли Челаковского, «Собрание разных песен» сыграло немалую роль в поисках новых путей чешской поэзии XIX в.

<sup>17</sup> Розанов И. Н. Песни о гостинином сыне, с. 223.

<sup>18</sup> Никольский С. В. К вопросу о знакомстве Ф. Л. Челаковского с русской фольклористикой начала XIX века, с. 359—366.

<sup>19</sup> Розанов И. Н. Песни о гостинином сыне, с. 223.

Ф. ВЕНТУРИ

**НЕАПОЛИТАНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКЛИКИ  
НА РУССКО-ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ (1768—1774)**

Отклики из Тосканы и других итальянских областей на появление русского флота в Средиземном море в 1770 г. тщательно собирались и описывались вплоть до недавнего времени.<sup>1</sup> Вероятно, меньше известно о том впечатлении, которое политика Екатерины II в Греции и в Италии произвела в Неаполе. Однако именно на юге Италии дискуссия о значении и возможностях русского вмешательства в Эгейском и Тирренском морях была особенно широкой и оживленной, и также особенно сильны были надежды и разочарования, вызванные действиями армии и флота братьев Орловых.

Развернем самую значительную газету тех лет — «Notizie del mondo», выходившую во Флоренции. Публиковавшиеся в этой газете весной 1770 г. все более многочисленные известия о восстании греков на Пелопоннесском полуострове (Морее) и о русской помощи приходили именно из Неаполя. «Четырнадцать тысяч лакедемонян ворвались в крепости Морей и подняли на восстание всех греков, — читаем в номере от 21 апреля. — Русский флот прибыл <...> с помощью майнотов и других греков, населяющих эту область, которые как муравьи сбегались с оружием в руках <...> они захватили крепости в Модоне, Мистре, Гартани, Патрах и других городах». Известия из Корфу были великолепны: «Говорят, что дисциплина на русском флоте и в армии превосходна и что все довольны <...> Не избежала волнений» и «ближайшая область материка — Эпир» (19 мая 1770).

<sup>1</sup> Берков П. Н. Доминик Блекфорд и русская литература. — В кн. Научный бюллетень ЛГУ, № 8, 1946, с. 12 и сл.; Venturi F. 1) Qui est le traducteur de l'Essai sur la littérature russe? — Revue des études slaves, t. 38, 1961, p. 217 sgg; 2) I rapporti italo-russi dalla seconda metà del Settecento al 1825. — I quaderni di Rassegna sovietica. Atti del II Convegno degli storici italiani e sovietici. Roma, maggio 1966, quaderno II, 1968, p. 6 sgg.



Казалось, что Греция в самом деле вот-вот сбросит турецкое иго, однако уже в июне появились слухи о поражении и отступлении русских. Из Неаполя поспешили эти слухи опровергнуть. В номере от 23 июня утверждалось, что «граф Орлов <...> занял даже Коринф <...> Со стороны моря опасаться нечего, а потому в скором времени и остальная часть государства будет во власти русских (*moscoviti*). Граф Орлов очень доволен тем воодушевлением, с каким греки способствуют своему освобождению». Ему даже стоило немалого труда сдерживать «это огромное воодушевление и стремление греков тотчас же уничтожить все полумесяцы и поднять на их месте кресты и русских орлов <...> Тот же граф Орлов пишет многим корреспондентам, что, хотя греческий народ и находился под игом угнетения, он сохранил свои прежние силы и мужество, чтобы вернуть себе древнюю славу». Однако это традиционное мнение и грандиозные надежды не могли долго заслонять печальную действительность. И как вынуждена была написать газета «*Notizie del mondo*» 28 июля 1770 г., — на этот раз в корреспонденции из Венеции: «Демонстративные действия русских не привели к тому счастливому исходу, на который все надеялись <...> На Ионические острова — Кефаллиния, Закинф и Корфу<sup>2</sup> переселилось более 20 000 человек, бежавших с Мореи и с ближайших к архипелагу островов; и возможно они уже больше не возвратятся в свои родные места». С этой трагедией, однако, очень скоро примирились и перестали о ней вспоминать. 20 ноября 1770 г. в «*Notizie del mondo*» писалось о большом бале в Петербурге в связи с Чесменской победой. В сообщении упоминались аргонавты, христианские рабы, Петр I, Минерва, Язон и русский гений, а крестьяне и горцы, изгнанные со своих земель на Морею, конечно, были забыты.

В Неаполе, однако, эта первая вспышка сочувствия, это первоначальное представление о греческом возрождении при поддержке России не погасли и не исчезли совсем: они оставили глубокие и знаменательные следы. Пребывание русских офицеров в Неаполе зимой 1770—1771 года, их попытки завербовать людей и собрать средства для возобновления войны в Греции, присутствие в неаполитанском войске албанского полка — все это поддерживало постоянное внимание ко всему, что касалось России и Греции. Газета «*Notizie del mondo*» от 16 марта 1771 г. описывала необычное для Неаполя зрелище: «Господа русские офицеры» в воскресенье направлялись «в греческую церковь на богослужение» в сопровождении «албанского маршала и многочисленных офицеров этой нации; а потом два батальона из албанского полка выстроились без оружия по обоим сторонам дороги, по которой русские офицеры возвращались на свои квартиры». 20 апреля описывалась русская пасха в Неаполе и проезд гене-

---

<sup>2</sup> Эти острова в тот период принадлежали Венецианской республике (Ред.).

рал-лейтенанта Шувалова. 10 мая сообщалось: «Утром, около десяти часов, в наш город прибыл генерал граф Орлов; после короткой остановки на несколько часов он сразу же отправился в Ливорно». Из Ливорно для номера газеты от 10 сентября пришло письмо, содержавшее высокие похвалы Алексею Орлову, — типичный пример пропаганды, которая велась в Италии вокруг него и двора Екатерины II.

В «Notizie del mondo» помещались не только сведения о войне и официальная пропаганда. 16 апреля газета писала об известном неаполитанском эллинисте Доменико Диодати — авторе очень своеобразной книги, озаглавленной «De Christo Graece loquente». Д. Диодати послал свою книгу в Петербург, и она принесла ему «высочайшие заслуги при этом дворе», а также «великолепную золотую медаль» и, наконец, присланный самой Екатериной II «том in quarto, <...> в отличном переплете, с золотым орнаментом, заключенный в чехол из кожи — черной снаружи и красной внутри», том, содержащий «план свода законов для ее обширной империи», отпечатанный «на славянском, латинском, французском и немецком языках, с хорошо отгравированным символическим орнаментом и заставками. Печать и бумага очень чистые и ничем не уступают любому из лучших европейских изданий».<sup>3</sup>

Гораздо больший политический вес, чем обмен книгами между Диодати и Екатериной II, имела похвальная «Речь» Алексею Орлову, написанная в 1771 г. одним из наиболее самоубытных и энергичных молодых просветителей в Неаполе того времени — Франческо Марио Пагано, который в последующие годы опубликовал некоторые из самых значительных книг реформаторского движения южной Италии и которому суждено было умереть в 1799 г. мучеником за свою убежденную и страстную деятельность в якобинской неаполитанской республике. В 1771 г. Пагано было 23 года. За три года до этого он опубликовал исследование о римском праве, озаглавленное «Politicum universae Romanorum nomothesiaе examen». В этом исследовании соединилась

---

<sup>3</sup> См. также письмо Григория Васильевича Козицкого \* к Д. Диодати, опубликованное в «Notizie del mondo» от 9 января 1770 г., в котором он объяснил ученому неаполитанцу, что «мы, русские, в наших церквях пользуемся только родным языком», не прибегая к греческому; ср.: Diodati Luigi. Memorie della vita di Domenico Diodati. Napoli, 1815, p. 12. — Здесь подробно рассказано о попытках Д. Диодати наладить связь с Россией через посредство Метастазия, сардинского посла в Вене Мальбаиллы ди Канале, русского посла при императорском дворе Голицына, а также описаны многочисленные трудности на этом пути. На с. 20 книги отмечалось, что это самое издание «Наказа» Екатерины II подарила только двум итальянцам — Диодати и Беккари.

\* В журнале Н. И. Новикова «Живописец» (1772, л. 12) помещен «Перевод с письма господина Доминика Диодати из Неаполя 1771 года, октября 7 дня, писанного к Россиянину, посланному к нему в подарок „Наказ“ ее императорского величества, данный комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения»; по-видимому, этот «россиянин» — Г. В. Козицкий (Ред.).

оригинальная интерпретация античности с попыткой реформировать современную юриспруденцию, причем автор столько же вдохновлялся Платоном, сколько «Утопией» Томаса Мора. В следующем 1769 г. он выпустил в свет свой труд «Disegno del sistema della scienza degli uffizi», написанный по совету его учителя Антонио Дженовези, труд, в котором пытался сформулировать свои собственные моральные и политические убеждения.<sup>4</sup> А в 1771 г. вышла книга Пагано «Oratio ad comitem Alexium Orlov virum immortalem, victrici Moschorum classi in expeditione in Mediterraneum mare summo cum imperio praefectum».<sup>5</sup> Уже с детства, писал о себе Пагано, изучая античность, он начал надеяться, что с помощью русских «Graeci autem servitute liberati ad pristinam gloriam revocarentur».<sup>6</sup> Эта любовь к Элладе входила в его общую концепцию о превратностях человеческих судеб, которую впоследствии он изложил в своих очерках «Saggi politici». Наблюдения над мировой историей вселяло в него оптимизм в отношении будущего Греции — колыбели европейской цивилизации, Греции, находившейся теперь под гнетом варварства. И вот русские пришли к ней на помощь. Необычайно быстрым было развитие России, культура и энергия которой стали объектом восхищения в мире. Пагано казалось, что он уже видит перед собой необъятную будущую империю русских, возникшую на развалинах империи, на святой земле и на земле Эллады. После преувеличенных похвал русскому адмиралу, панегирик заканчивался восхвалением Екатерины II, постигшей ту «divina voluptas», которая рождается «cum homines vel aerumnis liberamus vel feliciores afficimus».<sup>7</sup> Не завоевание, а освобождение — такова цель русского вмешательства.

Неудивительно, что такой восторженный панегирик был радостно принят Петербургской Академией наук и что ее директор С. Г. Домашнев 15 (26) мая 1779 г. послал Пагано медаль и обширное благодарственное письмо.<sup>8</sup> Но политический смысл «Oratio» Ф. М. Пагано, вероятно, следует искать не столько в прославлении Екатерины II и ее генералов и адмиралов, сколько в посвящении, обращенном к лицу гораздо менее именитому, но несомненно более значительному — «comiti Antonio Giccae Epirotae in Russorum exercitu centurioni, nobilissimo viro».<sup>9</sup> Отец Ан-

<sup>4</sup> Solari Gioele. Studi su Francesco Mario Pagano. A cura di Luigi Firpo. Torino, 1963, p. 359 sgg.

<sup>5</sup> «Речь к графу Алексею Орлову, бессмертному мужу, главнокомандующему московским флотом в экспедиции на Средиземном море» (лат.).

<sup>6</sup> «греки, освобожденные от рабства, вернутся к прежней славе» (лат.).

<sup>7</sup> «божественную радость [которая рождается] когда мы или освобождаем людей от бедствий или делаем их более счастливыми» (лат.).

<sup>8</sup> Это письмо было опубликовано в 1782 г. самим Пагано в приложении к его трагедии «Фиванские изгнанные».

<sup>9</sup> «графу Антонио Джикке эпироту, офицеру в русском войске, благороднейшему мужу» (лат.). В некоторых русских источниках того времени его называют А. Гика (Ред.).

тонио Джикки был полковником Македонского полка неаполитанской армии и отличился в войне за австрийское наследство в битве под Веллетри. Антонио был одним из самых активных и мужественных приверженцев русской политики в Албании и Греции, «полномочный депутат от албанской нации» и ответственный за набор «Албанского легиона», который предполагалось сформировать в 1771 г. под началом Домашнева для борьбы против турок.<sup>10</sup> В своем посвящении Пагано выражает особую гордость дружбой с Джиккой, который «Xenofontis exemplum e censorioribus Graecis unus tantum sequutus, literas armis, Graecam Fortitudinem cum summa patriae caritate coniunxerit».<sup>11</sup> Джикка сам рассказал Пагано о действиях русских и убедил его в необходимости бороться за свободу Греции. В общем, в глазах Пагано Джикка был человеком, который сумел соединить слово с делом, увлечение античностью с повседневной суровой борьбой. Как же не пожелать ему достичь высшего положения в армии и увидеть свою родину освобожденной от варваров и процветающей?

Как раз в то время, когда Пагано обращался к своему другу-эпироту с этими горячими пожеланиями, Джикка распространял воззвание к русским, чтобы они не отступались от дела Греции, хранили верность обещаниям, данным за год до того, и энергично возобновили борьбу против турок. Его «Призывы греков к христианской Европе» публиковались по частям в «Notizie del mondo» начиная с 6 июля 1771 г. Они представляли собой нечто среднее между пропагандой в поддержку политики Екатерины II на Балканах и попыткой повлиять на решения самой императрицы, напомнив ей об ее обязательствах; причем автор опирался на европейское общественное мнение по греческому вопросу. Одна из самых значительных европейских газет того времени «*Courier du Bas-Rhin, ou Gazette de Clèves*» с 20 июля 1771 г. начала печатать французский перевод «Призывов», предпослав им краткое введение: «Мы получили с Архипелага, через Италию, документ, которому современные события придают особый интерес и значительность, он озаглавлен „Призывы греков к христианской Европе“. Это нечто вроде большого манифеста на греческом языке, в котором греки очень трогательно и драматично излагают свое ужасное положение под турецким владычеством и свое желание перейти под власть какой-нибудь христианской державы. Нетрудно понять, с какой целью и кем был написан этот документ. Мы решили напечатать его перевод тем охотнее, что,

<sup>10</sup> См.: Докладная записка о гр. А. Джике (от 14 мая 1777 г.). — Сборник имп. русского исторического общества, т. 145. СПб., 1914, с. 410—411.

<sup>11</sup> «единственный из греков нового времени, следуя примеру Ксенофонта, соединил литературу с оружием, греческую доблесть с величайшей любовью к отчизне» (лат.). — *Illuministi italiani*. Tomo V, *Riformatori Napoletani*. A cura di F. Venturi. Milano—Napoli, 1962, p. 924 (там воспроизведено все посвящение с параллельным итальянским переводом).

по всей видимости, он не появится на французском языке ни в каком другом периодическом издании, кроме этого». <sup>12</sup>

С несколько бóльшим опозданием — 8 августа 1771 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» был опубликован русский перевод (с итальянского) под заглавием «Вопль греческого народа к европейским христианам». Однако воззвание Джикки привлекло внимание не только европейских политиков и дипломатов. «Призывы греков» читались с большим интересом и любопытством одним молодым русским студентом Лейпцигского университета — Александром Радищевым, который предпринял их русский перевод с французского текста из «*Courier du Bas-Rhin*», перевел также введение, помещенное в этой газете, и оставил дату — 20 июля. Очевидно, он был увлечен возникшими в то лето сложными проблемами в связи с борьбой греков и политикой Екатерины II. Радищев не закончил свой перевод, но все же сохранил его, и сейчас он входит в полное собрание сочинений писателя. <sup>13</sup>

Тем временем в Неаполе в среде греческих и албанских офицеров, как и в среде итальянских журналистов и писателей, в течение всего 1771 г. продолжали живо интересоваться русской политикой. Энтузиазм и надежды подтолкнуть Екатерину II на путь более активного вмешательства в Греции сменяют друг друга и чередуются как в сочинениях Джикки и Пагано, так и в поэтическом сборнике в честь Екатерины — самом заметном неаполитанском издании того года — «*Componimenti poetici di vari autori in lode di Caterina II augustissima imperatrice di tutte le Russie*», посвященном «Теодору Орлову». <sup>14</sup> Если читатель сумеет преодолеть безграничную льстивость и искусственность этих стихов и сонетов на итальянском, латинском, греческом (древнем и новом) языках, то пред его взором возникнет изображение русских и греков, их прошлого и будущего, как бы нарисованное ими самими.

Победы Екатерины II, казалось, обещали освобождение от турок Константинополя, Азии и Европы и особенно — «освобождение Греции от тирании», как писал Томмазо Веласи, один из наиболее активных участников этого сборника. <sup>15</sup> Где уж думать о мире при такой обширной и славной программе? Организатор сборника, подписавшийся инициалами С. Г. С., родом из Вене-

<sup>12</sup> Действительно ли речь шла о переводе с греческого? Сами даты публикаций во Флоренции и в Клеве (6 и 20 июля) заставляют предполагать скорее перевод с итальянского текста из «*Notizie del mondo*».

<sup>13</sup> См.: Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. II. Под ред. Г. А. Гуковского и В. А. Десницкого. М.—Л., 1941, с. 225 и сл.

<sup>14</sup> Мы пользовались экземпляром, хранящимся в библиотеке Неаполитанского университета под шифром: R.XXXII.8. Эта, как и другие итальянские публикации, касающиеся греческих событий (за исключением «*Oratio*» Ф. М. Пагано), были указаны и описаны в книге: *Bilbassoff V. von. Katharina II. im Urtheile der Weltliteratur*. Berlin, 1897, vol. I, p. 166 sgg.

<sup>15</sup> *Componimenti poetici* . . . , p. 64.

цианской республики (возможно, из Кефаллинии), получивший образование в Парме, академик «Аркадии», в описываемый период, как мы знаем, был уж немолод и командовал «полком почти в две тысячи солдат». В его представлении Греция и Россия были как мать и дочь. «Луиджи Морери — парижский ученый историк говорит, что русские являются выходцами из Греции».<sup>16</sup> Только от Екатерины II Греция могла надеяться получить свободу:

Ardir c'ispiri, e coll'ardir c'insegni  
Sotto in vessilli tuoi quanto siam forti.  
.....  
Or che indugia il tuo brando, e non atterra  
L'idra crudle?<sup>17</sup>

После стольких сухопутных и морских поражений оттоманская империя должна была отныне ждать решающего удара:

E mira Caterina, che dall'alto  
Con novo nembo di guerrieri eletti,  
Prepara al regno suo l'ultimo assalto.<sup>18</sup>

Лишь при условии решительного вмешательства Екатерины Греция могла бы вновь обрести свободу и проявить свою древнюю доблесть:

Unica speme dell'argivo regno,  
Deh! Non deponi ancor l'invitta spada.  
.....  
Mira la bella Grecia a te rivolta  
Che il piè ti mostra incatenato, e spera  
Solo da te la libertà primiera.<sup>19</sup>

Прострашное «Воззвание к Екатерине Второй, императрице всей России, и к христианским государям», из которого извлечены эти последние стихи, оканчивается в пессимистическом, почти безнадежном тоне, а в заключение автор обращается уже не к царице, а к самому господу с просьбой изменить ужасную судьбу, так долго тяготевшую над Грецией. У императрицы

---

<sup>16</sup> Ibid., p. 1.

<sup>17</sup> Ibid., p. 10, 11. «Ты вселяешь в нас отвагу и с отвагой открываешь нам, Как мы сильны под твоими знаменами. ... Почему же ныне медлит твой меч и не поражает Лютую гидру?» (*итал.*).

<sup>18</sup> *Componimenti poetici*..., p. 20. «И видит Екатерину, которая сверху С новым сонмом избранных воинов Готовит последний удар по ее владычеству» (*итал.*).

<sup>19</sup> *Componimenti poetici*..., p. 57—58. «Единственная надежда греческой земли, Ах! Не складывай еще победоносный меч.. Взгляни на прекрасную Грецию, обращенную к тебе; Она показывает свои оковы и надеется Только от тебя получить свою былую свободу» (*итал.*).

в «Эпилоге» он просит всего лишь позволения открыто выразить надежды угнетенных, возможности

... del mondo cristian io spieghi i voti.<sup>20</sup>

Это была формула, подобная той, которую употребил Антонио Джикка, также принявший участие в этом сборнике двумя итальянскими сонетами, один из которых он сам переложил в «политические новогреческие стихи». Сочинения эти почти ничего не добавляют к тому, что мы уже знаем о деятельности Джикки и его убеждениях тех лет. Он тоже надеется, что

... alfin risorga  
dalle ceneri fredde il greco impero.<sup>21</sup>

Кое-что добавит нам, по крайней мере, новое имя — Паскуале Баффи, который выступил здесь с греческими стихами, переведенными затем им самим на латинский язык. В последующие годы он станет особенно известен своими познаниями в классических языках, а в 1799 г., так же как Пагано, погибнет жертвой антиякобинской реакции.<sup>22</sup> Разумеется, и его сочинения были стихами на случай, хотя здесь, конечно, дело не сводилось только к риторике и славословию. Во всем этом сборнике за аптичными реминисценциями и многочисленными похвалами стояла искренняя тревога за судьбу Греции, надежда, которая, казалось, сблизилась на время эфиротов и итальянцев, греков и русских. Но здесь чувствовалось также, как умирает эта надежда, как рассеиваются эти несбыточные мечты. Теперь до читателей газеты «Notizie del mondo» из России доходили известия совсем другого рода. 3 декабря 1771 г. в корреспонденции из Москвы рассказывалось о происходивших в городе волнениях: «Московская чернь представила нам столь огорчительное зрелище, сколь оно печально для человечества вообще».

Пройдет еще несколько лет, и внимание итальянцев, как и других читателей европейских газет, будет привлечено к русскому восстанию совсем другого масштаба и значения. Надежды греков стали уже воспоминанием прошлого, когда издалека и до Неаполя дошли сведения о восстании Пугачева.

(Перевод Р. М. Гороховой)

<sup>20</sup> *Componimenti poetici...*, p. 61. «...выразить христианского мира призывы» (итал.).

<sup>21</sup> *Componimenti poetici...*, p. 111. «...наконец возродится из хладного пепла греческая империя» (итал.).

<sup>22</sup> *Componimenti poetici...*, p. 115; ср.: *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 5, Roma, 1963, p. 157 sgg.

Н. М. ДЫЛЕВСКИЙ

**РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ XVIII СТОЛЕТИЯ  
И «ИСТОРИЯ ВО КРАТЦЕ О БОЛГАРСКОМ НАРОДЕ СЛАВЕНСКОМ»  
СПИРИДОНА (1792)**

Изучение взаимоотношений русской литературы с другими славянскими литературами стало особенно интенсивным в советском литературоведении последнего двадцатилетия. Итоги, основные методологические принципы, дальнейшие задачи и пути исследования этих взаимоотношений нашли теоретически обоснованное освещение в программной статье П. Н. Беркова «Русская литература XVIII в. и другие славянские литературы XVIII—XX вв. (В порядке постановки вопроса о литературных контактах)».<sup>1</sup> Эта работа П. Н. Беркова ставит своей целью определение принципиальной позиции, которую, «по мнению автора, должны занимать исследователи литературных контактов, существовавших между русской литературой XVIII в. и другими славянскими литературами XVIII—XX вв.».<sup>2</sup>

Наши заметки, внушенные статьей П. Н. Беркова, не претендуют на полноту, но они несколько дополняют и уточняют сказанное 70 лет назад известным болгарским историком В. Н. Златарским,<sup>3</sup> а в последнее время — советским литературоведом А. Н. Робинсоном<sup>4</sup> и болгарским ученым академиком П. Н. Диневым.<sup>5</sup>

Еще В. Н. Златарским, подвергшим обстоятельному анализу состав и круг источников, легших в основу «Истории во кратце

<sup>1</sup> В кн.: Русская литература XVIII века и славянские литературы. Исследования и материалы. М.—Л., 1963, с. 5—39.

<sup>2</sup> Там же. От редакции, с. 3.

<sup>3</sup> История во кратце о болгарском народе славенском, сочинися и списася в лето 1792 Спиридоном неросхимонахом. Стѣмки за издание В. Н. Златарски. София, 1900.

<sup>4</sup> Робинсон А. Н. Историография славянского Возрождения и Паисий Хилендарский. Вопросы литературно-исторической типологии. (Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. София, сентябрь, 1963). М., 1963.

<sup>5</sup> Динев П. Н. Из истории русско-болгарских литературных связей XVI—XVIII вв. — ТОДРЛ, т. XIX, М.—Л., 1963, с. 327—329.



о болгарском народе славенском» болгарина-иеросхимонаха Спиридоном (1794), было установлено решительное воздействие на ее автора исторических сочинений в славяно-русском переводе. Среди них В. Н. Златарский ставит на первое место книгу «Деяния церковная и гражданская» Цезаря Барония (1719)<sup>6</sup> и «Летопись... сказующую деяния от начала миробытия до рождества Христова...» (1784) пользовавшегося высоким авторитетом в ту эпоху церковного писателя-историка Дмитрия Ростовского (Даниила Туптало, украинского выходца).<sup>7</sup> К ним следует добавить нашедшие отражение в той или иной степени или цитируемые на страницах рукописи Спиридоном сочинения XVII в., известные и в изданиях XVIII в.: «Синописис» (1680-е годы), «Пролог» (1640-е годы), «Книгу житий святых» (1689—1705 гг.) Дмитрия Ростовского, а также менее значительные произведения — «Камень соблазна» Илии Мипятя (1744) и «Рајі мысленный», напечатанный в 1659 г. на средства валдайского Иверско-Святоозерского монастыря.<sup>8</sup> Использование автором «Истории во кратце» болгариним Спиридоном именно этих историографических и культовых сочинений отнюдь не было делом случайным. Оно совершенно закономерно обуславливалось исторически сложившимися причинами, сказавшимися в значительной мере на общем процессе культурно-политического возрождения болгарского народа, к которым необходимо присовокупить еще один существенный фактор. Движимый желанием составить краткую историю своего «в уничижение крайное пришедша» народа, наподобие «Истории славеноболгарской» Паисия, Спиридон прежде всего должен был заняться подбором необходимых источников. Такими, разумеется, были сочинения московской и киево-печерской печати, оказавшиеся для него наиболее доступными как по возможностям их отыскания, так и, в особенности, вследствие их авторитетности и понятности их славяно-русского языка. Один из них — «Деяния церковная и гражданская» Барония — был широко использован предшественником Спиридоном — Паисием Хилендарским. Что касается «Летописи» Дмитрия Ростовского, то ее привлечение в качестве второго основного источника было впушено непрерываемым авторитетом ее автора в среде учеников и последователей возродителя славяно-русской письменности в Молдавии Паисия Величковского (1722—1794), к которым принадлежал и болгарин Спиридон.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> История во кратце..., с. XVII—XX.

<sup>7</sup> Там же, с. XXV—XXVI.

<sup>8</sup> Там же, с. XXVI—XXIX.

<sup>9</sup> О Паисии и его аскетико-филологической школе см.: Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847; Яцимирский А. И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. Паисий Величковский и возрождение славянской письменности в Молдавии во второй половине XVIII века. — Сб. ОРЯС АН, т. 79, СПб., 1905, с. 515—583; Iorga N. Istoria Literaturii romine în secolul al XVII-lea (1688—1821). Bucureşti, 1969, vol. II, p. 316; Istoria Bisericii Romine.

По наблюдениям В. Н. Златарского, Спиридон пользовался своим основным источником — «Деяниями» Барония (кстати сказать, изобиловавшими хронологическими и фактическими неточностями) достаточно умело. Заимствованные сведения он не вносил в свою историю бессознательно и как придется, а комбинировал их, сокращая и дополняя объяснениями и стараясь по возможности поставить их в известную связь с другим материалом, бывшим у него под рукою.<sup>10</sup> Не принимал Спиридон и некоторых утверждений в «Летописи» Димитрия Ростовского, противоречащих его националистическим концепциям, вопреки признанию высокого научного авторитета ее составителя. Само собой понятно, что было бы исторически неоправданным ожидать от Спиридона подлинно научного отношения к имевшемуся в его распоряжении историческому материалу. Этого не позволяли ни уровень весьма примитивной методологии тогдашней болгарской историографии, ни степень подготовки самого Спиридона, который не мог опередить свое время. Он был типичным для своей среды доморощенным историографом, следовавшим в анализе, изложении и трактовке исторических фактов приемам современных ему церковных историков и вдохновляемым идеями Паисия Хилендарского.<sup>11</sup>

Заслуживает быть отмеченным особо значение автора «Летописи» — Димитрия Ростовского, сыгравшего большую роль не только в оформлении исторического мировоззрения Спиридона, но и в развитии национального возрождения двух родственных славянских народов — болгарского и сербского, и отчасти румынского. Богатое и разнообразное книжное наследие Димитрия Ростовского на понятном другим православным славянам языке в непродолжительное время распространилось далеко за пределами Украины и России и сделало известным имя своего автора прежде всего в странах Балканского славянского юга. В силу закономерности сложившихся исторических обстоятельств Димитрию Ростовскому было суждено оказать существенное воздействие на оформление некоторых сторон национального сознания народов этих стран.

Имя Димитрия Ростовского как автора ряда приобретших популярность произведений, и преимущественно «Книги житий святых», в том числе и национально чтимых, славяноболгарских, стало близким, своим, окруженным ко всему прочему ореолом принадлежности к великому северному славянскому народу. Оно пользовалось всеобщим признанием и ставилось рядом с именами

---

Manual pentru Institutetele Teologice. Vol. II (1632—1949). București, p. 297—307; Ταχίαος Α.-Α. Ν. Ὁ Παῖσιος Βελιτακόφρακι (1722—1794) καὶ ἀσκητικοφιλολογικὴ σχολὴ τοῦ Θεσσαλονίκης, 1964.

<sup>10</sup> История во кратце... с. XX.

<sup>11</sup> Istoria Bisericii Române, p. 172—178 и др.; Пенаков И. С. Иеромонах Кириак от Свищов (1800—1878). Един неизвестен български книжовник в Румъния. — Духовна култура, г. XXXVIII (1958), София, кн. 5—6, с. 46—49; Ταχίαος Α.-Α. Ν. Ὁ Παῖσιος Βελιτακόφρακι... , p. 27.

наиболее заслуженных деятелей отечественной истории эпохи возрождения болгарского народа. Это наше заключение находит полное подтверждение в недавно высказанной мысли Д. С. Лихачева о том, что Димитрий Ростовский был «последним писателем, который имел огромное значение для всей православной Восточной и Южной Европы».<sup>12</sup> В Болгарию сочинения Димитрия Ростовского стали проникать в изданиях преимущественно киево-печерских и московских и в дальнейшем получили распространение в «домашних переводах на славяноболгарский язык и в переработках (в отдельных публикациях и в периодической печати), а также имели хождение в списках и в переделках».<sup>13</sup> Эти исторически сложившиеся причины, к которым присоединился и шлет к имени и делу Димитрия Ростовского, Паисия Величковского и его окружения, были логичной предпосылкой, побудившей Спиридона остановить свой выбор на «Летописи» Димитрия в качестве одного из главнейших источников задуманной им «Истории». Второй способствующей, но уже побочной в данном выборе причиной была возможность пользования этим изданием и его наличие в книгохранилищах молдавских монастырей, и прежде всего в Нямцу, к которым Спиридон имел доступ.

К сожалению, мы не располагаем никакими конкретными сведениями об историографической деятельности Паисия Величковского и созданной им школы переводчиков святоотеческой литературы и искусных переписчиков. Судя по оставленному им книжному наследию и свидетельствам его биографии и автобиографии,<sup>14</sup> аскетическая настроенность Паисия замыкала его интересы «возрождателя» славяно-русской традиции в Молдавии в ограниченном круге церковно-поучительной литературы. Эта ограниченная направленность книжных вкусов Паисия Величковского, естественно, не содействовала созданию интереса к разработке исторических проблем и у его учеников, в числе коих был и болгарин Спиридон. Однако принадлежность к школе Паисия, вне всякого сомнения, не могла не выработать у Спиридона влечения к книжному делу, пробудила любовь к книжным занятиям, к рукописной и старопечатной книге. Именно в этом заключается знаменательность жизненной встречи Спиридона с книголюбом и энтузиастом Величковским, подготовившей почву, на которой сформировались книжные и исторические интересы Спиридона, автора «Истории». Итак, слияние воедино двух моментов: романтико-патриотических настроений Паисия Хилендарского и пребывание в творческой атмосфере «книжного делания» школы Паисия Ве-

<sup>12</sup> Лихачев Д. С. В чем суть различий между древней и новой русской литературой? — Вопросы литературы, 1965, № 5, с. 174.

<sup>13</sup> Дылевский Н. М. Димитрий Ростовский (Даниил Туптало) и болгарское Возрождение. (Заметки к материалам). — *Études balkaniques*. Sofia, 1966, t. 4, p. 113—139.

<sup>14</sup> Рукописная автобиография Паисия Величковского хранится в Библиотеке Академии наук СССР (шифр 13.3.26).

личковского стало стимулом, побудившим Спиридона написать «Историю во кратце». Документальные свидетельства дают право назвать Спиридона одним из первых болгарских книжников, использовавших труды Димитрия Ростовского в своей работе.

Знакомство со вторым основным источником «Истории» Спиридона — «Летописью» Димитрия позволяет охарактеризовать ее следующим образом. Основным содержанием ее было изложение книги «Бытия» с комментариями и добавками из различных церковных писателей-компиляторов и цитат из классических авторов и отцов церкви. Кроме того, Димитрий Ростовский пользовался в «Летописи» и своими «Книгами житий», «Великими Минеями-Четьими» митрополита Макария, «Руном орошенным», «Лимонарем» Софрония Иерусалимского и Иоанна Мосха, «Прологом», «Диоптрой», сочинениями Овидия, Кедрина, Дорофея Монеувасийского, польско-литовского историографа М. Стрыйковского, киевским «Синописисом» и др.<sup>15</sup> Нетрудно увидеть, что «Летопись» была своего рода энциклопедическим богословско-историческим сборником, предоставляющим читателю возможности богатого и разнообразного выбора и знакомства с недоступными для него сочинениями византийских и латинских авторов. Основная направленность «Летописи» была не историческая, а по преимуществу нравственная.

Спиридон пользовался «Летописью» исключительно при изложении библейских событий. Выборка фактического материала и его освещение, как уже было сказано, диктовались поставленными Спиридоном целями. Последнее полностью подтверждает мысль Г. В. Плеханова о том, что определенный народ, заимствуя что-либо у другого народа, берет только то, что соответствует его потребностям в той или иной сфере жизни, принимает только то, что необходимо для его развития.<sup>16</sup> Сокращение и комбинирование выдержек делалось с точки зрения патриотических замыслов Спиридона. Следуя историографическим приемам Паисия Хилендарского, Спиридон стремился к возвеличению своего народа, возводя его родословную к библейскому Мосоху и входя по этому вопросу в противоречие с высоко чтимым им Димитрием Ростовским, считавшим Мосоха родоначальником лишь одних русских славян. По меткому выражению А. Н. Робинсона, «церковные авторитеты пали под ударами национально-патриотической идеологии Спиридона».<sup>17</sup> Подобным образом он поступал и в других случаях, соотнося со своей концепцией не совпадающие или противоречащие ей свидетельства «Летописи» и остальных своих источников.

---

<sup>15</sup> Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). СПб., 1891, с. 424—425.

<sup>16</sup> Плеханов Г. В. Соч., т. VII. М.—Л., 1925, с. 212.

<sup>17</sup> Робинсон А. Н. Историография славянского Возрождения... с. 121—122.

Исследователем сочинения Спиридона не может быть обойден вопрос об основных этапах творческой истории создания его труда, о его хронологических координатах, о месте его составления, о легших в его основу источниках. Последователем Паисия Величковского Спиридон, по-видимому, стал на Афоне, в одном из монастырей которого он находился. Нельзя не пожалеть, что в «Житии» Паисия Величковского очень скупо говорится о его учениках. Отмечается только, что после его прибытия на Афон из Молдавии после 1754 г. у него было восемь учеников молдаван и четыре брата славянской национальности. Однако к концу его пребывания там (перед возвращением в Валахию и Молдавию в 1763 г.) вокруг него собралось свыше 60 человек братии.<sup>18</sup> В числе их, надо полагать, были и болгары, и среди них, вероятно, Спиридон. Имя «Спиридон» упоминается в двух письмах Паисия Величковского, написанных в Молдавии (в 1766 и 1772 гг.).<sup>19</sup> Ссылка на них не дает категорических оснований отождествлять с упоминаемым в них Спиридоном непременно нашего — болгарина Спиридона. Однако В. Н. Златарский<sup>20</sup> и П. Н. Динеков<sup>21</sup> допускают возможность видеть в нем историка Спиридопа. Имя переписчика Спиридона встречается и в двух рукописях библиотеки Величковского, что отмечается П. Н. Динековым в дополнение к сказанному В. Н. Златарским.<sup>22</sup> Никаких других более точных документальных свидетельств о Спиридоне как ученике Паисия Величковского пока не обнаружено. Но о том, что Спиридон был связан с монастырем Нямцу (и, следовательно, и Величковским), недвусмысленно говорит приписка в конце текста списка «Истории» Спиридона, сделанного в Болгарии, в Габрово, в 1819 г. Петко поп Манафовым: «Тая книга се е преписала от некоего иеромонаха най-напред, родом Габровец, именован Спиридон, в манастирь Немца в земли молдовска в лето от мира 7300 (1792, — Н. Д.), а аз я преписах в 1819 г. от истата Спиридоновата». Под нею дана вторая приписка: «Перво сочинися и списася сей летопис в земли молдовской в монастырь Немца в лето 7300».<sup>23</sup> В настоящее время в Болгарии известен лишь этот список «Истории» Спиридона, хранящийся в библиотеке гимназии имени В. Е. Априлова в Габрово. Другой экземпляр «Истории» попал в Россию в середине прошлого столетия и находится в Отделе рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.<sup>24</sup> Рукопись была найдена известным русским славистом А. Ф. Гильфердингом во время путешествия в земли южных сла-

<sup>18</sup> Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского, с. 42, 50.

<sup>19</sup> Там же, с. 256 и 259.

<sup>20</sup> История во кратце..., с. VII.

<sup>21</sup> Динеков П. Н. Из истории русско-болгарских литературных связей XVI—XVIII вв., с. 328.

<sup>22</sup> Там же, с. 328.

<sup>23</sup> История во кратце..., с. LII.

<sup>24</sup> Там же, с. IX—X.

вян в Македонии, неподалеку от Брегалницы, в 1868 г.<sup>25</sup> Летом 1898 г. ею занимался в бытность в России В. Н. Златарский, опубликовавший ее в 1900 г. в Софии. В. Н. Златарский считает, что экземпляр рукописи «Истории» Спиридона, найденный А. Ф. Гильфердингом,<sup>26</sup> не имел широкого обращения у себя на родине и был сохраняем владельцем лишь как нечто оригинальное и ценное. Действительно, наличие известных сейчас только двух экземпляров «Истории» не указывает на ее широкое распространение среди книжных людей того времени. Последнее, однако, не лишает ее значения как факта в становлении историографической науки у болгар в эпоху их возрождения, явившегося результатом интереса, пробужденного к отечественному прошлому «Историей» Паисия Хилендарского.

Анализируя «Историю» Спиридона, В. Н. Златарский приходит к выводу, что в ней использованы некоторые источники, найденные Спиридоном в книгохранилищах Афонских монастырей. Логична и его посылка о том, что мысль о составлении «Истории» в кратце зародилась у Спиридона также на Афоне, в среде соотечественников, которые проявили интерес к историческому прошлому болгарского народа. Отсутствие исчерпывающих описаний старопечатного и рукописного собраний главнейших библиотек Афона, к сожалению, не позволяет дать точных сведений о возможном круге чтения Спиридона на Святой горе. Не располагаем мы и подробным каталогом старопечатных славянских изданий Нямецкого монастыря. На основании косвенных данных можно утверждать, что оба основных источника Спиридона — «Деяния» Барония и «Летопись» Димитрия Ростовского были в библиотеке монастыря в дни пребывания там Спиридона. Об этом можно судить по тому, что «Летопись» («Cronica» в румынском переводе) и «Деяния» Барония были переведены на румынский язык в первой половине прошлого столетия в Нямцу болгаринном Кириаком, последователем Величковского.<sup>27</sup> Да и трудно допустить, чтобы в библиотеке Нямцу, собранной стараниями Величковского, украинца по национальности, не было бы книг его знаменитого земляка и учителя Димитрия Ростовского (Туптало) и других сочинений по истории славянских народов.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> О рукописи А. Ф. Гильфердинга см. подробнее в статье «Празднование тысячелетия кончины св. Кирилла, 14-го февраля 1869 г.» (Голос, 1869, № 69).

<sup>26</sup> В. Н. Златарский не называет его оригиналом.

<sup>27</sup> Пенаков И. С. Иеромонах Кириак..., с. 47—49. «Cronica» была напечатана в Нямецкой типографии в 1837 г. (см.: Jonescu G. Spicuirî din trecutul Tipografieî... — Nua Revista română, Bucureşti, 1901, № 27, p. 109—122).

<sup>28</sup> Яцимирский А. И. Славянские и русские рукописи..., с. 554, прим. I. — Два экземпляра «Летописи» в издании XVIII в. хранятся в библиотеке Нямцу под шифрами 160 и 291. Этой справкой я обязан проф. Боню Ангелову.

Приводя доводы о месте и времени составления «Истории» Спиридоном, В. Н. Златарский не учел одного весьма важного момента, служащего хронологической вехой. Он упустил из виду, что основной источник «Истории» (наряду с Баронием) — «Летопись» вышла в свет едва в 1784 г.,<sup>29</sup> т. е. спустя более двадцати лет по приезде Спиридона в Румынию с Афона (в Нямцу Паисий перешел в 1779 г.). Сообразуясь с тем, что ссылки на «Летопись» даются уже в самом начале «Истории», приходится прийти к выводу, что она была составлена в Молдавии, в Нямцу, и притом в промежутке между 1784-м и 1792 г., считающимся годом ее завершения. На Афоне у Спиридона могла лишь возникнуть идея о составлении «Истории» и были отысканы некоторые источники (например, «Деяния» Барония и др.).<sup>30</sup> Остается единственное ни на чем не основанное предположение, что с «Летописью» Спиридон мог познакомиться по одному из списков, сделанных в большом количестве еще до появления «Истории» в печатном виде.<sup>31</sup> Но факты ведут нас в другом направлении, и их нужно проверить до конца.

В конечном итоге суть дела сводится не к этому, а к констатации творческой роли импульсов и стимулов, полученных деятелями болгарского возрождения посредством славяно-русских переводов столь необходимых им книжных источников. И статью нам бы хотелось закончить словами П. Н. Беркова о том, что славяно-русскому переводу «Деяний» Цезаря Барония «выпала великая честь послужить побудительным толчком к национальному возрождению» болгарской литературы.<sup>32</sup> В этом заключается глубокий смысл взаимных импульсов и влияний, полученных двумя родственными славянскими народами — русским и болгарским — на протяжении их векового исторического бытия.

---

<sup>29</sup> Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский..., с. 428, прим. 8.

<sup>30</sup> Аргиров Ст. Из находките ми в манастирите Хилендар и Зограф. — Списание на Българската академия на науките, кн. 63. Клон историко-филологичен. София, 1942, с. 1 и сл.; Велчев В. Отец Паисий Хилендарский и Цезарь Бароний. София, 1943, с. 19; Драгова Н. Домашни извори на «История славянобългарска». — В кн.: Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762—1962). Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от «История славянобългарска». София, 1962, с. 327—328.

<sup>31</sup> Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский..., с. 430.

<sup>32</sup> Берков П. Н. Русская литература XVIII в. и другие славянские литературы XVIII—XX вв. — В кн.: Русская литература XVIII века и славянские литературы, с. 18.

Ю. ДОЛАНСКИЙ  
ХЕРАСКОВ И ЛИНДА

Еще совсем недавно мы недостаточно хорошо представляли себе, какое значительное место в истории русско-чешских литературных взаимосвязей занимает Михаил Матвеевич Херасков. Чем глубже мы познаем чешскую литературу конца XVIII—начала XIX в., тем чаще встречаемся с его именем.<sup>1</sup> Не подлежит никакому сомнению, что «Эпические творения М. Хераскова», второе двухтомное издание которых было осуществлено в Москве в 1786 и 1787 гг., были известны в Чехии уже с 1796 г. В частности, подробное сравнение его крупнейших эпических поэм «Россияда» и «Владимир» с чешскими рукописями Краледворской и Зеленогорской (РКЗ) ясно показывает, какую большую помощь оказал Херасков авторам этих произведений эпохи романтизма, «открытых» в 1817 и 1818 гг.

В нашем анализе и сравнении РКЗ с произведениями Хераскова<sup>2</sup> мы уже и раньше обращали внимание на основное тематическое сходство поэмы «Владимир» с произведением Йозефа Линды, одного из авторов РКЗ, «Заря над языческим миром, или Вацлав и Болеслав». Однако было бы полезно более систематически сопоставить сочинение Линды с поэмой Хераскова. Литературоведение приложило уже много усилий к тому, чтобы всесторонне осветить историческое значение этого опыта Йозефа Линды по созданию новочешского исторического романа, изданного в 1818 г.<sup>3</sup> Подтвердился факт тесной связи его «картины из отечественной истории» с европейским преромантизмом.

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: Dolanský J. Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Praha, 1960, s. 11—14; Доланский Ю. Херасков и Гавличек. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. XVIII век. Сб. 7. К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. М.—Л., 1966, 213—219.

<sup>2</sup> См.: Dolanský J. Ohlas dvou ruských básníků... s. 12—13.

<sup>3</sup> См., в частности, вводную статью Яна Махала к книге: Linda J. Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav. Praha, 1924, V—XXII. Наиболее полный обзор литературы о Линде и его сочинений содержит книга: Jakubec J. Dějiny literatury české. II. Praha, 1934, s. 340—341. —



Молодой Линда, решив изобразить победу христианства над язычеством во времена князей Вацлава и Болеслава в первой половине X в., стремился в преромантическом духе восславить прежде всего давнее прошлое Чехии. При этом он черпал материал преимущественно из древней «Чешской хроники» Вацлава Гаека из Либочан. Отсюда он взял известное повествование о том, как ярый сторонник христианства князь Вацлав был убит своим братом-язычником Болеславом. Кроме того, хроника Гаека давала Линде возможность воспользоваться и множеством других тематических деталей.

Однако в общей трактовке трагедии двух братьев Линда решительно разошелся с хроникой Гаека. Линда воспринял ее идейно, как коллизию двух мировоззрений: христианства и язычества. В зависимости от этой идеи создавались как сюжет, так и характеры главных героев. В соответствии с идеалистической философией просветительского и преромантического гуманизма Линда признавал главенствующую роль международного христианства как высшего морального принципа зарождающегося раннефеодального общества. Но в то же время он не осуждал и положительных сторон язычества, в котором видел — опять-таки в соответствии с мировоззрением своей эпохи — проявление самых древних славянских обычаев в их чистом виде, включая любовь славянского народа к свободе и его ненависть ко всему «чужому».

Известно, что во всех случаях здесь имеется в виду очень актуальная и модная в то время проблематика, вошедшая в чешскую литературу в начале XIX в. благодаря И. Юнгманну, переведшему на чешский язык повесть «Атала» из «Гения христианства» Ф. Р. Шатобриана. При создании многочисленных картин природы Линда опирался на творчество любимого им Оссиана, с песнями которого он познакомился также в русском переводе Ермила Кострова. Восстанавливая в духе идеализации славянскую мифологию, Линда, несомненно, пользовался и русской литературой, и прежде всего написанной на немецком языке работой молодого А. С. Кайсарова «*Versuch einer slavischen Mythologie*» (1804). Использование «Истории Государства Российского» Карамзина можно вопреки существовавшему раньше мнению<sup>4</sup> исключить, так как «История» была напечатана в 1818 г., следовательно, одновременно с произведением Линды, законченным гораздо раньше.

Откуда же взялась идея изобразить исторический конфликт между Вацлавом и Болеславом не как борьбу двух сильных личностей, а как величественную битву двух общественных укладов

---

Новую оценку см.: Vodička F. Počátky krásné prózy novočeské. Praha, 1948, s. 155—258. — Сведения о Линде также см. в работе: Никольский С. В. Литература конца XVIII века—1848 года. — В кн.: Очерки истории чешской литературы XIX—XX веков. М., 1963, 39—40.

<sup>4</sup> М. исследование: Hanuš J. Český Macpherson. — Listy filologické, 1900, R. 27, s. 241 и сл.

и их идеологий: старого первобытнообщинного строя и формирующегося раннего феодализма, т. е. как обобщенную картину борьбы язычества с христианством? Именно эта идея выдвигается на первый план в произведении Линды. Она обобщенно выражена уже в самом названии «Заря над языческим миром» («Záře nad rohanstvem»), конкретизированном потом в подзаголовке именами двух братьев-князей («...или Вацлав и Болеслав»), представителей христианского «света» и языческой «тьмы».<sup>5</sup>

Ясный ответ на этот вопрос дает поэма Хераскова «Владимир», написанная русским классицистом в честь восьмисотлетней годовщины крещения Руси при князе Владимире. Но в отличие от летописных сведений Херасков превратил Владимира — в соответствии с просветительскими идеалами русских масонорозенкрейдеров времен Екатерины II — в человека, ищущего правду и свет в царстве тьмы. Поэтому мы находим в поэме много образов, заимствованных из масонской символики, где неустанно борются свет и тьма, правда и ложь. Главная идея поэмы содержится уже в ее первых строках: «Вдохни небесное мне, Муза! восхищенье, Владимирово петь святое просвещенье, Которым древняя полночная страна, Как солнцем с высоты до днесь озарена; Владимир свой народ преобразил, прославил, Кумиров истребил и Богу храм поставил».<sup>6</sup> Уже в этих стихах отражена основная тема произведения: «святое просвещенье» полночной страны, озаренной «солнцем с высоты», истребление кумиров и постройка храма, что является одной из основных аллегорических целей всех масонских лож.

Для чешского писателя, стремящегося изобразить подобную картину из отечественной истории, поэма Хераскова «Владимир» была стимулирующим образцом. На своем пути к христианству легендарному князю Киевской Руси Владимиру приходилось сталкиваться с проблемами, подобными тем, которые возникали в Чехии во времена князей Вацлава и Болеслава. Родственный характер тем обусловил сходство ряда характеристик и некоторых частей сюжета. Владимир у Хераскова с ужасом вспоминает о том, как он убил своего брата Ярополка, — аналогичное братоубийство совершил и чешский князь. Отдельные части общей темы в обоих произведениях распределены по-разному в зависимости от конкретных условий и известных фактов истории Киевской Руси и Чехии. Однако Владимир в изображении Хераскова во многом напоминает чешского братоубийцу Болеслава, с трудом, через внутренние противоречия, преодолевая языческие традиции, про-

<sup>5</sup> См. об этом: Vodička F. Počátky krásné prózy novočeské, s. 176, 244 и сл.

<sup>6</sup> Эпические творения Михайла Хераскова. Ч. II. Изд. второе, исправленное, пересмотренное и дополненное. М., 1787, с. 1. — В этом издании неправильно пронумерованы страницы 137—145; цитируя стихи, напечатанные на этих страницах, мы приводим исправленную пагинацию (далее ссылки в тексте).

бывается он к новой христианской вере. Но уж раз обратившись к ней, он строит «храм богу», подобно тому как это сделал Вацлав у Линды.

Поэма Хераскова могла привлечь чешского писателя главным образом двумя основными идеями: патриотической идеей и выдвинутым на первый план идеологической борьбы между язычеством и христианством, борьбы, ведущейся обеими сторонами в целях лучшего будущего родины. В своей поэме Херасков не скрывает симпатий к глашатаям христианства и ненависти к сторонникам язычества, поддерживаемым вымышленными демоническими силами.

Ни одно произведение мировой литературы не было так близко «Заре над языческим миром», как «Владимир» Хераскова. Однако Линде для осуществления его поэтического замысла был совершенно не нужен сложный эпический сюжет поэмы Хераскова. Линда не сталкивал своих героев с персонажизированными представителями неба и ада, которых встречал Владимир на своем символическом пути к «небесной правде». Чешская повесть о Вацлаве и Болеславе просто не давала возможности для более обширного описания военных походов и битв, подобных битве Владимира с печенегами и битве при взятии Херсона. Почти вне поля зрения Линды находится любовная тематика, являющаяся у Хераскова одним из важнейших компонентов поэмы. Чешский автор, наоборот, большое внимание уделяет живописной сцене принесения жертв языческим богам. В духе принципа, сформулированного во введении, Линда не отвергал полностью, как Херасков, языческих обычаев. Он даже настолько идеализировал языческую мифологию, что первая часть его повести, где изображается празднество в честь бога Свантовита, наполнена радостным светом примитивного языческого мира. Название чешского произведения можно было бы по этой причине понимать и в другом смысле, как прославление язычества, излучавшего свой собственный свет.

Но несмотря на все различия, которые мы обнаруживаем при сравнении произведения Линды с «Владимиром» Хераскова, в них есть общие черты. К сожалению, в этой статье мы не можем сделать подробный анализ текста обоих произведений, который бы ясно доказал, что Линда не только знал поэму Хераскова, но и кое-что заимствовал из нее. Более многочисленные конкретные доказательства необходимо будет привести в другой статье.<sup>7</sup> Пока обратим внимание лишь на несколько наиболее характерных мест, в которых видно влияние Хераскова на Линду.

Как мы уже говорили выше, чешского писателя с русским поэтом объединяет общность идейной концепции исторической повести. Херасков изобразил конфликт между христианством и

---

<sup>7</sup> Автор намерен опубликовать ее в журнале славянской филологии «Slavia».

язычеством с помощью метафоры, распространенной в эпоху Просвещения, т. е. как борьбу света с тьмой. Символическое противопоставление света и тьмы мы находим в самых различных вариантах почти во всей поэме, за исключением, кажется, 11-й и 12-й песен. Здесь уже во введении не только «полночная страна... солнцем с высоты озарена». Владимир, «России просветитель», осветил «полночный край», который «дремал во тьме» (с. 2). Владимир «верою пе озарен святою», «в нощи безбожия подобен був луне, Как солнце наконец сиял в своей стране» (с. 3). «Густыя нощи тьмой казался окружен» (с. 9), и была «от солнца далека полночная страна», пока оставалась божьего «света лишена» (с. 10). И только потом «Божий глас светящ зарями зрится» и возвещает: «Россия просветится! ... Весь Киев озарит и всю Россию вскоре» (с. 12). Молодая Версона тоже была «рожденная во тьме языческа закона» (с. 29). Бог приказывал Владимиру: «Сияй ... в стране полночной свет! И север зрится весь сиянием одет». Владимир, таким образом, «уподобляется небесному светилу: Его объемлет тьма, он паки гонит тьму» (с. 40). И старец Кир приказывает Владимиру (с. 116): «Крещением, о Князь! Россню озари». И, наоборот, персонифицированное Сомнение «во тьму преобращает небесный чистый свет» и старается «да Истины святой при первом озареньи Ко Слово Божию вселить недоверенье» (с. 139). И в заключение (с. 244) Владимир прославляется в поэме за то, что «сияние простер по всей державе он»; «ты души просветил, неверства прогнал мрак, ... Ты будешь озарять Российскую страну, Доколе видит мир и солнце и луну; ... Доколе Истине внимают человеки!».

Бесконечное множество подобных символических мотивов света и тьмы демонстрирует и чешское произведение. Для примера достаточно привести несколько цитат: «Сияние! — воскликнул блаженный Вацлав, — сияние сошло с высот небесных и разогнало тьму; народ весь видит истинного Бога просвещенного и путь к нему! ... и это благословенное сияние, этот божественный ясный свет свыше озарил нашу страну, тонувшую до этого в темноте».<sup>8</sup> И еще в другом месте Вацлав говорит: «С неба разлился свет правды — занялась заря в краях восточных, — и сюда, до западных земель, дошел этот свет, и его отблески осветили нашу страну» (с. 62). О «небесной правде» (с. 65) говорит Вацлав, убеждая Болеслава: «Брат мой! И тебя озарит свет правды» (с. 68). Если Болеслав думал о Вацлаве, что «дух его скитается в полночной темноте» (с. 68), то Вацлав в свою очередь уверял брата: «Бог... видит, что твой дух блуждает во тьме, и да озарит он тебя светом, ниспосланным свыше» (с. 70). Три раза подряд повторял Вацлав (с. 65), что каждый человек будет «озарен светом веры» (с. 65). Не забыл в «Заре» Линда и об аллегорическом

<sup>8</sup> Linda J. Zaře nad pohanstvem..., s. 55 (далее ссылки в тексте).

мотиве слепцов, т. е. людей, к которым не проникнет свет истины. Болеслав припоминал, как говорили о них чужестранцы: «Слепцы вы! вы не знаете Бога, наш Бог настоящий!» (с. 140). То же самое твердил в поэме Хераскова Добрыня, отвечая римскому послу на его обещание, что папа «разум просветит неверия в почи»: «Когда мы странствуем в сей жизни, как слепцы, За то ответственует не Царь наш, но жрецы» (с. 47—48).

Совершенно ясно, что все эти метафорические образы света и тьмы, дня и ночи, познания и слепоты, использовавшиеся для обозначения противоположных понятий христианства и язычества, одинаковы в «Заре над языческим миром» Линды и поэме Хераскова «Владимир». Причем чешский преромаптик не отвергал так последовательно язычество, как это делал русский просветитель. В общей концепции своего «видения из отечественной истории» Линда скорее приближался к более миролюбивой точке зрения, выраженной чародеем Зломиром в поэме Хераскова, стремящимся убедить Владимира в одинаковой ценности различных религий для людей: «Язычество мы чтим предтечей Христианства; Сии предания суть вымыслы одни, Могущи услаждать людей разумных дни» (с. 233). Херасков не соглашался с такой веротерпимостью. Картины из языческой жизни он рисовал в самых черных красках, включая кровавые злодеяния, лицемерие и предательство, жестокие ужасы и страх. Линда, наоборот, исходил из философии Бернарда Больцано. И несомненно имея в виду отношение к различным религиям, Линда писал, что совершенно отрицать или безудержно восхвалять что-либо может только тот, кто полагается на свой разум и чувства, считая их непогрешимыми.

Линда воплотил свои представления о язычниках и христианах в живых образах, полных динамики и драматизма. И в этом он очень приближается к русскому поэту. Две части своей повести (I и III) Линда посвятил изображению праздника в честь языческого бога Свантовита. Действие пятой части разворачивается около статуи бога Перуна. Неоднократно упоминает Линда и о других языческих богах, главным образом о прекрасной богине весны и любви Ладе. Естественно, что при этом описания Линды во многом совпадают с фантазией Хераскова. Уже во «Владимире» Хераскова действие I, II и V песен происходит в храме бога Перуна. Во II песне речь идет о совете языческих богов. Песнь III рисует радостную картину праздника в честь «божества любви», «сластолюбной Лады». Девы приносят ей цветы, ими любитесь народ. Приходит сюда в сопровождении пышной свиты и Владимир со своими воинами, одетый в сияющие доспехи. Девы поют и пляшут вокруг идола под звуки кимвалов и лиры. Жрецы и жрицы приносят девицам венки. Не представляет никакого труда обнаружить тесную связь этой картины с подобной картиной в первой части чешского произведения, где описывается праздник в честь бога Свантовита. Однако и здесь

Линда расходится с Херасковым в описании драматической сцены между Версоной, ее женихом Законестом и Владимиром.

Но кроме картин языческих празднеств очень много общего мы находим у Хераскова и Линды в деталях, использованных ими при изображении язычества. Как и в поэме «Владимир», где злой бог Чернобог играет значительную роль, имя этого бога трижды упоминается и у Линды (с. 31, 89, 150). Здесь неоднократно говорится о могуществе богов, об их гневе и мести. Из родственности сюжетов вытекала необходимость изображения языческих святынь, мест жертвоприношений, алтарей, жертв (у Линды это всегда только животные и их кровь), священного огня и дыма, поднимающегося от жертвы, молитв жрецов и песен под аккомпанемент музыкальных инструментов. Еще более бросается в глаза сходство с поэмой Хераскова в сцене (с. 98—102), где Болеслав встречается со старым языческим жрецом у его пещеры и просит поведать ему волю богов, требующих смерти Вацлава. При создании этой сцены Линда мог опереться на подобные сцены во II, VI и IX песнях поэмы «Владимир» с приводящими в ужас описаниями лесных пещер и бездн.

Картины христианского «света» Линде не удалось изобразить так красочно и впечатляюще, как язычество. Линда сосредоточил свое внимание на характеристике набожного князя Вацлава, на его христианском рвении, мудрости правителя и благородстве. В образе Вацлава перед нами предстает с самого начала и до мученической смерти образцовый тип положительного героя без малейших намеков на внутренние противоречия и сомнения. Этим он резко отличается от Владимира в поэме Хераскова, блужданиям и сомнениям которого гораздо ближе у Линды Болеслав. С Владимиром Вацлава сближает скорее его храбрость в битвах с врагами. Но и здесь чешскому князю помогают небесные силы.

Большинство сцен, в которых участвует Вацлав, происходит на пражском Вышеграде. Именно это название могло быть одним из факторов, привлечших внимание чешского писателя к поэме о русском Владимире. Дело в том, что XI песня этой поэмы начинается стихами: «Уже Российских войск великая громада Как туча двинулась из твердых стен Вышграда» (с. 154). На чешского читателя, особенно в период национального возрождения в начале XIX в., такое подтверждение исторического родства наших народов, естественно, должно было оказать сильное влияние. Неудивительно, что Линда с радостью использовал мотив Вышеграда. Если уже Херасков с любовью описывал красоту пейзажа над Днепром, величие соборов и княжеского двора на киевском Вышграде, то с не меньшим восторгом, поэтической фантазией и лирическим вдохновением изображал Линда древний Вышеград, его величественную архитектуру, панораму Влтавы и ее окрестностей.

Множество общих черт между «Зарей над языческим миром» и «Владимиром» можно отметить и в разработке темы народа, его

свободы и будущего. Все герои Хераскова во главе с Владимиром борются за счастье родины и в зависимости от этого определяют свое отношение к старым языческим богам и к новой христианской вере, которая должна «озарить Россию». Они вспоминают о давней славе предков и с недоверием относятся к идеям, приносимым «коварными» чужестранцами. Множеством цитат можно было бы легко показать, что в повести Линды мы имеем дело с подобным же идейным комплексом, еще усиленным славянским самосознанием. В этом смысле он припомнил, что слова Христовы пришли к нам «из краев восточных» (с. 48). А Болеслав подчеркивал: «С запада свет не приходит, запад поглощает свет, запад — край ночи и тьмы» (с. 62).

Эта тематика очень верно отражала чешский и славянский патриотизм молодого поколения чешских писателей, обращавших свои взоры к братской России. Отсюда такое количество реминисценций из поэмы Хераскова в «Заре» Линды. Отсюда и многочисленные русизмы в языке. Следовательно, вклад выдающегося русского классициста в чешскую литературу эпохи национального возрождения был значительным, ибо стимулировал не только создание рукописей Краледворской и Зеленогорской, но и попытку Йозефа Линды, одного из создателей РКЗ, написать первый новочешский исторический роман.

Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ  
К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ ЛЕССИНГА

Библиографическая эвристика — наука об ориентировке в мире книг — была доведена П. Н. Берковым до степени искусства. Введя в широкий научный обиход самое понятие о ней, он показал этим особенность своего отношения к библиографии, в которой он видел не только сумму справок о книгах, но прежде всего рабочий инструмент, находящийся в действии, как бинокль или компас в руках мореплавателя.<sup>1</sup> Подобно этим приборам, библиографическая эвристика незаменима на старых книжных маршрутах, но ее методика ценна еще и тем, что помогает находить дороги в местах, где почти никто прежде не бывал. Даже если эти дороги не всегда приводят к значительным открытиям, они сослужат хорошую службу будущим исследователям.

Изучение восприятия творчества Г. Э. Лессинга в России столкнуло меня в свое время с одной библиографической загадкой. Решение ее было, впрочем, связано не столько с библиографическими разысканиями в собственном смысле слова, сколько с эвристикой в чистом виде, т. е. с практическим поиском книг.

Речь идет о библиотеке Лессинга, проданной с аукциона в Берлине осенью 1767 г. Предшествующая история этой библиотеки довольно подробно описана в первой научной биографии Лессинга, составленной Т. В. Данцелем и Г. Э. Гурауэром.<sup>2</sup> Библиотека была собрана Лессингом преимущественно в годы жизни в Бреславле (1760—1765). Занимая должность секретаря при прусском военном генерал-губернаторе, Лессинг посвящает свой досуг литературному творчеству и интенсивно занимается теорией и историей искусств. В это время им написана комедия «Минна фон Барнхельм» и создан знаменитый эстетический трактат «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии».<sup>3</sup> Лессинг

<sup>1</sup> См.: Берков П. Н. Библиографическая эвристика. М., 1960, с. 27 и сл.

<sup>2</sup> См.: Danzel T. W. Gotthold Ephraim Lessing, sein Leben und seine Werke. Bd. 2. Abt. I von G. E. Guhrauer, Leipzig, 1853, S. 137—138.

<sup>3</sup> Характеристику творчества Лессинга бреславльского периода см.: Гриб В. Р. Избранные работы. М., 1956, с. 52 и сл.; Фридлиндер Г. М. Лессинг. Очерк творчества. М., 1957, с. 81—109.



никогда не был библиофилом, собирателем книжных раритетов. Его библиотека носила исключительно рабочий, подсобный характер.<sup>4</sup> Он охотно ссужал книгами своих друзей и, по-видимому, не всегда требовал книги обратно (кроме тех, разумеется, случаев, когда книги были нужны ему для работы). Тем не менее в его собрании встречались редкости — издания XVI и XVII вв.; очень богат был раздел периодики, насчитывавший около 750 томов. К моменту продажи библиотека в целом состояла приблизительно из шести тысяч книг, из которых Лессинг намеревался оставить у себя лишь незначительное число. Стремление освободиться от накопившихся книг объяснялось новыми планами Лессинга (в эти планы входило, в частности, основание собственного издательства), которые в конце концов свелись, как известно, к переезду в Гамбург, осуществленному за несколько месяцев до продажи библиотеки. Первоначально в задачу Лессинга не входило раздробление и публичная распродажа его собрания, но — такова судьба многих крупных личных библиотек — все книги сразу никто купить не решался, даже берлинские друзья Лессинга М. Мендельсон и Ф. Николаи, которые не могли не отдавать себе отчета в достоинствах этого собрания. Продажа с торгов была крайним, вынужденным средством добыть денег. Но ожидаемой высокой прибыли аукцион не принес, и сумма была бы еще меньше, если бы основная часть книг не была закуплена для Варшавской общественной библиотеки, основанной братьями Залускими.

Таким образом, некоторое количество книг, ранее принадлежавших Лессингу, вошло в фонды огромной библиотеки Залуских, и след книг Лессинга потерялся среди нескольких сотен тысяч ее томов.

Основную роль в создании этой библиотеки сыграл младший из двух братьев Залуских, Юзеф-Анджей (1702—1774), крупный польский общественный деятель, библиофил и библиограф.<sup>5</sup> С 1748 г. его библиотека в Варшаве была открыта для посещения, а в 1761 г. Залуский отказался от прав на нее, хотя и продолжал пополнять ее фонды. Почти в то же самое время, когда были куплены книги Лессинга, в октябре 1767 г., Залуский как активный противник русского правительства был арестован и сослан в Смоленск, затем в Калугу, где пробыл до 1773 г. В эти годы, так же как и после смерти ее основателя, библиотека управлялась церковным и государственным ведомствами, ее дела постепенно запутывались и приходили в упадок, книги зачастую расхищались и распродавались, библиографическая работа, по-види-

<sup>4</sup> Совершенно так же относился к собственному, очень богатому книжному собранию П. Н. Берков, тем не менее его авторитет у советских библиофилов был чрезвычайно высок (см.: Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. Л., 1969, с. 152—153).

<sup>5</sup> См.: Kograla J. Abriss der Geschichte der Bibliographie in Polen. Leipzig, 1957, S. 35—53.

тому, не велась на должном уровне, что, конечно, противоречило просветительским и патриотическим намерениям Ю.-А. Залуского.<sup>6</sup>

В 1795 г. книжное собрание Залуских было вывезено в Петербург, для того чтобы создать основу будущей Публичной библиотеки. Транспортировка книг была организована плохо, часть их, без сомнения, потерялась в пути. Сохранилось свидетельство об этом немецкого писателя и путешественника И. Г. Зейме, находившегося тогда на русской службе. Как вспоминал потом Зейме, ему случилось быть в рижской таможне, когда туда прибыл первый транспорт с книгами, предназначенными для Петербурга. «Ящики были упакованы примерно так, как пакует табачные листья, — пишет Зейме. — Между Гродно и Белостоком я видел, как следовала в Петербург другая часть библиотеки. Дождевая вода проникала в разбитые ящики через все щели, книги вываливались, и целый воз их опрокинулся в канаву, в которой вся эта премудрость, сваленная в кучу, представляла собой печальную картину».<sup>7</sup>

До Петербурга дошло лишь около 250 тысяч томов, но и они некоторое время продолжали лежать в неразобранном виде в садовом павильоне Аничкова дворца, поскольку здание библиотеки не было выстроено. Да и затем книги разбирались медленно и описывались примитивно. Хищение и распродажа их продолжались и в Петербурге.<sup>8</sup>

Сомнение в том, что книги Лессинга при этих обстоятельствах могли сохраниться, вполне обоснованно. Однако Г. Э. Гурауэр, высказавший это сомнение в печати, не располагал никакими конкретными свидетельствами ни за, ни против своего предположения.<sup>9</sup> Поэтому Н. Г. Чернышевский в одном из примечаний к своему труду о Лессинге предложил продолжить поиски в Петербургской Публичной библиотеке книг, принадлежавших основоположнику новой немецкой литературы.<sup>10</sup>

Поиски библиотеки Лессинга затруднялись также и тем, что его книги не имели экслибриса и, вероятно, могли не пройти «инвентаризации», попав в Варшаву. Если даже такие поиски ранее предпринимались (о чем мне не известно), то приходилось рассчитывать только на счастливый случай — на находку книги

<sup>6</sup> О библиотеке Залуских см.: Имп. Публичная библиотека за сто лет, 1814—1914. Сост. под общей ред. Д. Ф. Кобеко. СПб., 1914, с. 4—16.

<sup>7</sup> J. G. Seumes Sämtliche Werke, hrsg. und mit einem Vorworte begleitet von A. Wagner. Leipzig, 1835, S. 297—298.

<sup>8</sup> См.: Имп. Публичная библиотека за сто лет..., с. 12. — Как видно из сказанного выше, книги Лессинга наряду с другими книгами библиотеки Залуских могли попасть в самые различные места — в города по пути следования из Варшавы в Петербург, в частные книжные собрания русской столицы и т. п.

<sup>9</sup> См.: Danzel T. W. Gotthold Ephraim Lessing..., S. 137.

<sup>10</sup> См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1948, с. 128. — На это примечание впервые указал мне И. З. Серман, один из ближайших сотрудников П. Н. Беркова.

с маргиналиями, принадлежность которых Лессингу удалось бы доказать. Более определенное направление придали бы поискам точные сведения о составе библиотеки, проданной на берлинском аукционе. Такими сведениями мы не располагаем, однако некоторые известия о книгах, которыми пользовался Лессинг, все же имеются.

Начиная с 1751 г. на протяжении почти двух десятков лет Лессинг неоднократно обращался к капитальному «Словарю ученых» К. Г. Йохера (Лейпциг, 1750 — 1751), внося в него дополнения и поправки. Часть поправок была опубликована при его жизни, значительная же часть осталась в виде заметок на полях принадлежавшего ему и сохранившегося экземпляра словаря.<sup>11</sup> Заметки Лессинга к словарю Йохера свидетельствуют о его удивительной эрудированности в разных областях филологии и его обширных библиографических познаниях. Издавший эти заметки Ф. Мункер насчитал свыше сотни использованных Лессингом книжных источников (ряд ссылок остался нерасшифрованным).<sup>12</sup>

Попытка проверить хотя бы некоторые издания из этого списка по экземплярам Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде дала любопытные результаты. Испещренным пометами оказался старинный библиографический труд И. Г. Краузе «Подробная книжная история», на которую сослался Лессинг в замечаниях к статье об историке Мельхиоре Адаме из словаря Йохера.<sup>13</sup>

Графические особенности маргиналий на полях книги Краузе в общем отвечают тем характеристикам, которые присущи пометам Лессинга в словаре (чередование блеклых и ярких чернил, карандашные записи, отчеркивание на полях, скрупулезные исправления ошибок в именах собственных).

Расположение подчеркиваний и немногочисленных замечаний позволяет определить интерес читавшего к нескольким темам: к подробно изложенному в книге спору о подлинности найденной в XV столетии рукописи Квинтиллиана, к библиотечным каталогам австрийских монастырей и, наконец, к польской историографии, в которой читатель или владелец книги разбирался, по-видимому, не хуже, чем ее автор. Знание деталей ученой деятельности поляков можно приписать как Ю.-А. Залускому (который также имел обыкновение оставлять замечания на книгах своей

<sup>11</sup> Словарю Йохера посвящено 25-е письмо из второй части прижизненного издания сочинений Лессинга (1753). Полное издание дополнений Лессинга к словарю см.: G. E. Lessings Sämtliche Schriften, hrsg. von K. Lachmann, 3. aufs neue durchges. und verm. Aufl., besorgt durch Fr. Muncker, Bd. 22, Teil I. Berlin und Leipzig, 1915, S. 198—263.

<sup>12</sup> См.: M u n c k e r Fr. Neue Lessing-Funde. München, 1915.

<sup>13</sup> Umständliche Bücher-Historie, oder Nachrichten und Urtheile von allerhand alten und neuen Schriften genauerer Untersuchung der Bücher-Wissenschaft aus vielen Auctoribus zusammen getragen und ans Licht gestellt von Johann Gottlieb Krausen, der 1. und 2. Theil. Leipzig, 1715—1716, 298 S.; см.: G. E. Lessings Sämtliche Schriften, Bd. 22, Teil I, S. 208.

библиотеки), так и Лессингу, сославшемуся на полях словаря Йохера на печатный каталог редких польских книг библиотеки Залуских.<sup>14</sup> В одном из примечаний Краузе (с. 101) отчеркнуто на поле упоминание труда М. Адама «Vita Germanorum», что ведет нас к маргиналиям Лессинга в словаре Йохера, хотя Лессинг назвал там другую страницу книги Краузе (с. 88).

Несколько латинских и немецких слов, найденных на полях «Подробной книжной истории», можно приписать Лессингу только предположительно из-за отсутствия пространного текста. Во всяком случае почерк автора маргиналий — мелкий, довольно ясный, с несколько округлым начертанием букв — напоминает почерк Лессинга.<sup>15</sup>

Если даже эти сами по себе примечательные пометы на одной из старинных книг ГПБ не принадлежат руке Лессинга, способ поиска его библиотеки с помощью дополнений к словарю Йохера является, по-моему, перспективным.

---

<sup>14</sup> Ср.: Janowski J. D. Nachricht von den in der hochgräflichen Zaluskischen Bibliothek sich befindenden raren polnischen Büchern, 5 Teile. Dresden, 1747—1753; см. также: G. E. Lessings Sämtliche Schriften, Bd. 22, Teil 1, S. 206.

<sup>15</sup> О почерке Лессинга см.: G. E. Lessings Sämtliche Schriften, Bd. 22, Teil 1, S. 199.

Э. ХЕКСЕЛЬШНЕЙДЕР

Х. Ф. Д. ШУБАРТ И РОССИЯ

Учеными СССР и ГДР установлено, что последняя треть XVIII в. явилась важной эпохой немецко-русских литературных взаимоотношений. Опираясь на результаты существующих исследований, можно с полным правом заключить, что век Просвещения был значительным этапом в развитии плодотворного немецко-славянского взаимообмена в области литературы, науки и культуры.<sup>1</sup> Едва ли можно найти значительного немецкого ученого или деятеля искусства той эпохи, который так или иначе не откликнулся бы на происходящие в России события и не следил бы за внешне- и внутривосточным (включая культурное) развитием этой страны.

К ряду немецких просветителей, которые пытались в своих произведениях создать определенный образ России и сделать его доступным для широкой общественности, принадлежит и Христиан Фридрих Даниель Шубарт (1739—1791), демократический публицист и лирик, который своими бесстрашными выступлениями навсего завоевал себе почетное место в немецкой национальной литературе. В имеющихся работах об отношении Шубарта к России исследуется прежде всего его отношение к стихотворениям Д. И. Фонвизина и его суждения о русской музыке и фольклоре;<sup>2</sup> краткую оценку суждений о России в его журнальных выступлениях можно найти у Р. Кегеля.<sup>3</sup> Ниже будет сделана попытка определить точку зрения Шубарта на Россию более детально, чем это делалось до сих пор.

<sup>1</sup> Ziegengeist G. Deutschland als Zentrum der Vermittlung slawischer Literatur in Europa im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert. — Zeitschrift für Slawistik, Bd. XIII, 1968, H. 4, S. 467.

<sup>2</sup> Graßhoff H. Eine deutsche Parallele der Лисица-кознодей (Fonvizin und Schubart). — Zeitschrift für Slawistik, Bd. VII, 1962, H. 2, S. 167—174; Hexelschneider E. Die russische Volksdichtung in Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1967, S. 11 ff.

<sup>3</sup> Kegel R. Die nationalen und sozialen Werte in der Publizistik Christian Friedrich Daniel Schubarts unter besonderer Berücksichtigung seines Lebens und seiner Lebensumstände. Phil. Diss. Greifswald, 1959. S. 69 ff.

Благодаря чему, собственно, пробудился огромный интерес к России в Германии? По нашему мнению, это объясняется прежде всего тремя основными причинами:

1. Во второй половине XVIII в. Россия превратилась в европейскую державу, внешнеполитические успехи которой оказывали сильное влияние на европейское развитие. Это проявилось как во время Семилетней войны, так и в вооруженных столкновениях с Турцией, при трех разделах Польши и в других случаях. Ни одного важного вопроса нельзя было решить без участия русского государства, и потому взоры постоянно обращались к восточным соседям.

2. Россия представлялась страной «неограниченных возможностей», страной, в которой поощрялось развитие науки и культуры и где при соответствующих усилиях можно было занять неплохое положение в условиях большей свободы и независимости от влиятельных лиц.

3. Наконец, многие просветители были одурачены демагогией Екатерины II, которая ввела в заблуждение всю Европу своей игрой в «просвещенную монархиню», особенно благодаря либеральному на словах «Наказу». Екатерина II представлялась идеалом просвещенной правительницы, однако этот идеал (как будет показано ниже в отношении Шубарта) одновременно предлагался как образец для собственных князей и правителей. Хотя восстание Пугачева, привлекавшее в Германии большое внимание,<sup>4</sup> несколько затемнило этот образ Екатерины, подлинное историческое значение Пугачева оставалось непонятым.

Эти причины явно обуславливают и обращение Шубарта к России. В отличие от таких просветителей, как А. Л. Шлёцер, Г. Форстер и Й. Г. Зейме, Шубарт, ни разу за всю жизнь не покидавший Южной Германии, не располагал личными впечатлениями о России. Как он упоминает в 1774 г., у него были «очень красивые виды Петербурга и Вены»,<sup>5</sup> но пока не найдено никаких подтверждающих это архивных документов. Факты для своей обширной корреспонденции о событиях в России он черпал, по-видимому, из письменных свидетельств других лиц, так как о встречах Шубарта с русскими ничего не известно.

Тщательный просмотр журналов, которые он издавал в 1774—1777 и 1787—1790 гг. (после десятилетнего заключения в крепости), показывает, однако, что Шубарт очень хорошо ориентировался в доступной ему современной литературе о России. Так, он знал статью Я. Штелина о русской музыке и «Заметки о России» Й. Й. Беллерманна (1788), ссылаясь на опубликован-

<sup>4</sup> См.: Hoffmann P., Schützl er H. Der Pugačev-Aufstand in zeitgenössischen deutschen Berichten. — In: Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas. Berlin, 1962, Bd. VI, S. 337 ffg.

<sup>5</sup> C. F. D. Schubart's, des Patrioten, gesammelte Schriften und Schicksale. Stuttgart, 1839, Bd. I, S. 208.

ные в немецких журналах статьи о русском военном деле, о русском национальном характере и о Суворове. Ему были также известны беллетристические произведения Екатерины II. Он внимательно следил за переводом на русский язык произведений высоко почитаемого им Ф. Г. Клопштока. Так, 22 мая 1789 г. он отмечает в «Отечественной хронике» («Vaterlandschronik») точное русское заглавие «Мессиады», переведенной А. М. Кутузовым и появившейся в 1785—1787 гг. Но основным его источником являются газеты, из которых он получает сведения о внутри- и внешнеполитической деятельности России. В его корреспонденции в связи с этим часто вкрадываются ошибки, — и в литературе уже давно установлено, что «Немецкая хроника» («Deutsche Chronik») Шубарта не является достоверным источником для исторического исследования. Вместе с тем в качестве документа времени, в котором события расценивались с «патриотической точки зрения» («von der Warte patriotischen Denkens her»), она незаменима.<sup>6</sup> Информация о России, неизбежно поступающая с опозданием, в концепции Шубарта упорядочивалась и получала определенную оценку. Так, его корреспонденции о русско-турецкой войне или об угрозе столкновений между европейскими державами литературно обработаны, в них использованы такие средства, как сценический диалог, видение, информация с комментарием и т. д.

Показательны в этом отношении его стихи на русские темы, которые он писал по поводу военных успехов русской армии. В 1774 г. он опубликовал сочиненную уже в 1769 или 1770 г. песнь («Schlachtgesang eines Russischen Grenadiers nach der Schlacht bei Chozim») на взятие крепости Хотин,<sup>7</sup> которую он, возможно, исполнял также в качестве «русской военной песни» на званом вечере.<sup>8</sup> Повод написать стихи на аналогичную тему представился Шубарту только в 1789 г., когда он опубликовал стихотворение «Otschakof (ein Russisches Siegeslied)».<sup>9</sup> Если в Хотинской песни он пытался воспроизвести наивную гордость победой простого солдата, которому еще раз довелось пережить битву с турками, то стихотворение на взятие Очакова в 1788 г., изображающее народное ликование по поводу победы, представляет собой патетически-приподнятое поэтическое обобщение всех ранее сообщавшихся известий (частично с теми же самыми выражениями). По другим поводам Шубарт также пишет стихи на русские темы: например панегирик Потемкину<sup>10</sup> или наиболее показательные для этого вида поэзии стихи о Суворове, ко-

<sup>6</sup> Sturm und Drang. Erläuterungen zur deutschen Literatur. Berlin, 1961, S. 428.

<sup>7</sup> Deutsche Chronik. Augsburg, 1774, S. 57—60.

<sup>8</sup> C. F. D. Schubart's, des Patrioten, gesammelte Schriften und Schicksale. Bd. I, S. 151.

<sup>9</sup> Vaterlandschronik. Stuttgart, 1789, S. 40.

<sup>10</sup> Ibid., S. 767.

торые нужно привести здесь как образец шубартовской «русской национальной песни»:

Auch Suwarow lebe,  
Das taupfere Herz!  
Es leben die Reussen!  
Die Männer von Eisen!  
Die Hügel von Erz!<sup>11</sup>

Представления Шубарта о России определялись в основном успехами русской армии. Поэтому в его «Хронике» преобладают сообщения о русской внешней политике. Из внутривосточных событий он дает информацию преимущественно о Пугачевском восстании, которое — как всякое движение за освобождение народа — его особенно волновало. Пугачев для Шубарта — «мужественный мятежник» («mutiger Rebelle») («Немецкая хроника» от 10 ноября 1774 г.), гений с безошибочным чувством воинского порядка и дисциплины, которому он не отказывает в глубоком уважении. Шубарт был глубоко потрясен казнью Пугачева, как видно из ее описания в «Немецкой хронике» от 2 марта 1775 г., резко контрастирующего с описанием заключительного триумфального шествия Румянцева. Однако сравнение с очень популярными в XVIII в. ворами Картушем и Кезебиром (Käsebier) обесценивает эти суждения и показывает, что Шубарт — подобно Зейме и другим современникам — не понял истинного характера Пугачевского восстания. Это связано, несомненно, не только с недостаточным поступлением информации. Свою ненависть ко всякому, в том числе и русскому, крепостному праву он выразил, например, в корреспонденции от 6 августа 1790 г.: «До каких же пор людей будут продавать и дарить, как скот?». <sup>12</sup> Бичевал он также методы подавления царизмом любого народного движения, когда в народе разгоралось «пламя восстания» и царь усердно применял обычное русское «домашнее средство» — «деспотический кнут». <sup>13</sup> Несмотря на эти радикальные высказывания, которые ставят Шубарта рядом с Зейме и Г. Меркелем, он, по-видимому, считал все же, что Россия останется незыблемой «под ударами революции, мятежей и бунтов». На отношении Шубарта к Пугачеву наслаивалось его представление о России как о европейской великой державе, «деятельнейшем государстве на божьей земле». <sup>14</sup>

<sup>11</sup>

Да здравствует Суворов,  
Неустршимое сердце!  
Да здравствуют Россы!  
Люди из железа!  
Холмы из бронзы!

Ibid., S. 561—562 («Foksan, ein Oestreichisches Siegeslied»). О несостоявшемся собрании «русских национальных песен» см.: H e x e l s c h n e i d e r E. Die russische Volksdichtung. . ., S. 12.

<sup>12</sup> Vaterlandschronic, 1790, S. 536.

<sup>13</sup> Ibid., S. 450.

<sup>14</sup> Ibid., 1789, S. 121.



Он снова и снова перечисляет, находясь под сильным впечатлением русских побед над турками и шведами и успехов русской дипломатии, факторы, которые, по его мнению, делают Россию непобедимой. На первое место он ставит неустрашимость солдат, которых он часто называет «железными русскими», «первыми и активнейшими воинами в мире в настоящее время». <sup>15</sup> Он восхваляет их неприхотливость, хотя и понимает, что она связана с их бедностью. Он очень хвалит русских военачальников, прежде всего Потемкина, Румянцева и Суворова. Правда, Шубарт переоценивает значение Потемкина и недооценивает Румянцева. Однако при характеристике Потемкина у него звучат и критические ноты, когда, имея в виду его дорогостоящий двор и его властолюбие, Шубарт называет его «восточным деспотом». Суворов, этот «старый железный воин», <sup>16</sup> неоднократно удостоивается очень теплой оценки, причем говорится о его популярности у простых солдат. В оценке русских солдат и их военачальников имеются значительные совпадения с оценками Зейме. <sup>17</sup>

Другими важными факторами непобедимости России Шубарт считает географическое положение и большое количество населения, а также величину страны, но в связи с этим он задает вопрос, далеко ли пойдет экспансионистский натиск царистской системы. Особенно в 1790 г. Шубарт укрепляется во мнении, что царизм стремится к господству в Европе. Растущая сила России начинает его пугать, но одновременно он проникнут страстным желанием мира: он устал от непрекращающейся борьбы государств за власть.

Поэтому он возлагает все надежды на Екатерину II, которая в его представлении — совершенно в духе просветителей — предстает в самом лучшем свете: «Она является светлейшим солнцем на политическом Олимпе». <sup>18</sup> У него проскальзывает также и критический отзыв о ее политике, который, однако, смягчается к концу фразы: «Она с неограниченным деспотизмом властвует над миллионами подданных, не для того, чтобы их угнетать, а чтобы делать их человечнее и мягче». <sup>19</sup> Шубарт идеализировал русскую царицу, как идеализировал прусского короля Фридриха II, чтобы противопоставить их вюртембергской действительности, жестокому князю своей страны, который десять лет продержал его в заключении.

У. Вертхайм и Х. Бем с полным основанием пишут: «Портреты „хороших князей“ являются у Шубарта и как идеал, и как требование». <sup>20</sup>

<sup>15</sup> Ibid., S. 149.

<sup>16</sup> Ibid., S. 806.

<sup>17</sup> Ср.: Störel H. Johann Gottfried Seume und Rußland, Phil. Diss. Leipzig, 1971, S. 110 ffg.

<sup>18</sup> Vaterlandschronik. 1789, S. 696.

<sup>19</sup> Ibid., 1790, S. 862.

<sup>20</sup> Schubarts Werke in einem Band. Herausgeber: V. Wertheim und H. Böhm. Weimar, 1959, S. [15].

Подводя итоги, можно заключить: представление Шубарта о России взято из вторых рук. Его публицистика, очень популярная в широких читательских кругах, служила распространению познаний о России, особенно подчеркивая историческое величие России и неустрашимость ее солдат. Несмотря на иллюзии в оценке политики Екатерины II (которые, кроме всего прочего, объясняются совершенно недостаточным знанием ее внутривластной практики), Шубарт не отказывается от критических замечаний о крепостном праве и деспотическом произволе царицы и ее сатрапов. Таким образом, и в своих замечаниях о России поэт и публицист остается верен своему свободолюбию и своей борьбе против произвола правителей. Поэтому в еще не написанной истории немецко-русских взаимоотношений Шубарту следует отвести почетное место.

*(Перевод Н. И. Серман)*

Г. В Ы Т Ж Е Н С

**НЕМЕЦКИЕ ПЕРЕВОДЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА**

(По фондам венских публичных книгохранилищ)

Уже в течение XVIII в., главным образом в последнюю его четверть, целый ряд произведений русской литературы был переведен на немецкий язык. Эти ранние переводы публиковались в Петербурге и Риге, т. е. на территории Российской империи, но некоторые из них вышли и в Германии: в Берлине, Вене, Аугсбурге и Бреслау. Изучены они, однако, мало, библиографически зафиксированы весьма неудовлетворительно. Статья известных немецких русистов Эриха Беме и Артура Лютера перечисляет далеко не все, относящееся к данной области.<sup>1</sup> Так, например, недавно Э. Хексельшнейдером и мною был найден вышедший в Вене в 1787 г. первый немецкий перевод «Недоросля».<sup>2</sup>

В нашей статье, посвященной памяти крупнейшего знатока русской литературы XVIII в. и ее международных связей, ученого, который вместе с тем был и образцовым библиографом, мы хотели бы остановиться на некоторых малоизвестных или совсем неизвестных переводах из русской литературы XVIII в. Особый интерес для истории немецко-русских литературных взаимосвязей представляют предисловия и посвящения, сопровождающие иногда эти издания.

Не касаясь известного первого перевода сатир Кантемира, сделанного не с русского подлинника, а с французского пере-

<sup>1</sup> Boehme E., Luther A. Frühe deutsche Übersetzungen aus dem Russischen. — Philobiblon, Jg. VI, 1933, H. 8, S. 277—286; H. 9, S. 349—363. — Из этого крайне редкого журнала данная статья была перепечатана в журнале «Neue Gesellschaft» (I, 1948, H. 3, 5/6). Статья А. Лютера в парижском «Временнике Общества друзей русской книги», касающаяся, по-видимому, нашей проблемы, мне была недоступна.

<sup>2</sup> См.: Хексельшнейдер Э. О первом немецком переводе «Недоросля» Фонвизина. — В кн.: XVIII век. Сб. 4. М.—Л., 1959, с. 334—338; Wytrzens G. Eine unbekannte Wiener Fonwisin Übersetzung aus dem Jahre 1787. — Wiener slavistisches Jahrbuch, Bd. 7, 1959, S. 118—128.

вода, остановимся на ранних переводах Сумарокова. О трагедии «Семира» имеется коротенькая заметка в статье Беме—Лютера. В венских библиотеках это редкое издание представлено дважды: оно входит в собрание пьес 1762 г.<sup>3</sup> и в 298-й том условно так называемой «Theaterbibliothek Schikaneder».

В журнале Готшпеда «Новости изящных наук»<sup>4</sup> мы находим перевод оды Сумарокова, сделанный Остервальдом.<sup>5</sup>

Дитрих-Тимофей Остервальд,<sup>6</sup> который после 1760 г. стал воспитателем и преподавателем будущего царя Павла I и дослужился до чина сенатора и тайного советника, известен историкам русского театра как член труппы кадетов, которая под руководством Сумарокова играла при дворе.<sup>7</sup> Более чем правдоподобно, что Остервальд был одним из участников премьеры (21 декабря 1751 г.) переведенной им через десять лет «Семиры». Тогда окажется, что ранние переводы из Сумарокова сделаны человеком, хорошо знакомым с автором. Остервальд владел немецким стихом неплохо. По крайней мере в «Семире» он стремился сохранить размер и рифмовку подлинника.

В библиотеке Венского университета удалось обнаружить еще один перевод произведения Сумарокова, вышедший отдельным изданием. В 1772 г. в Риге появилась книга «Der erste und wichtigste Aufstand der Strelitzen in Moskau, im Jahre 1682 im Maymonate. Aus dem Russischen des wirklichen Etats-Raths und Ritters, Hrn. Alexander Sumarokows übersetzt von Ai., bey Johann Friedrich Hartknoch». Это перевод вышедшей четырьмя годами ранее книги «Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 году в месяце майи». Кто скрывается под криптонимом Ai, не удалось установить.

Рижское издательство Харткнох сыграло в истории немецкой культуры очень значительную роль, ведь в 1781 г. именно там была опубликована одна из самых замечательных книг немецкой литературы «Критика чистого разума» Канта. Харткнох же издавал книги И. Г. Гердера и И. Г. Гамана. Отметим, что к русским авторам, издаваемым Харткнохом, принадлежали еще Ломоносов и Карамзин. Уже в 1768 г. в Риге вышла «Древняя российская история» («Alte russische Geschichte von dem Ursprunge der Russischen Nation bis auf den Tod des Grossfürsten Jaroslaws der Ersten»), вслед за ней в 1771 г. Харткнох выпустил «Краткий летописец» («Kurzgefasstes Jahrbuch der russischen Regenten.

<sup>3</sup> Schauspiele. Breslau, 1762, 86 S.

<sup>4</sup> Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit, 1757, № 12, S. 946—951.

<sup>5</sup> Об этом стихотворении Сумарокова, не опубликованном на русском языке, и о русских материалах в журнале Готшпеда см.: Гукковский Г. А. Русская литература в немецком журнале XVIII века. — В кн.: XVIII век. Сб. 3. М.—Л., 1958, с. 400—403.

<sup>6</sup> О нем см.: Русский биографический словарь. Обезьянинов—Очкин. СПб., 1905, с. 404. — Его переводы здесь не упомянуты.

<sup>7</sup> См.: Ф. Г. Волков и русский театр его времени. Сборник материалов. М., 1953, с. 81. — Дитрих Остервальд тогда был еще капралом.

Neue verbesserte Auflage»)<sup>8</sup> Одной из первых книг, которые Харткнох издал после перенесения своего предприятия в Лейпциг, был известный перевод «Писем русского путешественника» (6 частей, 1799—1802).

Вернемся, однако, к «Стрелецкому бунту» Сумарокова. Чем можно объяснить публикацию немецкого перевода? По-видимому, тем, что Петр I и события, так или иначе связанные с его правлением, вызывали в Германии исключительный интерес. Существует, например, целый ряд немецких литературных произведений XVIII в. с «петровской» тематикой.<sup>9</sup>

Неудивительно, что и сочинений Екатерины II переводилось и публиковалось довольно много. Немецкие переводы своих сочинений заказывала сама императрица, они сначала печатались в Петербурге, а потом — в Германии. Ревностным приверженцем августейшей писательницы был берлинский издатель и писатель Фридрих Николаи. Критически настроенный против всякого рода иррационализма, идей «бури и натиска»,<sup>10</sup> пиетизма, сентиментализма, мистицизма, суеверий, преклонения перед народными преданиями, Николаи, конечно, одобрял сочинения Екатерины, направленные против «мечтаний» и «суеверий» (*Schwärmerei*<sup>11</sup> und *Aberglaube*), и прежде всего комедии императрицы: «Обманщик», «Оболенный» и «Шаман сибирский». Все они вышли в его переводе в 1788 г. под общим заглавием «Три комедии против мечтаний и суеверий», с довольно пространном предисловием от издателя (16 с.). В своем предисловии Николаи сначала выражает надежду, что его германские сограждане, любящие здравый разум и просвещение, оценят по достоинству новое издание трех столь достопримечательных комедий. Потом он упоминает о своем издании «Библиотеки великих князей» (см. ниже), «благородного памятника больших талантов и материнской нежности». Николаи думает, что и эти новые плоды ума «величайшей из немецких женщин», «первой в ее роде», должны стать известными повсюду в Германии. Николаи восторгается тем, что Екатерина написала свои пьесы с явным намерением высмеять мечтания и суеверия. Он приводит довольно обширную выдержку из вышедшей в Петербурге непосредственно перед премьерой «Обманщика» статьи. Сатира на спиритизм, месме-

<sup>8</sup> Беме—Лютер сообщают лишь о первом издании ломоносовского «Летописца» в Копенгагене в 1765 г.

<sup>9</sup> Они вместе с французскими и другими перечислены в книге: Frenzel Elisabeth. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart, 1962, S. 511—514.

<sup>10</sup> См., например, роман Николаи «Радости молодого Вертера» («Freuden des jungen Werthers», Freystadt, 1775), представляющий собой пародию на известный роман Гете. О Николаи см.: Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962, с. 166—184.

<sup>11</sup> Немецкое «Schwärmerei» трудно поддается переводу. В слове «мечтания» отсутствует оттенок одержимости и фанатизма, присущий немецкому слову.

ризм, алхимию и т. д. в данной статье объявляется «необходимым лекарством».

Все три комедии выходили в немецком переводе уже раньше: «Обманщик» и «Обольщенный» в Петербурге (1786), «Шаман» у самого Николаи (1788).

Особенно большой популярностью у немецких издателей пользовалась комедия Екатерины II «Расстроенная семья остророжками и подозрениями» (1788). Уже год спустя у Николаи появился перевод «Der Familienzweist durch falsche Warnung und Argwohn». Это берлинское издание вошло в две так называемые «Театральные библиотеки». Такие серии, включающие остатки отдельных изданий, оригинальных тиражей или перепечатки пользующихся успехом пьес (от таких «хищнических изданий» — Raubdrucke — страдали, в частности, и Гете и Шиллер), тогда были очень распространены. «Расстроенная семья» вошла в «Немецкий театр»<sup>12</sup> и в «Аугсбургский театр».<sup>13</sup>

У Беме—Лютера отмечены все упомянутые нами переводы сочинений Екатерины II, хотя не во всех их изданиях. Не зарегистрировано ими, однако, самое объемистое немецкое издание сочинений императрицы, возникшее при личном содействии автора и получившее от нее даже заглавие — «Библиотека великих князей Александра и Константина».<sup>14</sup> Томики этой серии, изданные Николаи, снабжены заглавными картинками-гравюрами известного художника Даниела Ходовецкого (Chodowiecki). Сначала вышел лишь первый том с отдельным заглавием «Разговоры и рассказы» («Erzählungen und Gespräche»). Он открывается витиеватым предисловием, льстящим «высочайшей женщине этого времени»: «Она показывает свой великий дух во всем, в достойных удивления мероприятиях для блага ее неизмеримой державы, а также в маленьких набросках для блага ее любимейших внуков».

В конце своего предисловия Николаи сообщает, что перевод сделан очень точно, «но ему, должно быть, не хватает приятности оригинала, потому что каждый язык обнаруживает своеобразие именно в таких сочинениях, которые написаны простым стилем ежедневного обихода».

В первом томе помещена «Сказка о царевиче Хлоре» и 103 коротеньких — иногда даже в две строчки — прозаических этюда. Кроме сказок и назидательных рассказов в этих главках имеются сообщения по истории, географии, языковедению и т. д.

Второй том вышел с новым предисловием Николаи. Издатель говорит о том, что для первой книжки он получил отдельные части перевода из России и что он желал, «чтоб и в Германии

<sup>12</sup> Deutsche Schaubühne, Jg. I, Bd. 5, 1789, S. 313—416.

<sup>13</sup> Augspurger Theater, Jg. IX, Bd. 4, 1789, S. 313—416.

<sup>14</sup> Bibliothek der Grossfürsten Alexander und Konstantin von Katharina, Bd. I—IX. Berlin, 1783—1788.

удивлялись благородной простоте и прелести, с которой написаны эти статьи». «Высочайший автор оказал свое всемилостивейшее удовольствие изданием и соизволил прислать мне в рукописи перевод всего сочинения». Николай заявляет дальше об особой ценности этой рукописи для него: она снабжена собственноручной надписью императрицы.

Во втором томе «Библиотеки» помещены следующие сочинения: 1) «Гражданское начальное учение»; 2) «Записки касательно российской истории»; 3) «Выборные российские пословицы»; 4) «Сказка о царевиче Февее».

Следующие тома «Библиотеки» (насколько я могу судить по доступным мне первым пяти томам) целиком отведены для «Записок касательно российской истории» («Aufsätze betreffend die russische Geschichte»).

\* \* \*

Отдельной книжкой вышли переводы некоторых стихотворений Г. Р. Державина в Лейпциге в 1793 г. Переводчиком их был не кто иной, как Аугуст фон Коцебу, автор пьес, в то время имевших шумный успех (например, «Ненависть к людям и раскаяние»).

Характерно указание в заглавии, что Державин — «статский советник». Подпись под титульной гравюрой (по рисунку Боровиковского) гласит: «Гаврил Державин. Государственный муж, Поэт и Человек». В переводах Сумарокова тоже были перечислены все его чины, вместе с тем указано и то, что он состоял членом «Общества свободных искусств» в Лейпциге.

Коцебу предпослал своему переводу одиннадцати стихотворений Державина стихотворное же послание-посвящение собственного сочинения «К любезным княжнам Баденским». Оно насквозь благонамеренно и начинается с выпадов против мятежной Польши: «Близко границ Ваших Цветет злое, ядовитое растение. Имя ему междоусобие и мятеж».

В третьей строфе говорится, что песни Державина «возникли, Где героиня на престоле, Наша мать, ваша мать, Каждую снегом покрытую ель Превращает в лавровое дерево». По мнению Коцебу, каждый русский думает так же.

В предисловии («Vorbericht») Коцебу заявляет, что он думает сделать подарок публике своими переводами, потому что немцы не знакомы с русской литературой. Державина он величает «русским Клопштоком» и потому считает, что его сочинения трудны для восприятия иностранца. Переводчик полагает, что он в состоянии доказать немцам, каких успехов в поэзии достигли русские. Он при этом сознается, однако, что рифмованный перевод «Изображения Фелицы» ему не совсем удался и что он поэтому перевел все остальное белыми разноstopными стихами, «не потеряв ни одной мысли поэта». В последних строках своего предисловия Коцебу сообщает, что русская муза близка к «восточ-

ному стилю» и что некоторые вещи, «которые могут показаться кому-нибудь лестью, представляют собой выражение чувств каждого русского».

Неудивительно, что усердный Коцебу переводил прежде всего стихотворения, прославлявшие Екатерину («Фелица», «Изображение Фелицы», «Благодарность Фелице», «Видение Мурзы»). Не пропущены, конечно, и хрестоматийные оды Державина «Бог» и «На смерть князя Мещерского». Полнозвучно грозную первую строфу последней оды Коцебу передал так:

Zeiten-Ruf! Glockengetöne!  
Mich schreckt Deine furchtbare Stimme,  
Mich ruft Dein trauriges Stöhnen,  
Und rücket mich näher dem Grabe.  
Kaum hab' ich das Weltlicht erblicket,  
Schon knirschet der Tod mit den Zähnen,  
Es blinkt wie der Blitz seine Sense,  
Und mäht meine Tage wie Gras.

Наибольшей популярностью среди немецких переводчиков пользовалась ода «Бог». Эберхард Рейсснер, который исследовал переводы из русской литературы за 1800—1848 гг.,<sup>15</sup> зарегистрировал не менее 6 переложений этой оды. От его внимания ускользнуло, однако, одно австрийское издание — факт, которым мы хотели бы закончить свои заметки. Державинский «Бог» вышел еще в 1846 г. отдельным изданием на трех языках во Львове. Польский перевод Игнатия Шидловского издателями был взят из «Виленского ежедневника» («Dziennik Wileński»), немецкий перевод представил Алоис Уль (или Уле),<sup>16</sup> служивший тогда директором «школ реальных» в столице Галиции.

Наши заметки касаются забытых или малоизвестных немецких переводов русских писателей XVIII в. Мы не ставили перед собой задачи дать общую характеристику интереса к русской литературе в немецкоязычных странах. Но и тот материал, который мы привели, показывает, что Екатерина II стремилась создать на Западе представление о своей главенствующей роли в русской литературе, а некоторые немецкие литераторы ей в этом деятельно помогали.

<sup>15</sup> Reißner E. Deutschland und die russische Literatur 1800—1848. Berlin, 1970.

<sup>16</sup> Свой текст Уле напечатал уже в 1830 году (см.: Reißner E. Deutschland und die russische Literatur 1800—1848, S. 352).



А. Г. КРОСС

**«ЗАМЕЧАНИЯ» СЭРА ДЖОНА СИНКЛЕРА О РОССИИ**

Свой обзор работ по англо-русским культурным связям незабвенный П. Н. Берков заключал следующими словами: «Как ни полезны книги, подобные трудам Э. Д. Симмонса и М. П. Алексеева, они не исчерпывают существующих материалов; напротив, они стимулируют дальнейшие разыскания, толкают на более специальные и подробные разведки только слегка тронутых источников, направляют внимание исследователей на недостаточно освещенные или вовсе неизвестные эпизоды в истории англо-русских культурных связей».<sup>1</sup> Одному из таких эпизодов и посвящена настоящая статья.

В 1787 г. в Лондоне вышла в свет тонкая книжечка «Общие замечания относительно настоящего положения в Российской империи» («General Observations regarding the Present State of the Russian Empire»), предназначенная для узкого круга заинтересованных лиц. Поэтому она не была замечена современной прессой и соответственно привлекла мало внимания. Анонимность автора, сравнительно малое число страниц и характер заглавия — все это побуждало относить книгу к числу политических памфлетов, посвященных различным аспектам англо-русской дипломатии и политической стратегии, каких появлялось особенно много в 1790—1800 гг. В наше время профессор Дитрих Герхард приписал ее Уильяму Итону (Eton), который был датским консулом в Басре, а в 1790-х годах — коммерческим советником британского посольства в Петербурге.<sup>2</sup> Однако истинного автора, сэра Джона Синклера (Sinclair, 1754—1835), установил

<sup>1</sup> Берков П. Н. Томас Консетт, капеллан английской фактории в России. — В кн.: Проблемы международных литературных связей. Л., 1962, с. 4.

<sup>2</sup> Gerhard Dietrich. England und der Aufstieg Russlands. München, 1933, S. 361, Anm. 262. — Итону принадлежат: «Survey of the Turkish Empire» (London, 1798), «Concise Account of the Commerce and Navigation of the Black Sea» (London, 1805) и «A letter to the Earl of D... on the Political Relations of Russia in regard to Turkey, Greece, and France» (London, 1807).

только в 1958 г. М. С. Андерсон, который обратил внимание на то, что многие аргументы и даже фразы, встречающиеся в книге, можно найти в опубликованных письмах Синклера.<sup>3</sup> Хотя эта атрибуция еще не нашла отражения в библиотечных каталогах, в частности в каталоге Британского музея, она принята в недавно опубликованных специальных библиографических работах.<sup>4</sup> Включение этой книги в библиографию Нерхуда, посвященную путешествиям в Россию, вполне оправданно, ибо, хотя Синклера интересуют в первую очередь личности и политические проблемы, а не достопримечательности и путевые впечатления, обычные для туристских заметок, его сочинение основано на личных наблюдениях, сделанных в России.

Интерес Синклера к России и роднит его с такими его предшественниками, как Уильям Кокс или Джозеф Маршалл, однако его поездка носила совершенно иной характер: это был кратковременный визит активного политического деятеля для получения необходимых сведений. В 1780 г. Синклер стал членом парламента и с энтузиазмом посвятил себя политической карьере. В 1786 г. он составил план посещения северных европейских столиц, использовав для этого семимесячный перерыв в работе парламента между июнем 1786 г. и январем 1787 г. Он оставил Лондон 29 мая, прибыл на корабле в Готтенбург, оттуда — в Копенгаген и Стокгольм, а затем в Ригу 1 августа. С 8 августа он жил месяц в Петербурге, затем провел несколько дней в Москве и отправился на юг, в Киев, куда прибыл 23 сентября. К 1 октября он был уже в Польше, а 16 января 1787 г. через Берлин, Амстердам, Брюссель и Париж вернулся в Лондон.

По возвращении Синклер заказал лондонскому граверу Нилу карту северной Европы, показывающую его маршрут и места остановок. Он снабдил ее следующим пояснением: «Путешествие охватывает 7500 английских миль, или 33 мили в день. Время, в которое оно проделано, может показаться коротким, однако при большом старании и настойчивости несомненно даже за семь или восемь месяцев можно увидеть наиболее замечательные предметы и людей, выдающихся своей властью, красотой или талантами, в наибольшей и (как справедливо полагают) самой интересной части Европы». Карту он разослал своим знакомым. Впоследствии она стала более доступной, когда Синклер включил ее в свой «Доклад о происхождении Британского

<sup>3</sup> См.: Anderson M. S. *Britain's Discovery of Russia 1553—1815*. London, 1958, p. 151.

<sup>4</sup> См.: Crowther Peter A. *A Bibliography of Works in English on Early Russian History to 1800*. Oxford, 1969, p. 194; Nerhood Harry W. *To Russia and Return: An Annotated Bibliography of Travelers' English-Language Accounts of Russia from the Ninth Century to the Present*. Ohio State University Press, 1968, p. 34. — Оба библиографа неверно указывают год путешествия Синклера: Краузер — 1785-й, Нерхуд — 1787-й, и оба, видимо, не осведомлены о последующих его произведениях.

земледельческого Общества» (1796) и позднее — в издание своей переписки.<sup>5</sup> Биограф Синклера также отмечает, что после возвращения «Синклер записал многие из своих впечатлений и напечатал получившиеся заметки частным образом, для распространения в политических кругах <...> Позднее он резюмировал мнения, добавив некоторые последующие мысли и впечатления к своей опубликованной переписке».<sup>6</sup>

Синклер отправился в путешествие, «вооруженный более чем сотней рекомендательных писем»,<sup>7</sup> и был, разумеется, хорошо принят в России Екатериной, Г. А. Потемкиным, А. И. Морковым и другими политическими деятелями. Яркое изображение приема находится в неопубликованном письме княгини Дашковой к известному историку Уильяму Робертсону, датированном 6/17 августа 1786 г.: «Я имела удовольствие получить ваше письмо через сэра Джона Синклера и очень рада познакомиться с джентльменом, столь вами отличаемым, — можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы убедить его, как высоко я ставлю вашу рекомендацию. Он обедал у меня несколько дней назад, и я отвечала, насколько могла, на его тактичные вопросы. Он соответствует представлению, которое я о нем составила по вашим письмам; поэтому мне самой будет приятно помочь ему, чем смогу».<sup>8</sup>

По-видимому, сознавая остроту контраста между резкими характеристиками в «Общих замечаниях» его русских знакомых и сердечностью их приема и помощью, которую они ему оказывали во время его пребывания в России, Синклер позаботился о том, чтобы они получили только его карту, но не «Общие замечания».<sup>9</sup> Когда он со временем включил значительную часть этого материала в свою «Переписку», большинство затронутых

<sup>5</sup> Sinclair Sir John. Account of the Origin of the Board of Agriculture and its Progress for three years after its Establishment. London, 1796; The Correspondence of the Right Honourable Sir John Sinclair, Bart. With Reminiscences of the Most Distinguished Characters who Have Appeared in Great Britain and in Foreign Countries, During the Last Fifty Years, v. I. London, 1831.

<sup>6</sup> Mitchison R. Agricultural Sir John: The Life of Sir John Sinclair of Ulbster 1754—1835. London, 1962, p. 57. — Любопытно, что автор нигде не упоминает «Общие замечания» Синклера, относящиеся только к России, хотя общие суждения Митчисон вполне приложимы к этой книге и ее последующему переизданию 1831 г.

<sup>7</sup> Mitchison R. Agricultural Sir John..., p. 55.

<sup>8</sup> «I have had pleasure of Receiving your Letter by Sir John Sinclair, and am very glad to make the Acquaintance of a Gentleman so highly esteemed by one of y<sup>r</sup> discernment — you may rest satisfied that I shall do my utmost to Convince him, how much I prize your Recommendation — I had him to dine with me a few days ago, and have given him what Information I could to his well-judged queries. He has answered the Expectations I must have of him from y<sup>r</sup> Letters; so that I shall do myself the pleasure to be of what service I can to him». — National Library of Scotland, Ms. 3942, f. 265.

<sup>9</sup> The Correspondence..., v. I, p. 211; v. II, p. 282.

лиц уже давно умерли, а кроме того, он сделал множество поправок и многое вычеркнул. Знаменательно также, что, прилагая во введении к «Переписке» длинный список своих «литературных трудов», он ни единым словом не упоминает об «Общих замечаниях».<sup>10</sup>

«Общие замечания» делятся на десять разделов: 1) характер и нравы русских; 2) правительство России; 3) ее политическое положение и обстоятельства; 4) система, которой она следует, и ее виды на дальнейшее расширение; 5) ее последние приобретения: Крым и Кубань; 6) ее присоединение к вооруженному нейтралитету; 7) императорская фамилия; 8) основные деятели; 9) иностранные послы при петербургском дворе; 10) поведение, которого должна придерживаться Великобритания в отношении России; а также некоторые заключительные наблюдения относительно преимуществ и невыгод политического положения этой империи.

Синклер явно намеревался дать политическую оценку могущественной страны и ее народа и рекомендовать Питту, возглавлявшему правительство Великобритании, программу будущей политики и стратегии. Его книга отличается от аналогичных политических памфлетов авторитетностью суждений, исходящих не только от члена парламента, но и от человека, который встречался и беседовал с главными русскими политическими деятелями. Синклер вынес весьма неблагоприятные впечатления. Он осуждает тиранию дворян по отношению к крепостным, чрезмерную роскошь городов, всеобщую распущенность во время долгих зим. Он считает, что «нельзя представить себе ничего более деспотичного, чем форма правления в России»,<sup>11</sup> называя Екатерину «героем в юбке» (с. 22), подчеркивает, что «в настоящее время она непомерно раздулась после успехов своего правления», и намекает, что она «весьма ревниво относится к сыну» (с. 24). Павел получает слишком высокую оценку благодаря приему, который он оказал Синклеру. Английский путешественник ожидает от его восшествия на престол «блага для России»: «Великий князь менее, чем императрица, предается внешнеполитическим честолюбивым планам и больше склонен способствовать внутреннему процветанию империи» (с. 28). С главными политическими деятелями Синклер обходится весьма сурово. Потемкин «в целом, при больших дарованиях, никчемная и опасная фигура» (с. 32), граф И. А. Остерман — «заурядный, скучный, официальный, но честный человек» (с. 33), граф А. А. Безбородко — «человек способный, но удивительно распущенный» (с. 33), граф А. И. Морков «может преуспеть при дворе, где раболепие и хитрость, ловкость и беспринципность — необходимые требования»

<sup>10</sup> Ibid., v. I, p. XXVIII—XXXII.

<sup>11</sup> General Observations regarding the Present State of the Russian Empire. London. 1787, p. 6 (далее ссылки на это издание даются в тексте).

(с. 33), а граф А. Р. Воронцов — «работящий, самодовольный, слабый человек, вызывающий, однако, восхищение в России, где столь немногие из высокопоставленных людей способны читать или чем-то заниматься, а из этих немногих едва ли один преследует своими занятиями какую-нибудь практическую цель» (с. 34). О Дашковой говорится сдержанно, хотя и не без очевидной симпатии; Орловы более описываются, чем оцениваются, и только граф П. А. Румянцев-Задунайский настойчиво восхваляется, особенно как «убежденный сторонник тесных контактов между Англией и Россией, равно полезный обеим странам» (с. 37).

Синклер подозрительно относится к возможному в будущем территориальному расширению России. Тем не менее он высказывается в пользу более тесных торговых связей между Россией и Англией и говорит о необходимости нового соглашения. Резюмируя, он обращает взгляд не только на Россию, но и на Францию. С одной стороны, «дружественные отношения с ней (с Россией, — А. К.) имеют первостепенное значение, так как они обеспечат союз либо с императором, либо с Пруссией, Швецией или Данией; одним словом, столь грозный союз, что Франция никогда не рискнет напасть на нас»; с другой стороны, не следует бояться могущества русских, «так как Россия никогда не сможет добраться до нас, не раздавив Францию или Германию, каждая из которых, с нашей помощью, сможет удерживать Россию в соответствующих границах и отражать любое нашествие с этой стороны, сколь грозной она бы ни была» (с. 47).

За несколько лет до смерти в 1835 г. в возрасте 81 года Синклер опубликовал два обширных тома своей избранной переписки, показывающей диапазон его деятельности и его знакомств (как говорится в подзаголовке) «с наиболее яркими фигурами, появившимися в Великобритании и в других странах за последние пятьдесят лет». В нее вошел почти весь основной материал его «Общих замечаний», вместе с новыми сведениями и избранными письмами от русских деятелей, полученными после его поездки. Эта часть второго тома озаглавлена «Путешествие в Россию и переписка с обитателями этой страны». Первые девятнадцать страниц содержат наблюдения, которые, как указывает Синклер, «относятся главным образом к России 1786 года и извлечены из моего дневника, написанного в то время».<sup>12</sup> Наблюдения эти разделены на шесть глав и заключение, которые соответствуют I—V и X главам «Общих замечаний»; гл. VI («О вооруженном нейтралитете») напечатана в виде приложения 12 к тому II «Переписки», а приложение 13, «Князь Потемкин», представляет собою расширенный вариант характеристики, входившей первоначально в гл. VIII. Остальные главы, в которых речь шла о политических деятелях, рассредоточены в разных местах обоих томов: Екатерина и Павел появляются в главе «Переписка с им-

<sup>12</sup> The Correspondence. . . , v. II, p. 241, ff.

ператорами и королями» (здесь добавлена «Аудиенция у императора Александра», относящаяся к 1814 г.); княгиня Дашкова оказывается в главе «Дамы-корреспонденты», а Румянцев — среди «Военной переписки» — оба в томе I, тогда как Морков, Орловы и Воронцов появляются в томе II вместе с заметками и письмами от таких деятелей, как князь Г. П. Гагарин, С. И. Плещеев и граф Румянцев.

Несмотря на опубликование в «Переписке» критических высказываний Синклера о России, новое издание производит совершенно иное впечатление, чем книга 1787 г. Причиной этого является, во-первых, новая композиция книги, благодаря которой отрицательные суждения оказались рассредоточены, во-вторых, подчеркивание автором временной дистанции и, главное, дипломатичное смягчение или даже изъятие особо резких выражений.<sup>13</sup>

Большая часть характеристик людей, с которыми встречался Синклер, смягчена; к ним добавлены новые, более приятные детали, и даже там, где все же подчеркиваются отрицательные черты, контекст часто меняется для того, чтобы ослабить впечатление. Замечания о Моркове и Безбородко сняты; Воронцов оказывается совсем в ином освещении; он представлен теперь как глава коммерц-коллегии, где его мнения высоко ценились, «так как он был трудолюбивым и работающим человеком, и им очень восхищались при дворе, где очень немногие дворяне могут вы-

---

<sup>13</sup> Приводим для сравнения вводный абзац из обоих изданий. «The Russians are yet far behind the other nations of Europe in point of civilization. The nobles who reside in the country, continue as cruel and tyrannical to their peasants and other dependents, as ever. A Countess Soltikov, niece to Marechal Soltikov, is shut up in the monastery of Albakin in Moscow, for killing her boors, torturing women, cutting off their breasts, etc. Even their domestic servants are slaves; and where they are best used, are compelled to such tedious attendance, waiting for hours every day in the hall of their master, without daring to open their lips, or to utter a single word, that to a person of any feeling, no life could be more insupportable» (General Observations..., p. 4).

«The Russians, as might be expected from their remote and isolated situation, are behind the other nations of Europe in point of civilization. They are naturally, however, prone to acts of kindness and charity; and the various revolutions which have taken place in Russia, without almost any bloodshed, furnish a strong evidence of the good temper of the people. If the Russians had been naturally cruel, such events would have furnished numberless pretexts to a licentious soldiery, and others acting under the influence of real or supposed provocations, for gratifying their private malice. The nobles who reside in the country, were, in some cases, tyrannical to their peasants and other dependents; but by an edict of Catherine II, the power of masters over their peasants was limited within certain boundaries; and they are denied the privilege of corporal punishment, except through the medium of civil power. Domestic servants are in general compelled to such tedious attendance, waiting for hours every day in the hall of their master hardly venturing to open their lips, that to a person of any feeling, no life could be more insupportable» (The Correspondence..., v. II, p. 241—242).

нести тяжесть занятия каким-либо делом».<sup>14</sup> Хотя Потемкин остается «никчемным и опасным», Синклер проявляет сдержанность, говоря о его связях. Раньше он писал, например: «Граф Шавровский (П. М. Скавронский) является русским представителем в Неаполе. Ему не разрешают вернуться домой; графиня же живет со своим дядей, развращенность которого хорошо известна, поведения она довольно свободного, и при этом, может быть, красивейшая женщина Петербурга; и это дает некоторую пищу для злословия».<sup>15</sup> Позднее он ограничился фразой: «Граф Шавровский является русским представителем в Неаполе. Графиня живет со своим дядей и признана красивейшей женщиной Петербурга».<sup>16</sup> Сама Екатерина появляется в издании 1831 г. в выгодном освещении, а Павел — тем более, и Синклер опускает сведения о соперничестве матери с сыном. Возможно, что самое интересное изменение связано со встречей Синклера с Александром I в Лондоне в 1814 г. Синклер записывает детали их беседы и убежден, что Александр «соответствует высокому положению, в которое поставлен».<sup>17</sup> Он напоминает царю, что видел его в 1786 г., и замечает, что «с тех пор произошли очень большие изменения». Однако не без причины не развивает эту мысль, ибо вот что он писал об Александре и его брате Константине в 1787 г.: «Характеры их обоих уже начинают развиваться, и они напоминают двух главных героев в „Томе Джонсе“. Старший, подобно Блайфилу, медлителен, лицемерен, хитер, и когда императрица задает им какой-нибудь вопрос, он колеблется с ответом, пока его брат выскажет свое мнение, а затем отвечает, сообразуясь с впечатлением, благоприятным или нет, которое, как ему кажется, произвел его брат. Младший, Константин, похож на Тома Джонса; и если бы он когда-нибудь взшел на трон, он, может быть, показал бы, на что способна Российская империя, управляемая смелым, деятельным и предприимчивым монархом».<sup>18</sup>

В 1790-е годы интересы Синклера переместились от политической карьеры к вопросам экономического развития. Он увлекся планами содействия новым отраслям промышленности, развития Шотландии, улучшения сельского хозяйства и стал вдохновителем множества учреждений, преследующих эти цели, и автором и издателем большого числа соответствующих сочинений.<sup>19</sup> Он усердно информировал своих корреспондентов по всей Европе о своих предприятиях и посылал им свои публикации. Многие письма от русских корреспондентов содержат благодарность за присланные труды, а также ответы на его непрестан-

<sup>14</sup> The Correspondence... , v. II, p. 272.

<sup>15</sup> General Observations... , p. 32.

<sup>16</sup> The Correspondence... , v. II, app., p. 30.

<sup>17</sup> Ibid., p. 16.

<sup>18</sup> General Observations... , p. 28.

<sup>19</sup> См.: Dictionary of National Biography, v. XVIII. London, 1909, p. 305,

ные предложения и вопросы. Перед путешествием в Россию Синклер постарался приобрести расположение русского посла в Лондоне графа С. Р. Воронцова, которому, судя по ответному письму, подарил какой-то из своих трудов (возможно, «Историю общественного дохода Британской империи», 1784);<sup>20</sup> в другом письме от 19 мая 1792 г. Воронцов благодарит его за другие сочинения, добавляя: «Я непременно распорядюсь ими так, как вы желаете, и не сомневаюсь, что ваши исследования будут повсеместно продолжены, а ваши труды получают признание, какого удостоиваются предметы, приносящие всеобщую пользу».<sup>21</sup> В июле того же года Синклер получил письмо от царевича Павла, благодарившего его за первые тома «Статистического отчета о Шотландии»,<sup>22</sup> а в сентябре — от Сергея Плещеева, секретаря Павла и автора «Обозрения Российской империи» (1787), третье издание которого Синклер читал в английском переводе своего друга Я. И. Смирнова, священника русской церкви в Лондоне.<sup>23</sup> По совету Синклера Плещеев предпринял статистический отчет о России, кроме того, он снабжал его сведениями о русском овцеводстве.<sup>24</sup> В письмах Румянцева-Задунайского 1815 г. и Моркова 1804 г. тоже содержится благодарность за полученные книги и обещание познакомиться с ними влиятельных лиц России.<sup>25</sup>

Особенно интересно письмо (1817 г.) президента Вольного экономического общества в Петербурге не столько по своему содержанию (новые изъявления благодарности, на этот раз — за сообщение о выходе в свет «Кодекса сельского хозяйства» Синклера),<sup>26</sup> сколько как свидетельство связей Синклера с этим Обществом. Первым англичанином, избранным в члены Общества (1777), был доктор Гютри (Guthrie), живший в Петербурге, а в 1779 г. Артур Юнг (Young) стал первым его почетным членом в Англии.<sup>27</sup> Слава и авторитет Юнга как специалиста по сельскому хозяйству сложились давно, задолго до того, как стал известен Синклер. Однако многочисленные публикации последнего и усилия, которые он предпринимал для распространения их известности, сделали в 1790-е годы возможным и его избрание. Не случайно упомянутые выше письма Павла, Воронцова и Плещеева все были написаны в 1792 г., за несколько месяцев до того, как Синклер стал членом Вольного экономического общества.

<sup>20</sup> См.: The Correspondence..., v. II, p. 273.

<sup>21</sup> Ibid., p. 274 (оригинал по-французски).

<sup>22</sup> См.: Ibid., v. I, p. 10—11.

<sup>23</sup> Survey of the Russian Empire, according to its Present Newly Regulated State... London, 1792.

<sup>24</sup> См.: The Correspondence..., v. II, p. 283—285. — Интерес Синклера к русскому овцеводству отразился во многих письмах, см.: Ibid., v. I, p. 10—11; v. II, p. 266—267, 271.

<sup>25</sup> См.: Ibid., v. II, p. 260—261, 262.

<sup>26</sup> См.: Ibid., p. 274—275.

<sup>27</sup> Mohrmann Heinz. Studien über russisch-deutsche Begegnungen in der Wirtschaftswissenschaft (1750—1825). Berlin, 1959, S. 114—115.



На сороковом заседании Общества, состоявшемся 11/22 октября 1793 г., было прочитано письмо Синклера от 11 сентября, в котором он информировал Общество об учреждении в 1793 г. Британского земледельческого Общества, президентом которого стал он, а секретарем — Юнг, обещал посылать Обществу все публикации и изъявлял желание получать труды Общества. На том же заседании Гютри сообщил, что Синклер благодарит Общество за избрание его своим членом, и передал присланные от него письмо и бумаги.<sup>28</sup>

В дальнейшем русско-английские связи были упрочены избранием в почетные члены Британского Общества П. Б. Пассека, А. А. Нартова и Я. А. Эйлера, президента и постоянных секретарей Вольного экономического общества, а также Я. И. Смирнова, который осуществлял в Лондоне функции посредника, как это делал Гютри в Петербурге.<sup>29</sup>

Таким образом, за 50 лет, прошедших со времени короткого визита Синклера в Россию до его смерти в 1835 г., его связи с Россией упрочились и углубились. Изданная в 1831 г. его «Переписка» показывает, до какой степени его личные впечатления о России 1786 г. изменились под влиянием времени и перемены его интересов.

*(Перевод Н. И. Серман)*

---

<sup>28</sup> ЦГИАЛ, ф. 91 (Вольное экономическое общество), оп. I, ед. хр. 44, л. 324 об.—326. — Гютри встретил Синклера в Петербурге в 1786 г.; впоследствии они переписывались, и Гютри упоминает о деятельном участии Синклера в корреспонденциях, которые он посылал из Петербурга в один из эдинбургских журналов 1790-х годов. О Гютри см.: Cross A. G. *Arcticus and the Bee (1790—1794): An Episode in Anglo-Russian Cultural Relations.* — Oxford Slavonic Papers, New Series, II, 1969, p. 62—76.

<sup>29</sup> List of Members of the Board of Agriculture. London, 1796, p. 28.

## В. ЯГИЧ — ИНТЕРПРЕТАТОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Среди громадного научно-литературного наследия Ватрослава (Игнатия Викентьевича) Ягича затерялась небольшого формата книжка «*Ruska književnost u osamnaestom stoljeću*» (Zagreb, 1895). Изданная «Матицей хорватской», эта книжка при самом своем появлении почти не обратила на себя внимания критики ни в Хорватии, ни в Сербии, ни в России. Напомнить о ней в сборнике, посвященном памяти Павла Наумовича Беркова, кажется нам тем более уместным, что, как можно полагать, интересующий нас труд хорватского ученого должен был бы найти себе место и получить справедливую оценку в задуманном и начатом Павлом Наумовичем «Введении в изучение русской литературы XVIII в.», из трех томов которого, к сожалению, увидел свет один только первый.

О возникновении замысла книги Ягича и о конкретном воплощении этого замысла в жизнь мы располагаем сведениями, извлеченными главным образом из частично подготовленной к печати, частично остающейся «в сыром» (т. е. неразобранном и некомментированном) виде переписки В. Ягича с русскими учеными за 1894—1895 гг.<sup>1</sup> В письмах Ягича этого времени часты жалобы на предельную загруженность повседневной работой, на то, что его «занятия разбросаны». В письме к проф. К. Я. Гроту (19 января 1894 г.), откуда взята предыдущая фраза, читаем далее следующее: «Часть (большая) времени уходит на занятия в университете, все прочее время посвящено то журналу „*Archiv für slavische Philologie*“, то академиям, членом которых состою, больше всего, конечно, здешней (т. е. Венской, — И. А., И. А.), которая мне под рукою».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Авторами настоящего сообщения, совместно с канд. историч. наук Т. И. Лысенко, осуществлена подготовка к печати тома «Писем И. В. Ягича к русским ученым. 1886—1894», продолжающего аналогичное издание, охватывающее 1865—1886 гг. (М.—Л., 1963). Судьбою этого издания живо интересовался П. Н. Берков.

<sup>2</sup> Архив Академии наук СССР, ф. 281, оп. 2, № 577, л. 9.

После этих жалоб на занятость несколько неожиданно звучит упоминание в письме к А. Н. Пыпину 2 марта 1894 г. о том, что Ягич приступил к составлению распространенного очерка истории русской литературы XVIII в.: «У нас конец зимнего полугодия <...> Я хочу воспользоваться промежутком между первым и вторым семестрами, чтобы опять приготовить несколько лекций о русской литературе 18 и 19 столетий. Раз я уже прочел — но только 18 столетие — с некоторым успехом. На этот раз хотелось бы сделать шаг вперед и включить хоть бы первую половину 19 столетия». Как жаль, что Ваши рассуждения еще не дошли до этого периода, я читаю их в „Вестнике Евр<опы>“ с большим интересом». Дальше идут жалобы на отсутствие некоторых необходимых пособий («У меня кое-чего нет из новейших изданий»), называются первые выпуски «Русской поэзии» С. А. Венгерова, «Очерки литературного движения в первую половину 19 века» А. Шахова, отдельные выпуски павленковской библиотеки «Жизнь замечательных людей», посвященные протопопу Аввакуму, А. Кантемиру, Г. Р. Державину, Ф. Волкову.<sup>3</sup>

Житейские и служебные обстоятельства, однако, не позволили Ягичу тотчас же, как он предполагал было, приступить к осуществлению своего замысла: это произошло лишь в последние месяцы года. 1/13 октября 1894 г. он сообщил А. Н. Пыпину: «В данное время я переделываю мои публичные лекции по истории русской литературы 18-го столетия для литературного общества „Matica Hrvatska“ в Загребе. Выйдет маленькая книжечка около 12 листов. Для Вас, конечно, в ней ничего нового нет, но для южнославянской публики она могла бы быть интересна».<sup>4</sup>

Можно предполагать, что к этому времени Ягичем было написано около половины книги. 6/18 октября 1894 г. он сообщил о своем новом замысле Л. Н. Майкову, одновременно прося прислать ему «посмертный труд» Н. С. Тихонравова, вышедший под редакцией Майкова.<sup>5</sup> Месяц спустя он, по-видимому, вплотную

<sup>3</sup> Государственный архив Костромской области, ф. 653, оп. I, № 3 (по копии, присланной в Архив Академии наук СССР). На недостаток русских книг в Вене и трудности их добывания Ягич не устал жаловаться русским своим корреспондентам. Ср., например, в письме И. В. Помяловскому 20 апреля (2 мая) 1894 г.: «Я здесь по части русских книг в конце столетия в таком же беспомощном положении, в каком находились мои предшественники, Копитар, Шафарик и т. д., в первые десятилетия, значит, 60—80 лет тому назад» (ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Рукописное отделение, Архив И. В. Помяловского).

<sup>4</sup> Государственный архив Костромской области, ф. 653, оп. I, № 3, л. 49—50 об.

<sup>5</sup> Имеется в виду книга «Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина. Посмертный труд Н. С. Тихонравова» (СПб., 1894); книга вышла под редакцией Л. Н. Майкова. О ней Ягич просил Майкова 6/18 октября 1894 г., ссылаясь на информацию С. Н. Северьянова (ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 166, № 1338). Уже 26 октября 1894 г. Ягич

подошел в своем изложении к Фонвизину, так как обращался к тому же Майкову за разъяснением своих возникших было недоумений, которые и были успешно разрешены.<sup>6</sup>

Наконец, в письмах середины и конца декабря 1894 г. к нескольким корреспондентам о книге говорится как об уже выполненной работе.

Так, Т. Д. Флоринскому Ягич писал (14/26 декабря 1894 г.): «Представьте себе, при моих прочих замятиях, пришло мне в голову взяться не за свое дело. Я два раза читал в Вене лекции по русской литературе 18-го столетия (до 19-го, собственно, еще не доходил, но она имеется в виду), и вот мои загребские знакомые уговорили меня переделать эти лекции для „Матицы хорватской“. Я сдался и последние три месяца истратил на составление книжечки, не претендующей, конечно, в русской литературе на повизну или оригинальность, но для хорватов и сербов она, надеюсь, окажется не совсем бесполезной. Изучив по этому случаю несколько подробнее 18-ое столетие, я убедился в большой пренедевтической важности его для последовавшей потом самостоятельной деятельности 19-го столетия».<sup>7</sup>

---

благодарил Майкова за присланную книгу. «Ваша любезность, — продолжал он, — дает мне смелость обратиться к Вам с новой просьбой. Мне сдается, что недавно вышло какое-то сочинение из русской литературы, где Нарезный обсуждается» (там же). Книга Н. А. Белозерской «В. Г. Нарезный. Историко-литературный очерк» (СПб., 1896) в то время еще не появлялась, и Ягич пользовался журнальным ее вариантом.

<sup>6</sup> Так, в недатированном (венский почтовый штемпель: 27 ноября 1894 г.) письме к Л. Н. Майкову Ягич просил разъяснений относительно хронологии «Недоросля». «На стр. XXXV издания сочинений Фонвизина, — писал он, — говорится, что „Недоросль“ поставлен на сцену 1772 года. На стр. 227, где воспроизведен заглавный лист первого издания (1783 г.), сказано, что „Недоросль“ представлен в первый раз в 1782 году. Так говорят и все обыкновенные историки русской литературы. Кто прав? Судя по обстоятельствам жизни поэта, надо бы дать предпочтение 1772 году. Так ли?» (ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 166, № 1388). Л. Н. Майков поспешил дать следующее разъяснение: «Вы верно указываете на противоречие в известиях о времени представления „Недоросля“. Но 1772 г. означен в цитате из „Драматического словаря“, старинной книги (1788 г.), очень небрежно напечатанной. Первое издание „Недоросля“ дает 1783 г., и я полагаю это более вероятным, потому что издание комедии сделано самим Фонвизиним. Так принято думать всеми. Печатаю цитату из „Драматического словаря“, я не сделал оговорки, потому что Н. С. Тихонравов имел обычай приводить цитаты даже с сохранением явных ошибок подлинников. В биографии Фонвизина он говорит неясно о времени постановки „Недоросля“. Быть может, он и не видел первого издания пьесы в то время, когда писал биографию» (Nacionalna i sveučilišna biblioteka [Национальная и университетская библиотека]. Загреб. Отдел редкостей, № R 4610). Незвизная на эти справки и суждения, Ягич отнес появление «Недоросля» к 1772 г.: Jagić V. Ruska književnost u osamnaestom stoljeću. Zagreb, 1895, p. 135.

<sup>7</sup> Государственная публичная библиотека Академии наук УССР. Отдел рукописей, III, № 21654.

15 декабря 1894 г. В. Ягич датировал два письма с упоминаниями о только что законченном труде своем, одно — А. В. Михайлову, преподавателю Варшавского университета и в начале 90-х годов кратковременному участнику ягичевского венского Семинария,<sup>8</sup> другое — сотоварищу по Академии наук К. Н. Бестужеву-Рюмину.<sup>9</sup>

По неведомым причинам печатанье книги Ягича сильно затянулось и было закончено, по одним данным, в июле, по другим — примерно в середине октября 1895 г. 27 октября 1895 г. он послал экземпляр Л. Н. Майкову «на память» и одновременно просил его «другой поднести августейшему президенту» Академии наук, т. е. великому князю Константину Романову: «Пусть найдется в его библиотеке одна (вероятно, пока единственная) книжечка на хорватском языке».<sup>10</sup>

Несколько позже, на самом рубеже нового 1896 г., были присланы экземпляры А. Н. Пыпину и М. М. Стасюлевичу, редактору-издателю «Вестника Европы». Посылая их, В. Ягич писал: «Моя книжка <...> была напечатана уже в июле месяце, но теперь только рассылают ее из Загреба <...> Вы, конечно, не будете, — продолжал он, — в ней искать ничего больше, как простой рассказ любителя, предназначенный для широкой публики. Если бы у Вас было время заглянуть в книжечку, Вы нашли бы, может быть, что мы в главных взглядах очень сходимся. Я нахожу только, что Вы гораздо снисходительнее, гуманнее, галантней отнеслись к императрице Екатерине II, чем я. Для Стасюлевича (так упорно на протяжении десятилетий Ягич писал фамилию М. М. Стасюлевича, — И. А., И. А.) указываю на стр. 228, где я отдаю справедливость Вашему „Вестнику Европы“, значение которого, я думаю, я понимаю лучше всех прочих „братьев“».<sup>11</sup>

Приведенные цитаты в сущности исчерпывают весь собранный нами документальный материал о книжке Ягича. Несмотря на скудость фактических сведений, они позволяют сделать по крайней мере следующие выводы:

1. Ягич настойчиво подчеркивал, что его новый труд отнюдь не имеет научного значения и предназначен исключительно для сербохорватского читателя, который может почерпнуть из него ряд полезных для себя сведений.

2. Ягич не стремился в данной работе широко охватить и по возможности исчерпать наличный материал, как делал он в большинстве своих трудов, поскольку он не занимался исследованием литературы XVIII в.

<sup>8</sup> Архив Академии наук СССР, ф. 171, оп. 2, № 109, л. 15.

<sup>9</sup> ИРЛИ, Отдел рукописей, 25139, CLXXXI, б. 14.

<sup>10</sup> ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 166, № 1338.

<sup>11</sup> Государственный архив Костромской области, ф. 653, оп. I, № 3 (по копии, присланной в Архив АН СССР).

3. Ягич обратился к литературному оформлению материалов своих публичных курсов, следуя настойчивым пожеланиям земляков.

Следует полагать тем самым, что осуществленная книга, помимо само собою разумеющейся цели — сообщения некоей новой для сербохорватского читателя информации, — преследовала еще задачу, в равной степени интересовавшую как самого автора, так и представителей сербохорватской общественности.

Напомним, что как раз в это время он заканчивал печатание и последние доработки громадного корпуса — «*Corpus grammaticum sloveno-russicum*» («Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке», СПб., 1895), продолжал печатание второго тома «Источников для истории славянской филологии» (СПб., 1897), писал и печатал монографию о «гайных языках у славян»<sup>12</sup>

Для Ягича XVIII век — переходная эпоха от пронизанной обрядовой религиозностью средневековой русской литературы к передовым идеям европейского Просвещения и энциклопедистов, от «стремлений к христианско-византийским идеалам», заставлявшим «на все, что приходило с Запада, смотреть как на опасность, угрожающую как раз основам византийского христианства»,<sup>13</sup> к просветлению литературы и литературных деятелей светом западных идей и настроений, достигшим своего высшего уровня в мужественном выступлении Радищева (с. 154—162) и особенно в «эпохе Карамзина» (с. 217—258).

Книга состоит из четырех разделов: «Из допетровской эпохи» (с. 1—36), «Петровская эпоха» (с. 37—97), «Эпоха царицы Екатерины» (с. 98—216), «Карамзинская эпоха» (с. 217—258). В пределах каждого раздела материал дробится по авторам; иногда несколько авторов объединяются по жанровому признаку в одной главе (например, Княжнин, Лукин, Аблесимов, Веревкин), иногда одному автору уделяется более одной главы (например, Державину: «Оды Кострова, Державин до 1782 г.», «Державин от 1782 по 1796 гг.», «Державин после смерти Екатерины. В. Капнист»).

Изложение материала ведется с позиций историко-культурной школы: статьи А. Н. Пыпина по истории русской литературы, еще не собранные в получившие широкое распространение четыре тома, совершенно очевидно, служили образцом для венского ученого. О них он не только с большим уважением упомянул в письме к Пыпину 2 марта 1894 г., но и весьма комплиментарно

<sup>12</sup> Die Geheimsprachen bei den Slaven — Sitzungsberichten Akademie der Wissenschaften, Wien, Klasse philosoph-historische, Bd. CXXXIII, 1895, — все это, не считая обычной разносторонней напряженной работы по журналу «Archiv für slavische Philologie»

<sup>13</sup> Јагић V Ruska književnost u osmnaestom stoljeću, s 3 (в дальнейшем ссылки на страницы этой книги даются в тексте)

отозвался в одном из примечаний.<sup>14</sup> Ягича более всего интересовали портреты и очерки деятельности наиболее выдающихся представителей литературы, характеризующих этот процесс, интересовали, думается, по той же причине, по которой Ягич вообще вдруг заинтересовался русской литературой XVIII в., как сказано, до тех пор не привлекавшей его исследовательского внимания.

Нам кажется, именно пристальное внимание ко всему переходному, прогрессивному, что принес для русской национальной литературы XVIII век, прежде всего и более всего обусловило появление книги Ягича. Как неоднократно отмечалось в специальной литературе, знакомство сербов и в меньшей степени хорватов с русской литературой XVIII в. ограничивалось по преимуществу сочинениями богословскими (вроде «Камня веры» Стефана Яворского, сочинений Феофана Прокоповича или «Проповедей» митрополита Платона) либо вышедшими из духовной среды (как, например, драмы Козачинского и др.). «В области же светской литературы знакомства с такими русскими деятелями ее, как с Кантемиром, Ломоносовым, Новиковым, Фонвизиным, Державиным и т. д., мы у сербов XVIII в. обыкновенно не замечаем, и лишь позднее, преимущественно в периодической печати, мы будем встречаться с этими именами литературных деятелей».<sup>15</sup>

Подобное положение сохранялось на протяжении многих десятилетий, вплоть до второй половины XIX столетия. Именно в этой связи для Ягича могло предстать интерес систематическое обозрение русской литературы XVIII столетия: ему должно было казаться интересным и полезным раскрыть перед хорватским и сербским читателем конца XIX в. совершенно ему неведомое разнообразие и сложность литературных отношений в России на всем протяжении данного столетия, показать, что литература эта совсем не соответствует распространенным о ней представлениям у южных славян. Именно поэтому Ягич с такой настойчивостью подчеркивал в своих письмах, что книга ориентируется исключительно на сербохорватского читателя, которому может сообщить много нового и неожиданного.

---

<sup>14</sup> Он писал: «В самое недавнее время начала печататься в „Вестнике Европы“ серия очерков, блестяще написанных, о старой и новой русской литературе известного в этой области литератора А. Н. Пылина. Этот ряд очерков создает историю русской литературы для образованной широкой русской публики, подобной которой до сих пор нет в России. Упомянутые очерки начали выходить в 1894 г. и продолжают непрерывно» (с. 260).

<sup>15</sup> Заболотский П. А. Очерки русского влияния в славянских литературах нового времени. I, 1. Русская струя в литературе сербского возрождения. Варшава, 1908, с. 78. Ср.: Церетц В. Н. Новый труд о сербо-русских литературных отношениях. СПб., 1910; Заболотский П. А. К вопросу о русской струе в литературе сербского возрождения. СПб., 1911; см. также: Кулаковский П. А. Начало русской школы у сербов в XVIII веке. Очерк по истории русского влияния на югославянские литературы. СПб., 1903.

Высоко оценил книгу Ягича один из первых внимательных русских читателей ее А. Н. Пыпин. Он увидел в полученной от автора книге «живой пример „славянской взаимности“». 30 декабря 1895 г. Пыпин писал Ягичу: «Конечно, поспешил заглянуть в историю литературы, хотя, разумеется, не успел еще ознакомиться с подробностями. Ведь Ваша книга является первым примером цельной западнославянской работы о русской литературе! Таково состояние „взаимности“! Думаю, что Ваша книга будет интересной для обеих сторон, и является сильное желание, чтобы Вы продолжили Ваше изучение и на ближайшее время — до наших дней! Мы все еще во многих, — и очень важных, — вопросах только сами, между собой, разбираем дела своего просвещения, — но как полезно было бы услышать голос близкого, хорошо нас знающего, но вместе независимого судьи».<sup>16</sup>

Эти же мысли легли в основу рецензии А. Н. Пыпина на книгу Ягича,<sup>17</sup> единственного, сколько известно, отклика на эту книгу в русской печати. Большая часть рецензии посвящена общим вопросам возможно более полного взаимного ознакомления славян друг с другом, утверждению выяснившейся необходимости лучше и больше знать отдельным славянским народам о ближайших своих братьях.

«В таких условиях, — писал Пыпин, — книга г. Ягича становится важным литературным фактом, именно как результат самостоятельного изучения русской литературной истории, в котором желательно было бы видеть начало дальнейших самостоятельных славянских трудов по изучению России».

И несколько дальше: «Книга имеет в виду сербохорватских читателей, но может представить интерес и для нас, как оценка нашей литературы со стороны, независимо от наших привычных впечатлений и воспоминаний».

---

<sup>16</sup> Национальная и университетская библиотека (Загреб). Отдел редкостей. № R4610.

<sup>17</sup> Вестник Европы, 1896, № 2, с. 882—884. Подпись: А. П.



Р. ЛУЖНЫЙ

ДРЕВНЕПОЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ  
РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Материалы о русско-польских литературных связях, ставшие известными в послевоенные годы, и их историко-литературное осмысление, начало которому положил П. Н. Берков своим известным докладом на IV международном съезде славистов,<sup>1</sup> наглядно показывают, что эпоха Просвещения отнюдь не была периодом культурной изоляции Польши и России, как считалось ранее. Несмотря на напряженную политическую обстановку времени интервенции, разделов, войн и антагонизма между народами, в этот период сложился такой уклад общественно-культурных отношений, который сделал возможным оживленные, многосторонние связи между обеими литературами. Если же учесть, что эпоха Просвещения (и прежде всего ее художественные направления — классицизм и сентиментализм) и в России, и в Польше охватывает не только последние тридцать лет XVIII в., но и первые два десятилетия XIX, то окажется, что обоюдный интерес к художественному наследию соседнего народа сыграл в литературном процессе указанной эпохи значительную роль.

Проявление подобного интереса по размерам и значению не может идти, очевидно, ни в какое сравнение с ролью западноевропейского Просвещения, особенно французской, в меньшей мере — английской и немецкой философии и литературы, в культурном развитии обеих стран. Достаточно указать на чисто формальные, количественные показатели, касающиеся переводов с польского на русский и обратно, знакомства с творчеством современных писателей, на журналистику, театральный репертуар и т. д. Тем

<sup>1</sup> Берков П. Н. Русско-польские литературные связи в XVIII веке. М., 1958; см. также: Ł u ż n y R. 1) Uwagi o kontaktach kulturalnych polsko-rosyjskich w wieku XVIII. — *Slavia Orientalis*, 1960, No. 2, s. 499—502; 2) Literatura polska w Rosji w wieku XVII i XVIII. (Problematyka, stan i potrzeby badań). — In: O wzajemnych powiązaniach polsko-rosyjskich. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1969, s. 36—64.

не менее применительно к обеим литературам эпохи Просвещения можно говорить о наличии второстепенного, побочного, но все же легко обнаруживаемого течения: в Польше — русофильского, в России — полонофильского.

Сейчас известно достаточное количество фактов, подтверждающих существование указанных течений. Об этом говорят многочисленные переводы и переделки с обоих языков, постановки пьес на сценах соседнего народа, разработка русской темы поляками и польской — русскими писателями, критические отклики, извлеченные из переписки и воспоминаний современников. Систематизация и предварительный анализ накопленного материала, крайне интересного в познавательном отношении, позволяет уже сейчас сделать ряд выводов и наметить известные закономерности литературного процесса, изученного пока еще не во всех деталях.

Два вывода заслуживают особого внимания. Первый состоит в том, что к концу эпохи Просвещения своеобразная рецепция польской просветительской литературы заметно усиливается, сталкиваясь с тенденциями формирующегося романтизма (переводы драм Сумарокова и Капниста, популярность Ломоносова и Державина в Польше; переводы пьес Богуславского и запоздалая литературная карьера Красицкого в России). Способствовала этому благоприятная политическая обстановка (начальные годы правления Александра I, период Герцогства Варшавского и созданного Венским конгрессом Королевства польского), которая привела к возникновению новой ситуации, содействовавшей развитию двусторонних политических и общественных связей.

Вывод второй, требующий дальнейшего уточнения и фактического подтверждения, состоит в том, что двусторонний литературный интерес не ограничивался явлениями текущей литературной жизни, но распространялся довольно широко на литературу и культуру прошлого, на эпоху, предшествующую классицизму и Просвещению. В Польше это нашло свое выражение в интересе к допетровской Руси, ее истории, культуре, языку и письменности — столь характерном для славянофильских устремлений и славяноведческих начинаний варшавского Общества друзей наук, в России — наряду с рецепцией польских классиков и просветителей — в наличии целого, хотя очень неоднородного по своему характеру «древнепольского направления».

Последующие замечания будут касаться в основном именно тех явлений русской просветительской литературы, польское происхождение которых проступает особенно наглядно. Попробуем вскрыть генезис подобных явлений. Сделать это не сложно, если вспомнить о характере литературной эпохи, предвалявшей классицизм и просвещение в России. Это был типичный переходный период, завершавший, с одной стороны, семивековую историю древнерусской письменности, с другой — открывающий перспективы развития новой русской литературы. Вторая половина

XVII в. и первых три десятилетия XVIII столетия с их осовремениванием идейного наследия прошлого, уничтожением средневековых пережитков, окончательной дифференциацией литературы, формированием новых форм и средств художественного выражения, таких как рифмованная поэзия, лирика, драма, характеризовались установлением оживленных контактов с Западной Европой. Отличительной чертой духовной жизни России тех лет является восприимчивость к культурному (духовному, языковому, художественному) наследию западных соседей, и прежде всего интерес к культуре тогдашних польско-литовско-русских земель. К этой проблеме, достаточно хорошо изученной и описанной, следует вернуться вновь, ибо она позволяет по-новому осмыслить очевидный факт: процесс, охвативший несколько десятилетий, переживший свои приливы и отливы, взлеты и падения, не закончился внезапно с концом XVII в., с эпохой Петра I и началом эпохи классицизма в 30-х годах XVIII в. Отдельные его элементы продолжали существовать и развиваться, подвергались изменениям и по-разному реализовались в позднейшие эпохи.

Не случайно авторы старых работ по эпохе Просвещения, находя в ней ростки будущего классицизма, именovali ее «предклассицизмом». Сейчас мы склонны называть ее просто эпохой русского барокко. А ведь как показали наблюдения последних лет и материалы дискуссии по барокко, начатой по инициативе А. Морозова,<sup>2</sup> стиль или направление барокко (независимо от его народного характера, степени оригинальности, русского своеобразия и роли латино-польско-украинского влияния) сохранялся в России, как, впрочем, и в Польше,<sup>3</sup> довольно долго, в некоторых своих аспектах вплоть до XVIII в., входя в сложные отношения с поэтикой классицизма. Даже если последнее считать лишь следованием установившейся традиции, то и тогда необходимо учитывать связи и аналогии с традицией польского барокко.

Вопрос этот неразрывно связан с другой сферой литературной жизни, ее теоретическим наследием, корни которого уходят в школьные поэтики и риторики. Сейчас известно, какую огромную роль сыграли в области теории труды членов киевской Академии не только на рубеже XVII и XVIII вв.<sup>4</sup>

Широко бытовавшая здесь традиция античной, средневековой и европейских литератур эпохи Возрождения и барокко, а также интерес к новейшей теории искусства поддерживались здесь усилиями таких представителей украинской литературы, как Ф. Прокопович, Ст. Яворский и Л. Горка довольно долго. Как видно из

<sup>2</sup> Материалы дискуссии изложены в книге: *Literatura rosyjska. Podręcznik*, t. I. Warszawa, 1970, s. 164—167.

<sup>3</sup> *Libera Z. Problemy polskiego Oświecenia.* — In: *Kultura i styl*. Warszawa, 1969 (см. раздел «Традиции барокко», s. 33—132).

<sup>4</sup> Лужный Р. «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии. — В кн.: *Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры*. М.—Л., 1966, с. 57—63.

последней работы П. Левин об изучении поэтики и риторики в начальных учебных заведениях России,<sup>5</sup> эти дисциплины читались здесь вплоть до 70-х годов XVIII в., причем преподаватели в дальнейшем пользовались опытом киевской школы с ее латино-польским теоретическим багажом. Элементы полонизации украинской теории литературы<sup>6</sup> продолжали существовать и сохранять свою притягательную силу и после того, как в России возник и сформировался классицизм. Упомянувшиеся в курсах поэтик имена, названия, идеи и примеры, заимствованные из произведений древнепольских авторов — П. Кохановского, М. Сарбевского, Твардовского, говорят сами за себя.

С этой восходящей еще к XVII в. культурной традицией связано знание языка и литературы древней Польши, пристальный интерес к ее историографии у ряда писателей-классиков и первых деятелей русского просвещения. П. Н. Берков привел интересные примеры из сочинений Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова.<sup>7</sup> Фр. Селицкий и Г. Н. Моисеева<sup>8</sup> показали, какую важную роль играло для исторических трудов Татищева и Ломоносова знакомство с работами польских историков XV, XVI и XVII вв., в частности с трудами Длугоша, Кромера, Стрыйковского.

Несомненно, однако, что наиболее живой для всего XVIII в., а в отдельных случаях и позднее, оказалась традиция переводов с польского, также уходящая корнями в XVII в. Многочисленные переводы сочинений польских авторов, усвоение через польское посредничество произведений западноевропейской литературы не были случайным актом, известным узкому кругу лиц или читателям одного поколения. Как показывают тщательные историко-ведческие разыскания,<sup>9</sup> наиболее распространенными в XVIII в. в России были рыцарский роман,<sup>10</sup> «Великое зеркало»<sup>11</sup> и «Фадации».<sup>12</sup> Интерес к входившим в их состав произведениям — это отнюдь не пережиток средневекового мышления или чуждого русскому читателю общественного уклада. В новой языковой обо-

<sup>5</sup> Lewin P. Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII wieku (1722—1774) a tradycja szkół polskich. Wrocław, 1972.

<sup>6</sup> Łuźny R. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. — In: Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII—XVIII wieku. Kraków, 1966, s. 89—107.

<sup>7</sup> Берков П. Н. Русско-польские литературные связи в XVIII веке, с. 21—25.

<sup>8</sup> Sielicki F. Kronikarze polscy w latopisarstwie i dawnej historiografii ruskiej. — *Slavia Orientalis*, 1965, № 2, s. 144—178, 154 и далее; см. также: Моисеева Г. Н. Ломоносов и польские историки. — В кн.: Русская литература XVIII века и славянские литературы. М.—Л., 1963, с. 140—157.

<sup>9</sup> Łuźny R. Literatura polska w Rosji..., s. 57—58.

<sup>10</sup> Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. (Бова. Петр Златые Ключи). М., 1964.

<sup>11</sup> Державина О. А. «Великое зеркало» и его судьба на русской почве. М., 1965.

<sup>12</sup> Державина О. А. Фадации. Переводная новелла в русской литературе XVIII века. М., 1962.

лочке, переложенные, переработанные и переписанные целиком или в извлечениях, они обрели снова вторую молодость и популярность. Повесть о Бове и история о Петре и Магеллоне сделала на русской почве подлинную литературную карьеру, расцвет которой приходится как раз на XVIII в. Образы, мотивы и сюжеты этих произведений трансформируются, подвергаются эволюции, получают различное наполнение в зависимости от воли писателя и читательских запросов, рядятся порой в дворянско-салонные, агиографические и, что особенно примечательно, сказочно-фольклорные народные одежды, становясь объектом внимания создателей «низовой» (лубочной) литературы и графики.<sup>13</sup> Русский перевод «Великого зерцала», известный примерно в 200 различных вариантах, пользовался в XVIII в. успехом, как, впрочем, и позднее, не только в широких читательских кругах, но явился источником многих творческих замыслов, послужил фабульной основой ряда произведений.<sup>14</sup> Большая часть из дошедших до нас тридцати русских рукописных вариантов «Фацеций» относится к XVIII в.<sup>15</sup> Именно в эту эпоху популярность «Фацеций» была особенно велика среди писателей (главным образом баснописцев) и читателей, преимущественно из третьего сословия.

В XVIII в. продолжают бытовать, не утрачивая силы эстетического воздействия, и другие произведения древнепольской литературы, а также усвоенные через Польшу «Gesta Romanorum». Достаточно привести один пример. Автор курса поэтики, читанной в Вятке в 1741 г. (поэтики, созданной по образцу киевского издания Л. Горки), включил в нее ряд поэтических переводов с польского, в том числе «Освобожденный Иерусалим» Тассо в переработке Петра Кохановского,<sup>16</sup> что наглядно свидетельствует о неослабевающем интересе в той среде к польской литературе XVII в. и о следовании старой литературной традиции.

Вместе с тем XVIII век оперирует не только достижениями прошлого. Наряду с прежними переводами древнепольских текстов в это время появляются новые, которые войдут составной частью в литературу позднейшего времени. В настоящее время известно два таких перевода.

Первый из них — это книга о Совизжале (Совест-Драле), «переведенная с польского и дополненная с других языков», выдержавшая в XVIII в., как установил П. Н. Берков, пять изданий.<sup>17</sup> История русского Совест-Драла изобилует рядом неясных моментов, как, впрочем, и «польская» его судьба. Можно лишь условно

<sup>13</sup> Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси, с. 228—229.

<sup>14</sup> Державина О. А. «Великое зеркало» и его судьба..., с. 143—148.

<sup>15</sup> Державина О. А. Фацеции, с. 40.

<sup>16</sup> Łuźny R. «Gofred» Tassa — Kochanowskiego na Rusi w wieku XVII—XVIII. — In: W kręgu «Gofreda» i «Orlanda». Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra Kochanowskiego. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1970, с. 119—130.

<sup>17</sup> Берков П. Н. Русско-польские литературные связи в XVIII веке, с. 27 и сл.

датировать первое ее издание в России до 1778 г.<sup>18</sup> Первоначально книга состояла из двух частей и включала в себя только часть походов главного героя. Последующие издания (1781, 1788, 1793 и 1798 г.) были более полными, имели по три части каждая. Выходили издания без указания авторов перевода, имена которых до сих пор не установлены. Начиная со второго русского издания книга неожиданно, странным и непонятным образом увеличилась. В ее состав оказалась включенной известная уже ранее в русском переводе комедия Ф. Богомольца «Мот, или Расточитель», текст которой издатель чисто механически, путем некоторых стилистических приемов, включил в ткань основного повествования. Принадлежали ли переводчику книги о Совест-Драле также переводы двух других пьес Богомольца,<sup>19</sup> сказать трудно. Ясно одно: перевод книги о Совест-Драле пользовался значительной популярностью, причем не только среди менее образованных читателей, поскольку он был издан вместе с комедией Детуша — Богомольца, которую публика ценила за ее «польский вкус» и «мораль, в ней содержащуюся», как видно из авторского предисловия к комедии и статьи в «Драматическом словаре» (1787).

Русский перевод Совест-Драла довольно гладкий. Нет следов рабского следования оригиналу. Переводчик удачно переосмыслил имя героя, нашел подходящую замену польским пословицам среди соответствующих русских, дал заглавие книги рифмованной прозой, следуя принципу лубочных стихов.<sup>20</sup>

Предстоит установить в дальнейшем, с какого из девяти<sup>21</sup> польских изданий XVI—XVII вв. был сделан русский перевод, чем явился он по отношению к оригиналу, каков был вклад русского переводчика и в каком направлении шли отклонения от текста, как отразилось в переводе присущее переводческой практике XVIII в. «склонение на местные нравы». Может быть, это косвенным образом прольет свет на историю польских изданий XVIII в. этой популярнейшей книги,<sup>22</sup> ибо русскому переводчику, начавшему свой труд во второй половине XVIII в. (более ранние русские рукописные переводы книги неизвестны), могли быть известны как ранние, так и поздние ее издания. Итак, проблема русского Эйленшпигеля еще ждет своего исследователя. Решение этого вопроса помогло бы выяснить ряд подробностей и оценить роль русского эпизода в судьбе подлинно народного произведения европейской литературы, которое несколько неожиданно завоевало завидную популярность в эпоху расцвета русской просветительской литературы.

<sup>18</sup> Там же, с. 28.

<sup>19</sup> Там же, с. 31 и 39.

<sup>20</sup> Там же, с. 30—31.

<sup>21</sup> Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut», t. I. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła ogólne i anonimowe. Warszawa, 1963, s. 303.

<sup>22</sup> Miśkowiak J. Ze studiów nad «Sowizdrzałem» w Polsce. Poznań, 1938, s. 41.

Пример второй и последний с точки зрения, здесь нас интересующей, — это судьба сборника «Апофегматы» в России. Труд Беньяша Будного, увидевший свет в конце XVI в., насчитывает в XVII столетии одиннадцать польских изданий.<sup>23</sup> В основе «Апофегмат» лежат собранные Плутархом популярные истории о древних философах, дополненные материалом анекдотического содержания из жизни царей, владык и полководцев, почерпнутые из разных источников. Особую четвертую часть книги составляет «повесть о женах благоразумных» (białogłowy). Польский автор снабдил книгу «местными сведениями», введя во вторую книгу в число «гетманов, сенаторов и прочих начальников» Мелецкого, «благородного сенатора и гетмана короны Польской», а в четвертую — образы Ванды и Ядвига. Нередко в текст вкрапляются факты из польской жизни. Ссылки или цитаты из древних авторов даются по-латыни или в польском переводе. От издания к изданию «краткие, витиеватые и правоучительные повести, книги четыре», именуемые по-гречески «Апофегматы», постепенно дополнялись новыми сведениями и, превратившись наконец в своеобразную энциклопедию знаний об античном мире, стали в Польше XVII в. одной из наиболее читаемых книг.<sup>24</sup>

Неудивительно, что столетие спустя на «Апофегматы» обратили внимание и в России. Первый русский перевод книги вышел в 1711 г. в Москве. Позднее она неоднократно переиздавалась — всего известно три московских (1711, 1712 и 1716) и пять петербургских изданий (1716, 1723, 1745, 1765, 1781).<sup>25</sup>

В 1788 г. издание «Апофегмат» было вновь возобновлено, но на этот раз книга появилась под несколько иным заглавием. Оба известных русских перевода (издания до 1781 г. были лишь перепечатками первого издания) представляли собой перевод не всей книги Беньяша Будного, а лишь первых трех частей ее. Русские издания вышли без четвертой части, где речь шла о «белоголовых», хотя, как указывают библиографии,<sup>26</sup> существует полный рукописный вариант книги, включающий раздел «Кратких и витиеватых повестей, книга четвертая, в ней же положишася гадательства честных жен и благородных дев непростых»,

Русские издания «Апофегмат», восходящие к эпохе Петра I, как и позднейшие, появившиеся уже во второй половине XVIII в., в эпоху расцвета русского классицизма, пользовались такой же популярностью, как немногочисленные художественные произведения петровской эпохи. Сопоставление русских изданий убеждает в том, что они не были результатом механического труда переводчиков и издателей. Так, от издания к изданию уточнялось,

<sup>23</sup> Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut», t. I, s. 61.

<sup>24</sup> Polski Słownik Biograficzny, t. III, s. 95 (artykuł W. Weintrauba).

<sup>25</sup> Ср.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725—1800, т. I. М.—Л., с. 130—131.

<sup>26</sup> Описание изданий гражданской печати, 1708—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1955, с. 119—120.

дополнялось новыми элементами заглавие книги (например, «... речей книги три, в них же разные вопросы и ответы, жития и поступки, пословицы и разговоры»), менялась композиция книги, ее язык и внешний вид (как правило, опускалось обращение «к читателю», сокращался анекдотический материал, исключались цитаты из сочинений древних авторов, менялся порядок афоризмов). Переводчик испытывал трудности при передаче польских реалий, которые нередко опускал (ср. упоминания о Мелецком и короле Стефане), а также при передаче смысла ряда слов: польское *gładysz* неточно передано им как «самолюб», *wykrętasz* как «бегун», *blazen* как «кошун».<sup>27</sup> Вместе с тем переводчик проявил немалое умение, подобрав соответствия латинским цитатам.<sup>28</sup>

Русскому переводу «Апофегмат» присущ ряд серьезных искажений и ошибок, преимущественно в тех местах, где для передачи анекдотического материала трудно было найти нужные соответствия. Наиболее грубой, но и наиболее любопытной ошибкой является приписывание Телектру, в разделе жизнеописаний известных спартанцев, слов некоей Ладены, которой не жаль убитого на войне сына, ибо, по ее словам, она и родила его затем, чтобы не боялся сложить голову за отчизну.<sup>29</sup> Следует, наконец, подчеркнуть, что все русские издания «Апофегмат» XVIII в., кроме издания 1788 г., имели на титульном листе надпись: «Перевод с польского на славянский язык». В качестве такового «Апофегматы» вошли в литературную жизнь России эпохи Просвещения.

Приведенный нами обзор и систематизация фактов, частью изученных, частью лишь учтенных в библиографических справочниках, позволяют сделать следующие выводы. В широко понимаемом литературном процессе эпохи русского просвещения, крайне неоднородном по своему характеру, с ярко выраженной европоцентристской ориентацией, нашлось место и для побочной и не слишком значительной древнепольской традиции.

Хотя это течение существовало и развивалось в стороне от главного направления литературной жизни, будучи связано лишь с отдельными писательскими и читательскими кругами, оно занимало в этом процессе свое определенное место. С одной стороны, наличие этого течения свидетельствует о новом этапе в истории русско-польских литературных связей, с другой, как показала Г. Н. Моисеева,<sup>30</sup> было связано с собственной живой древнерусской поэтической традицией. И об этом не следует забывать при анализе эпохи русского просвещения.

*(Перевод Л. И. Ровняковой)*

<sup>27</sup> См. издание 1716 г., с. 134, 65, 26 и 22.

<sup>28</sup> Там же, с. 56—57.

<sup>29</sup> Там же, с. 152.

<sup>30</sup> Моисеева Г. Н. 1) Ломоносов и древнерусская литература. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. филол. наук. Л., 1970; 2) Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.



## Х. ШРЕДЕР ЛАРОШФУКО В РОССИИ

Русский перевод знаменитых «Максим» Ф. Ларошфуко (1612—1680), увидевший свет в 1781 г., дает возможность сделать некоторые наблюдения над историей афоризма в русской литературе. Этот перевод, выполненный А. Ф. Малиновским, является одним из самых ранних, если не первым переводом Ларошфуко в России. Во всяком случае, нам не удалось найти более раннего упоминания французского писателя в русской печати.<sup>1</sup>

Развитие жанров русской литературы XVIII столетия предполагало интерес к малым формам, получившим особенное распространение в журналистике. Нравоучительной тенденции удачно отвечали всевозможные типы кратких изречений, которые зачастую заимствовались у античных авторов. Все это весьма способствовало восприятию «Максим» Ларошфуко.

Заметим сразу, что если имя Ларошфуко стало в это время более или менее известным русскому читателю, то продолжателей

<sup>1</sup> Рассуждения и мысли господина де ла Рошьефоко. Перевел с итальянского языка Алексей Малиновский. — Московское ежемесячное издание, 1781, ч. I, № 1, с. 244—258 (в дальнейшем ссылки на страницы этого издания — в тексте). О литераторе и переводчике Алексее Федоровиче Малиновском (1762—1840) см.: Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей, т. IV. Пгр., 1917, с. 134—135; Берков П. Н. История русской журналистики XVIII в. М.—Л., 1952, с. 400 и сл. Дальнейшие переводы из Ларошфуко указаны в издании: Неустров А. П. Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг. СПб., 1874, с. 801, 809; отдельные издания: Дух изящнейших мнений, избранных большею частью из сочинений г. Рошефокольда и прочих лучших писателей. Перевел и избрал Н. С. М. 1788; Нравоучительные мысли герцога де ла Рошефоко. Перевела Е. Т. М., 1798; Свойства и действия страстей человеческих. Из соч. г. Вольтера, Руссо, Рошефукольда, Вейсса и других новейших писателей. Перевод с франц. СПб., 1802; Мысли герцога де ла Рошефуко, извлеченные из богатого познания мира и людей. Перевел с франц. Иван Барышников. М., 1809; Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко. Переведены с франц. Дмитрием Пименовым. М., 1809. — Автор искренне благодарен М. В. Разумовской (Ленинград) за помощь в библиографических разысканиях по данной теме.

его жанра в России почти не знали. Один из них — Ж. Лабрюйер — интересовал русскую публику только как автор «Характеров», но отнюдь не как мастер афористического жанра.

Здесь мы сталкиваемся также с проблемой терминологии. Понятие «ма́ксимы», введенное Ларошфуко, получило довольно широкое распространение (Гете, как известно, назвал цикл своих поэтических афоризмов «Максимы и размышления»). Однако в России оно почти не прижилось, хотя и вошло в некоторые новейшие общие словари.<sup>2</sup> Составители же литературных словарей до сих пор избегают этого термина. Что касается понятия «афоризм», то и ему уделялось в справочниках сравнительно мало внимания. Исключение составляют статьи в «Литературной энциклопедии» (1929—1930) и «Краткой литературной энциклопедии» (1962). Впрочем, и в западноевропейской научной литературе вокруг этого жанра по сей день ведутся споры.<sup>3</sup>

Обычно максима рассматривается не как синоним афоризма, а как одна из его разновидностей наряду с гномами, сентенциями, апофегмами и пр. Это — краткое, законченное изречение, заключающее в себе одну какую-либо мысль и не предполагающее ни предварительного ее обоснования, ни дальнейшего развития с использованием ассоциаций. Предметом максимы является поведение человека. Форма ее требует предельной краткости. Искусство Ларошфуко превратило максиму из простого сообщения правил морали в особый вид художественной прозы. При этом, разумеется, максима продолжала оставаться нравучением, предполагающим критическое отношение к окружающему. Максимы Ларошфуко адресовались тому обществу, в котором он жил. Широко используя парадоксы, писатель показал абсурдность поведения своих современников. За его критикой неизменно присутствовал положительный идеал высоко нравственного и образованного человека, *honnête homme*, в котором было нечто и от самого автора. С этим связана некоторая субъективность, индивидуальное своеобразие афоризмов Ларошфуко.<sup>4</sup>

Парадокс как стилистический принцип максимы бесспорно связан с понятием «остроумия», которое было сформулировано

<sup>2</sup> См., например: Словарь современного русского литературного языка, т. 6. М.—Л., 1957, с. 518.

<sup>3</sup> См.: Schalk F. 1) Das Wesen des französischen Aphorismus. — Die neueren Sprachen, 1933, Bd. 41, № 1, S. 130—140; № 2, S. 421—436; 2) Zur Geschichte des Wortes «Aphorismus» im Romanischen. — Romanische Forschungen, Bd. 73, 1961, S. 40—59; Mautner F. H. Der Aphorismus als literarische Gattung. — Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1933, Bd. 27, № 2, S. 132—175; Krüger H. Studien über den Aphorismus als philosophische Form. Frankfurt a. M., 1956; Kruse M. Die Maxime in der französischen Literatur. (Hamburger Romanistische Studien, Bd. 44). Hamburg, 1960, S. 23—24.

<sup>4</sup> См.: Heß G. La Rochefoucauld. Die Maximen. — Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 1935, Bd. 13, S. 456—489.

М. В. Ломоносовым в его «Кратком руководстве к красноречию» 1748 г.<sup>5</sup> Среди источников этого понятия называют сегодня трактат испанца Бальтазара Грасиана «*Agudeza y arte de ingenio*» (1648). Это важно отметить, так как испанский автор считается одним из предшественников Ларошфуко.<sup>6</sup> В своих максимах Ларошфуко, таким образом, откликнулся, сознательно или стихийно, на запросы литературы своего века. Но сложному, орнаментальному стилю он предпочел строгость, простоту и краткость высказывания, звучавшего вместе с тем неожиданно и странно, т. е. парадоксально.

Едва ли, однако, А. Ф. Малиновский, приступая к переводу, руководствовался соображениями литературно-теоретического порядка. Афоризмы Ларошфуко привлекли его скорее отточенностью стиля и своей краткостью, столь, казалось бы, удобной для перевода. Но молодой переводчик не сумел, конечно, достигнуть стилистического уровня подлинника. В переводе встречаются ошибки, сильно искажающие смысл. Некоторые сложные мысли остались недоступными Малиновскому, недостаточно хорошо знакомому с той средой, о которой шла речь. Все же почти половина из полуторасот максим переведена довольно удачно.

Приведем некоторые примеры.

Ларошфуко «*Il semble que la nature, qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous rendre heureux, nous ait aussi donné l'orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos imperfections*» (№ 36).<sup>7</sup>

Перевод Малиновского: «Природа, толь разумно расположившая органы нашего тела для соделания нас счастливыми, кажется, что придала еще нам гордость, чтобы тем избавить нас печали при познании наших несовершенств» (с. 245).<sup>8</sup>

Оригинал передан здесь почти дословно и вместе с тем без погрешностей против русского языка; легкий нюанс, привносимый словами «печаль при познании», не меняет общего смысла максимы.

<sup>5</sup> См.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1952, с. 109.

<sup>6</sup> См.: Lachmann R. Die Tradition des «ostroumie» und das «acumen» bei Simeon Polockij. — In: Slavische Barockliteratur, Bd. I, hrsg. von D. Tschizewskij. München, 1970, S. 41—59; см. также кроме указанных выше работ по истории афоризма: Разумовская М. В. К истории «максим» Ларошфуко. — В кн.: Вопросы творческой истории литературного произведения. Л., 1964, с. 80. — О Б. Грасиане см.: Алексеев М. П. Этюды из истории испано-русских отношений. — В кн.: Культура Испании и его теоретики. — В кн.: XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969, с. 129—138.

<sup>7</sup> Тексты Ларошфуко и номера афоризмов приводятся по изданию: *Oeuvres de La Rochefoucauld*, v. I. Paris, 1868.

<sup>8</sup> Указание в журнале на то, что перевод делался с итальянского, вызывает сомнения: местами он настолько близок к подлиннику, что наличие промежуточной ступени допустить трудно. Относительно того, переводил ли А. Ф. Малиновский с других языков, кроме французского, сведения отсутствуют.

Ларошфуко: «Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur humeur que de la fortune» (№ 61).

Перевод Малиновского: «Счастье и несчастье людей не менее зависит от нрава, как и от фортуны» (с. 246).

Обычно переводчик передавал «fortune» как «счастье», но в данном случае он отошел от правила — и тут следует отдать должное его стилистическому чутью. Не всегда, конечно, перевод шел так гладко. Ошибки Малиновского зависят, как правило, от недостаточного понимания мыслей французского моралиста, например:

Ларошфуко: «Comme c'est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles beaucoup de choses, les petits esprits, au contraire, ont le don de beaucoup parler et de ne rien dire» (№ 142).

Перевод Малиновского: «Великим умам прилично сказать многое в малых словах, а те, кои лишены оного, имеют дар говорить много и ничего не сказать» (с. 249).

В переводе утрачен смысл выражения «faire entendre», что является ощутимой потерей. В этих словах заключена самая сущность максимы как разновидности афористического жанра, имеющего целью будить мысль читателя и указывающего на одну из основных особенностей всякого словесного искусства. Приведенный образец позволяет убедиться как в достоинствах оригинала, так и в ограниченных возможностях переводчика.

Можно тем не менее утверждать, что перевод А. Ф. Малиновского способствовал знакомству русских читателей с Ларошфуко. Кроме того, переводчик внес свой посильный вклад в совершенствование русского литературного языка.<sup>9</sup>

Таким образом, перевод Малиновского мы рассматриваем как ценную для своего времени «информацию» о творчестве французского моралиста и вместе с тем как попытку использовать его опыт для обогащения отечественной речевой культуры. Интерес к афоризму как особому жанру проявился в русской литературе гораздо позднее — лишь в творчестве Льва Толстого. Однако он пришел к этому жанру своим путем, руководствуясь задачами создания дидактических произведений. В составленных Л. Толстым «Мыслях мудрых людей на каждый день» тенденция морализировать, поучать выступает очень отчетливо. Сопоставим изречение, перенесенное туда из «Талмуда»: «Как нечувствителен и равнодушен к чужому горю бывает человек богатый» с максимальной Ларошфуко: «Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui» (№ 19). Другой пример — афоризм, сочиненный самим Л. Толстым: «Нет несчастья хуже того, когда чело-

---

<sup>9</sup> Заслуживают, вероятно, внимания такие предложенные А. Ф. Малиновским соответствия понятий, как: vertu — твердость, bonne fortune — благополучие, apparence — наружность, finesse — хитрость, conversation — обращение, mérite — достоинство, impuissance de la volonté — слабосилие, médisance — злословие, prudence — благоразумие и т. д.

век начинает бояться истины, чтобы она не обличала его».<sup>10</sup> В подобных сборниках Л. Толстого появляются имена таких создателей афоризмов и максим, как Шопенгауэр, Вовенарг и особенно часто — Паскаль.<sup>11</sup>

Непосредственно к Ларошфуко привела Л. Толстого работа по редактированию сборника Г. А. Русанова «Избранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов и максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье» (1906). Помимо того, что он написал предисловие, Л. Толстой прибавил к книге по собственной инициативе значительное количество максим Ларошфуко, исправив и дополнив вместе с тем переводы Русанова. Развитый и гибкий литературный язык составлял, разумеется, преимущество Л. Толстого по сравнению с переводчиком XVIII в. Но особенно интересно для нас небольшое предисловие к книге. Писатель приходит здесь к тем же самым результатам, что и авторы современных нам исследований об афоризме. Он различает два основных типа философов: у одних — строго разработанные системы, у других — разрозненные, но четко сформулированные мысли, выраженные в афористической форме. Признавая, что французские моралисты XVI, XVII и XVIII столетий довели жанр афоризма до совершенства, Л. Толстой видит в них тем не менее последователей еще более старых мастеров, оставивших сборники изречений этого же типа. В афористическом жанре Л. Толстого подкупают «непосредственность, искренность, новизна, смелость и как бы стремительность мысли, ничем не связанной, и сила выражения». Главным качеством афоризмов является для Л. Толстого то, что они «не только не подавляют самостоятельной деятельности ума, но, напротив, вызывают ее, заставляя читателя <...> делать дальнейшие выводы».<sup>12</sup>

Внимание Л. Толстого к жанру афоризма — знаменательный факт. Он доказывает, что очень старый стилистический принцип, подхваченный и разработанный в XVII в. (например, у Б. Грассиана) и в теориях позднейшего времени (например, у М. В. Ломоносова), продолжал жить в новых исторических условиях. Пусть его теоретические обоснования были со временем забыты,

<sup>10</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 40. М., 1956, с. 108; см. также: «Календарь с пословицами на 1887 г.» (там же, с. 7 и сл.).

<sup>11</sup> Изучение отношения Л. Толстого к этим авторам афоризмов не входило в задачи настоящей статьи. Отметим лишь, что Паскаль привлекал его в первую очередь как религиозный философ, и интерес к Паскалю относится, по-видимому, к началу 1880-х годов; ранняя ссылка на Паскаля находится в вариантах «Отрочества» (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 2, с. 287).

<sup>12</sup> Там же, т. 40, с. 217—218. — В предисловии к книге Г. А. Русанова приводятся сведения о жизни Ларошфуко. Комментатор «Полн. собр. соч.» Л. Толстого Н. Н. Гусев не указывает, что эти сведения почти дословно заимствованы (без ссылок на источник) из новой тогда французской биографии: Bourdeau J. La Rochefoucauld. Paris, 1895, p. 98, 103, 166, 174 (ср.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 40, с. 490—492).

однако в своей литературной практике философы и писатели вновь и вновь обращались к нему. Не случайно Шопенгауэр переводил Грасиана, не случайно и Л. Толстой интересовался максимами. Парадоксальность максимы встречала с его стороны полное понимание, поскольку этому виду афоризмов было присуще то же «остранение», которое было характерно для его стиля.<sup>13</sup> Но Л. Толстой пошел дальше французских моралистов. Из стилистического принципа, приема, подчас превращавшегося в словесную игру в духе маньеризма, изречение становится у него способом осмысления основных морально-философских вопросов и более того — средством познания человека.

*(Перевод Р. Ю. Данилевского)*

---

<sup>13</sup> Подробно об этом см.: L a c h m a n n R. Die «Verfremdung» und das «Neue Sehen» bei Viktor Šklovskij. — «Poetica», München, 1970, Bd. III, H. 1—2, S. 226—249.

С. Н. ВАЛК

**АВГУСТ ЛЮДВИГ ШЛЁЦЕР И ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ТАТИЩЕВ**

А. Л. Шлёцер был одним из самых первых читателей «Истории Российской» В. Н. Татищева в ее окончательном виде. Он был и первым, кто в печати оценил ее значение для нашей историографии, а также кто первый воздал должное ее автору.

А. Л. Шлёцер приехал в Россию в конце 1761 г., будучи уже сложившимся молодым ученым. Занимаясь сперва в Виттенберге теологией (отец его был пастором), он перешел затем в один из самых лучших тогда немецких университетов — Геттингенский. Здесь Шлёцер под влиянием выдающегося филолога, профессора Михаэлиса, занялся восточной филологией, что стало для него, как он позднее это называл, его первым «апокалипсисом». Получив в 1761 г. по рекомендации Михаэлиса предложение Г. Ф. Миллера переехать в Петербург, Шлёцер воспринял его как «призыв providения». Ему думалось, что поездка в Петербург поведет за собой возможность, при помощи, полученной здесь, поддержки дальнейшего путешествия на Восток. А там, пребывая «под арабскими шатрами», он послужит благу церкви и науки.<sup>1</sup>

Еще до приезда в Петербург Шлёцер, по словам его автобиографии, имел «высокое понятие» о русских летописях, от которых на Западе ожидали «чрезвычайного расширения всей истории Севера».<sup>2</sup> После первых, быстро промелькнувших шагов в овладении русским языком Шлёцер стал стремиться к ознакомлению с летописями, тогда всецело еще рукописными. Миллер, желая видеть в Шлёцере лишь помощника для своих собственных работ, не был склонен ему в том содействовать. Но год спустя произошло знакомство Шлёцера с И. И. Таубертом, тогда влиятельнейшим советником академической канцелярии. Для шлёцеровского буду-

<sup>1</sup> Письмо Шлёцера Михаэлису 27 мая 1763 г. см. в кн.: Frensdorff F. Von und über Schlözer. Berlin, 1909, S. 8.

<sup>2</sup> Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлёцера, им самим описанная. Перевод с немецкого с приложениями и примечаниями В. Кеневича. — Сб. ОРЯС АН, т. XII. СПб., 1875, с. 45.

щего важнейшим следствием его знакомства с Таубертом было именно то, что оно тотчас повело к ознакомлению Шлёцера с принадлежавшей ранее тестю Тауберта И. Д. Шумахеру исключительно ценной рукописью «Истории Российской» В. Н. Татищева, полученной последним несомненно от самого Татищева. Рукопись эта содержала первые три части «Истории Российской», кончаясь 1462 г. Знакомство с этой и другими рукописями повело Шлёцера, по его признанию, к занятиям русской историей «истинно сапого» и стало для него «вторым апокалипсисом».<sup>3</sup>

Шлёцер с целью «вникнуть подробно», а также «особливо отметить» темные для него места, поручил академическому копиисту Корелину переписку таубертовской рукописи «за свой счет», и к 1764 г. для него были переписаны части «Истории Российской» от того места, где кончался тогда текст печатавшейся «Несторовой летописи» (т. е. Кенигсбергского списка) до княжения Всеволода III.<sup>4</sup> В 1764 г., в критическое время его отношений с Академией наук, Шлёцером было составлено два плана своих научных занятий: один 4 июня — по требованию Конференции Академии наук и другой — адресованный Г. Н. Теплову для представления Екатерине II.

Первый план хорошо известен в литературе по гневу, который он вызвал у Ломоносова: в нем Шлёцер предлагал составить на немецком языке общий очерк (Suite) русской истории от основания государства до пресечения Рюриковой династии, на основе русских хроник «с помощью» трудов Татищева и Ломоносова.<sup>5</sup>

В плане, составленном в конце декабря для рассмотрения императрицей, Шлёцер повторил по существу то же, предлагая, между прочим, «начать сокращение исторических сочинений покойного Татищева». Здесь он только добавил, почему им предложен именно труд Татищева, а также и то, в каком состоянии находятся его подготовительные материалы к такой работе. Именно Татищев для него — «отец русской истории», и он заслуживает того, чтобы ему было воздано справедливо должное. Для составления же предлагаемого сочинения Шлёцер считал, что у него уже собраны «все материалы» и он сможет его закончить «в короткое время».<sup>6</sup> Изложенные в обоих проектах 1764 г. планы Шлёцера остались без всякого последствия.

<sup>3</sup> Общественная и частная жизнь..., с. 104, 106.

<sup>4</sup> Русский перевод «Общественной и частной жизни...» (с. 189, 218) кое-где неточен, в частности к имени Всеволода здесь добавлено ошибочно «Дмитриевич» вместо «Юрьевич»; ср.: August Ludwig Schlözer's öffentliches und privat-Leben von ihm selbst beschrieben. Göttingen, 1802, S. 240—241.

<sup>5</sup> Общественная и частная жизнь..., с. 289; дата и текст перевода исправлены по изданию плана в кн.: August Ludwig V. Schlözer und Russland. Eingeleitet und... herausgegeben von E. Winter. Berlin, 1961, S. 51; см. об отношении к этому плану Ломоносова: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 10. М.—Л., 1957, с. 309.

<sup>6</sup> Общественная и частная жизнь..., с. 321—322.



В 1767 г. Шлёцер выдвинул еще один план, уже явно к тому времени настоятельно назревший, план издания всего исторического труда Татищева (напомним, что именно тогда же приступил к изданию «Истории Российской» Г. Ф. Миллер). С таким предложением Шлёцер обратился к Тауберту, составив обстоятельную записку, содержащую не только существенное научно-политическое обоснование такого издания, но и точное описание всех редакционных и чисто издательских его особенностей, вплоть до формата и шрифта. Шлёцер в своей записке напоминает, что иностранцам уже известно о существовании исторического труда Татищева по книге английского купца Ганвея (к нему Татищев обратился с письмом, связанным с желанием издать свою «Историю»);<sup>7</sup> Татищева там все считают до сих пор «утесняемым» (unterdrückt); появление же в печати трудов Ломоносова, Рычкова и Татищева будет не только честью для Академии, но и должно произвести желательную для всего теперешнего русского правительства «счастливую революцию» в тех ужасных идеях, которые повсеместно распространены за границей, будто в России запрещено издание подобных вещей. Шлёцер хочет подействовать и на самолюбие Тауберта, привлекая его перспективой славы, которую-де приобретет зачинщик «славной революции». Своим предложением издать прежде всего татищевский труд Шлёцер как бы подчеркивает, что он действует с исключительной «бескорыстностью». Шлёцер настаивает на том, что именно «Татищев — русский, он отец русской истории, и мир должен знать, что русский, а не какой-либо немец проломил лед в русской истории». Этим, считает Шлёцер, он приносит свою «честь» в «жертву» своему «русскому патриотизму».

Предложение Шлёцера Тауберту осталось без последствий. В доверительном письме Г. Ф. Миллеру Тауберт писал, что «узнал Шлёцера ближе и поэтому избегает каких-либо личных отношений с ним».<sup>8</sup>

Издателем трудов Татищева Шлёцеру, таким образом, не пришлось быть. Но первым почитателем их, каким он стал в начале своего знакомства с ними, он остался и на склоне лет. Взгляды Шлёцера на значение «Истории Российской» не в малой

---

<sup>7</sup> Книга Ганвея (Hanwey) вышла в 1754 г. Перевод письма Татищева напечатан в книге: Пекарский П. П. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб., 1864, с. 5—6.

<sup>8</sup> Письмо Тауберта Г. Ф. Миллеру от 18 сентября 1767 г. с приложением наброска Шлёцера издано дважды проф. Э. Винтером: в подлиннике (по с пробелом) в издании «August Ludvig v. Schlözer und Russland» (S. 190—191) и в русском переводе в «Историческом архиве» (1960, № 6, с. 187—188, полностью, но не вполне исправно). В автобиографии Шлёцер пишет о сделанной им в 1765 г. «настоятельной» просьбе Тауберту, разрешившему издать Татищева «в его (Тауберта) пользу». По-видимому, здесь ошибка памяти Шлёцера («Общественная и частная жизнь...», с. 55).

степени были обусловлены общим его отношением к России и к ее истории.

Впервые публично заявить о своих взглядах на прошлое России Шлёцер имел возможность в докладе («*Memoriae Slavicae*»), читанном им в Геттингене 14 июня 1766 г. в Королевском ученом обществе по случаю избрания его членом Общества. Основную задачу своего доклада Шлёцер видел в опровержении мнений тех, кто считал, что славяне происходят из мест у Кавказских гор, между Черным и Каспийским морями. Этому мнению Шлёцер противопоставил как «бесспорное» свое утверждение, что славяне принадлежат к «знаменитейшим нациям»: они теперь расселены на многих землях, а в прежние времена они владели еще несравненно большими; наряду с готами, немцами, арабами и татарами они «совершенно изменили лицо Европы». Шлёцер далее доказывал совсем подобно Татищеву, заимствуя, возможно, из еще не изданного, но знакомого ему татищевского труда, что хотя славяне стали известны под своим теперешним именем только в VI в., когда они «с величайшей стремительностью и силой» напали на Византию, однако невозможно считать, что «такая могущественная нация» только тогда возникла. Шлёцер находит, что славяне, в течение «многих» столетий обитая в отдаленных местах, были известны уже и римлянам под другим названием и в других местностях. Определить же, где они были и как назывались, для Шлёцера представлялось делом «чрезвычайно спорным». Однако «господин профессор», как отмечено в отчете о заседании, «полагает, что в давнишние времена они были известны под именем венедов у Птолемея, Плиния и Тацита»; следы древнейшего языка венедов, считал Шлёцер, можно встретить в языке пруссов, курляндцев и литовцев.<sup>9</sup>

Аналогичные суждения Шлёцера о давнем прошлом России мы найдем в написанном в следующем же году и вышедшем в 1768 г. первенце его трудов по летописанию, в «Опыте русских летописей». И здесь он восклицает: «Древняя история России — какое необъятное понятие! Я почти теряюсь в его величии». История России для него — это история страны, охватывающей «одну девятую часть заселенной территории всего мира, территория России вдвое больше Европы и вдвое больше территории древнего Рима, который называл себя властелином мира»; «уже в течение 900 лет Россия непрерывно играет большую роль на арене народов»; «разверните анналы всех времен и народов, — пишет Шлёцер, — и назовите мне историю, которая была бы обширнее или даже равна русской; это история не одной страны, а части света, не одного народа, а массы народов». Шлёцер переносит свои рассуждения о России и в область культуры. Для Шлёцера «странным в царстве наук» является, что Нестор, «столь старый, столь важный и столь давно известный летописец, единственный

<sup>9</sup> Göttingenische Anzeigen von gelehrten Sachen, Bd. 1, 1766, S. 649—651.

в своем роде историк своей нации, в течение более 650 лет пролежал почти в пыли», оставаясь надлежаще неизвестен иностранцам. Шлёцер опровергает суждения английского историка, будто русские не обнародовали своих летописей, стремясь скрыть свое варварское прошлое. Он утверждает, что нет ни одной нации в Европе, предки которой не были бы варварами, и «убедительно» открывает «неожиданную новость» для таких историков, что в XI—XII вв., когда вся Европа знала только римскую монашескую ученость, в России процветали греческие науки и искусства; в России были публичные школы, учрежденные в 988 г. Владимиром Великим, были писанные законы, данные Ярославом в 1016 г., были туземные летописцы — Нестор родился в 1016 г. Одним словом, Россия «никогда со времени принятия христианства даже в мрачайшие времена средневековья не оставалась вполне без наук».<sup>10</sup> Неудивительно, что при таком одушевленном отношении к прошлому России Шлёцер говорил о своем «русском патриотизме» или о «моей русской гордости».<sup>11</sup>

Шлёцеровский взгляд на прошлое России явился основой для установления его отношения к труду признанного им, как мы видели, «отца русской истории». Но для понимания шлёцеровских оценок «Истории Российской» необходимо вникнуть также в различие ученого уклада обоих выдающихся историков. Шлёцер прошел лучшую в те времена в Европе геттингенскую филологическую школу. Она не только обусловила его дальнейшую научную деятельность, но и глубочайше соответствовала его природным склонностям. В 1803 г., подводя некоторый итог своей 32-летней (по его расчету) научной деятельности, Шлёцер писал, что «все» его работы «суть скорее только критико-исторические».<sup>12</sup> В своем большом историографическом труде Ф. Вегеле вполне подтверждает эту самохарактеристику Шлёцера: он не считает Шлёцера выдающимся «историком-писателем» (*Geschichtsschreiber*), но видит в нем «действительно выдающегося историка-исследователя» (*Geschichtsforscher*).<sup>13</sup> Нечего говорить, что живой и кипучий

<sup>10</sup> Schlözer A. L. *Probe russischen Annalen*. Bremen und Göttingen, 1768, S. 13, 44—45, 164—165.

<sup>11</sup> Общественная и частная жизнь..., с. 164. — В том же 1802 г., когда появилась эта книга (и, добавим, «Нестор»), лекции Шлёцера слушал в Геттингенском университете молодой Александр Иванович Тургенев. Вот что он писал своим родителям 31/19 октября 1802 г.: «Профессор Шлёцер мне отменно понравился за свой образ преподавания и за то, что он любит Россию и говорит о ней с такою похвалой и с таким жаром, как бы самой ревностной сын моего отечества». Далее Тургенев передает слова лекции, где говорится «о влиянии, какое делает Россия на всю Европу» (Архив братьев Тургеневых, вып. 2. СПб., 1911, с. 29).

<sup>12</sup> См.: Модзалевский Б. Л. К биографии А. Л. Шлёцера, с. 22 (по отписку из «Изв. ОРЯС», 1903, т. VIII, кн. I).

<sup>13</sup> Wegeler F. v. *Geschichte der deutschen Historiographie*. München und Leipzig, 1885; ср.: Fueter E. *Geschichte der neueren Historiographie*. 2. Aufl. München und Berlin, 1925, S. 374.

темперамент Татищева с его богатым жизненным опытом, разно-сторонними интересами и знаниями, но без всякой школьной под-готовки был противоположностью шлёцеровскому облику уче-ности.

Когда Шлёцер писал о Татищеве, он знал о нем только то, что мог извлечь из мимолетных автобиографических отступлений, которые встречаются у Татищева в его «Истории Российской». Ведь даже и русские авторы, писавшие в те времена, не могли сообщить о Татищеве чего-либо сверх этого. Доказательство — единственное библиографическое пособие, новиковский «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772), ограничивался только данными, заимствованными из татищевского труда. Шлёцер мог, например, только «предполагать», что Татищев умер в 1750 г., так как он «нигде не нашел» точных дат ни рождения, ни смерти этого «замечательного человека». Также и все другие касающиеся Татищева сведения были извлечены Шлёцером из самопризнаний Татищева в его «Истории»: и то, что Татищев «поздно» приступил к занятиям историей (действительно, Татищеву было тогда около 33 лет), и что это произошло для него «случайно», что он знал из иностранных языков только немецкий язык, что вся основная деятельность Татищева протекала на военной и административной службе — все это Шлёцеру было известно из «Истории Российской». Отсутствием других данных объясняется и недоуменный вопрос Шлёцера — кем был у Брюса Татищев — «писарем или секретарем?». <sup>14</sup>

Вывод из таких биографических данных мог быть сделан Шлёцером с точки зрения геттингенской филологической выучки только один — Татищев «не был воспитан для истории», он был в этом отношении «совершенно неучен». <sup>15</sup> Но такой вывод отнюдь не повел Шлёцера ни к умалению его уважения к личности самого Татищева, ни к какому-либо пренебрежению к татищевскому труду. Наоборот, как личность Татищева, так и труд его тем более вырастали в глазах Шлёцера.

Именно в общих суждениях Шлёцера Татищев является «истинным историческим гением», который «был рожден для истории своей страны», он был «отцом русской истории», «первым удовлетворительным» ее историком. «История Российская» Татищева, по Шлёцеру, — это «знаменитое», «многотрудное», созданное «невероятным трудолюбием» сочинение, «славный памятник удивительного прилежания ее автора». <sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Общественная и частная жизнь...*, с. 51, 52; Schlözer A. L. *Probe russischen Annalen*. S. 149, № 6. — Шлёцер здесь прямо указывает, что заимствует свои данные о Татищеве из «еще не напечатанного Введения в Русскую историю».

<sup>15</sup> *Общественная и частная жизнь...*, с. 51; Нестор. *Русские летописи*, ч. I. СПб., 1809, с. РМГ.

<sup>16</sup> *Общественная и частная жизнь...*, с. 51, 322; Schlözer A. L. *Probe russischen Annalen*, S. 150; Нестор. *Русские летописи*, ч. I, стр. РМГ; ср.: Нестор. *Russische Annalen*. Theil I. Göttingen, 1802, S. 92—93.

«История Российская» по составу использованных Татищевым источников распадается на две резко различные части. Первая, вводная ее, дорюрикова часть является вместе с тем и долетописной: она вся построена Татищевым на использовании данных древних, средневековых и новых западноевропейских источников и литературы. Остальные же части, по одному из определений самого Татищева, оказываются «собранием из древних русских летописцев». Естественно, что все внимание Шлёцера было привлечено именно летописными частями «Истории Российской».

Шлёцер, излагая свои мнения о летописной части «Истории», останавливается на том, как Татищев предполагал вначале, что полученная им от Брюса рукопись летописи является единственной рукописью древней летописи, и как после обнаружения Раскольничей летописи и в ней разноречий с имевшимся уже у него текстом он предпринял розыски и еще других рукописей, в чем «счастье» ему сопутствовало. Шлёцер одобряет, судя по его изложению, что Татищев из десяти таким образом оказавшихся в его распоряжении летописных «кодексов» создал «новый кодекс», включив в его состав «почти все», что находилось в имевшихся у него кодексах. Особенно было оцепено Шлёцером то, что Татищев «в суждениях и примечаниях своих приводит также часто разнословия из таких списков, которые только у него были в руках». Оценивая эту сторону работы Татищева, Шлёцер считал, что Татищевым сделаны «верные извлечения из летописей до 1462 г.» (в относящемся к тому же 1802 г. «Несторе» Шлёцер писал о «точном, хотя не вполне верном извлечении из временников»). Вся эта работа еще не требовала геттингенской «ученой подготовки».<sup>17</sup>

Шлёцер, помня о прирожденном «гении» Татищева, обнаруживает, что «в нем уже веял критический дух». Татищев «с истинной добросовестностью» сохранял в своем тексте «темные для него места», объясняя их в примечаниях «как мог»; Татищев равным образом не внес в свой временник «новых подделок», связанных с основанием Новгорода; он «не скрывает», что отрывок Иоакимовской летописи попал к нему «подозрительнейшим образом». Шлёцер более доверяет «россиянину» Татищеву в вопросах исторической географии, чем тем, кто «с ученостью рассуждает о Геродоте, Страбоне или Плинии, веря им, как Евангелию».<sup>18</sup> Однако отсутствие в «Истории Российской» ссылок на источники, откуда заимствовано в ней то или иное место, вызвало решительное осуждение Шлёцера как «добросовестного, критического, по выражению некоторых людей педантического (это подчеркнуто им), исторического исследователя, который не при-

<sup>17</sup> Schlözer A. L. Probe russischen Annalen, S. 150; Нестор. Русские летописи, ч. I, с. VII; Общественная и частная жизнь..., с. 54—55.

<sup>18</sup> Общественная и частная жизнь..., с. 52; Нестор. Русские летописи, ч. I, с. II; ч. II, с. 19, 151, 160.

нимает на веру ни одной строки и требует для каждого слова свидетеля и доказательств». Далее следовало поучение, уже собственно связанное с критикой текста: Татищев, собрав чтения из разных рукописей, не указывая, из какой он каждое берет, избирал одно из них, умалчивая о других, которые казались ему, возможно, менее понятными, но именно поэтому и более правильными, чем избранное им.<sup>19</sup>

Совсем иначе взглянул Шлёцер на содержание и значение первой части «Истории Российской». Выше упоминалось о характере ее источников. Значительное количество памятников, послуживших Татищеву для написания первой части, было напечатано на языках, которые были незнакомы Татищеву. Шлёцер слегка пронизывает, что Татищев «вдруг заблудился», решив потратить большие деньги и поручить необходимые ему переводы лицам, «немного знавшим латынь». Таким образом в первой части получилась «бестолковая смесь сарматов, скифов, амазонок, вандалов и т. д.». Первую часть «Истории» Шлёцер считал поэтому «ни к чему не пригодной».<sup>20</sup>

Татищев писал свою «Историю», не имея перед собой ни одной изданной летописи, ни одного издания актового материала. Не имел он перед собой, помимо разве трудов Байера, и ни одного научно-исторического исследования. Везде он был первооткрывателем неизведанного прошлого своего отечества. Вторая половина XVIII в. была ознаменована многими изданиями летописей и актов и оживленной научно-исторической деятельностью. Шлёцер изложил в своем историографическом очерке, предпосланном собственно исследованию «Нестора», всю появившуюся после Татищева совокупность источников и исследований. Таким образом, Шлёцер смог сопоставить татищевский труд с состоянием русской историографии к началу XIX в. Его вывод гласит, что хотя Татищев и не прошел никаких учебных занятий («gar keine Studien hatte»), не знал ни слова по-латыни и даже не понимал ни одного языка из новых, кроме немецкого, однако его труд (кроме первой части о скифах, сарматах и т. д.) всегда остается полезной работой («immer eine brauchbare Arbeit»). В одновременно изданной автобиографии Шлёцер говорит об «Истории» Татищева как о труде, «высокой цены которого нельзя было не признать».<sup>21</sup>

Шлёцер в своей деятельности был не только историком геттингенской школы. Отношение Шлёцера к Татищеву определялось и его общественной и политической деятельностью. По наблюдениям автора особой монографии о Шлёцере как «немецком просветителе XVIII века», Шлёцер был в свое время известен как филолог, историк России и государственности лишь не-

<sup>19</sup> Schlözer A. L. Probe russischen Annalen, S. 150.

<sup>20</sup> Ibid., S. 150—151; *Общественная и частная жизнь...*, с. 53.

<sup>21</sup> *Общественная и частная жизнь...*, с. 55; *Нестор. Russische Annalen*, S. 92—93.

которым выдающимся ученым Зато как представитель умеренного немецкого просвещения, поклонник Монтескье и Вольтера, он приобрел славу «среди всех образованных немцев» своими публицистическими выступлениями По словам той же исследовательницы, шлецеровские издания<sup>22</sup> являлись «трибуналом», разоблачавшим произвол и злоупотребления мелких тиранов раздробленной тогда Германии, но и такие правители, как императрица Мария-Терезия, избегали того, чтобы оказаться на страницах его изданий Шлецеровские «Staatsanzeigen» были запрещены правительством в 1793 г по обвинению в проповеди революционности и атеизма<sup>23</sup>

И для тогдашней России Шлецер нашел соответствующие слова похвалы и порицания Сопоставляя свои петербургские впечатления с родными для себя северогерманскими, Шлецер противопоставлял в автобиографии 1802 г «неповоротливость или леность, которую так явно отличаются жители северной Германии», «деятельным, подвижным и ловким существам», которые в России «являлись во всех классах нации!» И далее: «Что могло бы быть (думал я тогда), что стало бы из людей этого рода, если бы ему были даны человеческая свобода и разумное религиозное образование!» Свои же рассуждения о крепостном праве, с которым ему пришлось на деле столкнуться в доме Разумовского, он сопровождает словами: «Да будет проклято крепостное право», называя его «бесчеловечным изобретением» и «адской выдумкой, введенной в законную силу христианским попом, епископом констанцским, к стыду его религии, гуманизма и человечества»<sup>24</sup>

Понятно, что Шлецер не мог обойти без осуждения виновников горестных судеб и Татищева и его «осиротелого» труда, оказавшегося, когда Татищев был уже мертв, тоже «полумертвым» Шлецера возмущало, что Татищева подозревали в «ереси» за то, что он, как подобает «свободномыслящему» или «просто разумному» человеку, «не может переварить нелепых чудес», которыми заполнены летописи, но вынужден подчиняться и делать «многие исключения» Шлецер не обошел и того, что Феофан Прокопович враждебно встретил его рассуждения о «Песни песней» царя Соломона как о сборнике светских любовных песен Шлецер знал, что Та-

<sup>22</sup> «Briefwechsel meist politischen und statistischen Inhalts», 1776—1781, «Staatsanzeigen», 1782—1793

<sup>23</sup> См Furst Fr August Ludvig von Schlozer, ein deutscher Aufklärer im 18 Jahrhundert Heidelberg, 1928, S 75, 82, 88, Иконников В С А Л Шлецер Киев, 1911, с 36—37

<sup>24</sup> Общественная и частная жизнь , с 68, 117 — А И Тургенев писал родителям 27 апреля (9 мая) 1803 г о том, как Шлецер печатал в своем журнале жалобы от угнетенных подданных, как князья жаловались на него королю, как «даже» во время революции проповедовал он публично с кафедры то, чего другие и на ухо друг другу говорить здесь не смели, о том, что теперь «Шлецер не может ничего печатать без дозволения цензуры» (Архив братьев Тургеневых, вып. 2, с. 73).

тищев «позволил себе много смелых рассуждений» и что ему грозило «тягостное» обвинение в «политическом вольнодумстве». Именно поэтому, по мнению Шлёцера, издание татищевского труда не состоялось в 1740 г., когда он привез свой труд в Петербург. Но Шлёцер знал и другую причину задержки печатания «Истории Российской» — это «глупость, человеческая трусость и личный интерес». Шлёцер собирался в будущем еще коснуться и того, как «неудачно» произошло появление «на божий свет» труда.

Все вышезложенное повело Шлёцера к, можно сказать, итоговому восклицанию: «Какая потеря для народа! Какая масса исторических знаний нашла бы всеобщее распространение уже в 1740—1760 гг.».<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Общественная и частная жизнь..., с. 53—55; Нестор. Русские летописи, ч. I, с. РМГ. — В печати «История» стала появляться с 1768 г.



## Е. П. ПРИВАЛОВА

### А. Л. ШЛЁЦЕР — АВТОР ИСТОРИЧЕСКОЙ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В последнее время внимание исследователей как в Советской России, так и за рубежом все больше и больше пачинает привлекать творчество крупного немецкого ученого А. Л. Шлёцера. Однако одна из его книг, как раз та, которую А. И. Тургенев считал чуть ли не лучшим из всего написанного А. Л. Шлёцером, остается до сих пор у нас не только малоизученной, но даже и малоизвестной. Мы говорим об изданной в Германии в 1779 г. книге немецкого историка «Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder». Автор предназначал ее не только для своей дочери, которой в эти годы он посвятил ряд книг, но и для широких кругов ее маленьких сверстников, то есть детей в возрасте от 7 до 11 лет. При этом автор имел в виду только «подготовленных» читателей. Такими он считал, во-первых, детей, интересующихся историей, во-вторых, хорошо грамотных и имеющих некоторые познания в области закона божия, географии, естествознания и геометрии.

«Vorbereitung zur Weltgeschichte» не была первой книгой А. Л. Шлёцера для детей. Опыт в области детской литературы он приобрел раньше, в 1762—1765 гг., в бытность учителем немецкого языка, а позднее — истории и латыни в так называемой l'Académie de la X-me ligne. Это был пансион, открытый К. Г. Разумовским на Васильевском острове в Петербурге, где училось всего шесть учеников в возрасте от 8 до 14 лет: трое Разумовских и три их товарища. Для них и была написана Шлёцером серия так называемых золотых книжек, т. е. книг карманного формата в золотых переплетах. Тематика серии отличалась разнообразием: военное дело, флот, коммерция, история разных стран и народов. Каждая книжка имела в виду интересы одного из учеников, которому и посвящалась. Этот опыт сыграл немаловажную роль в становлении Шлёпера как детского писателя.

Незаурядная судьба ожидала «Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder». Значительное количество переизданий и переводов свидетельствует о большой популярности этой скромной книжечки. В Германии с 1779 по 1806 г. вышло шесть изданий

произведения Шлёдера. Во Франции появилось 2 ее перевода, в Венгрии 1, в России 5, не считая отрывков, опубликованных в сборниках и журналах.

Первый перевод книги А. Л. Шлёдера вышел в России в 1788 г. под заглавием «Предуготовление к истории для детей». Перевел ее воспитанник Коммерческого училища Д. Риттерслебен. Печаталась она в типографии Московского университета у Н. И. Новикова. Последний раз книга немецкого ученого издавалась в 1829—1830 гг. в переводе и с предисловием М. П. Погодина. Оригиналом для перевода служило шестое издание, выпущенное Шлёдером за два года до смерти, т. е. в 1806 г. Погодинский перевод носил название «Введение во всеобщую историю». Новым здесь были второй том, адресованный подросткам от 14 до 16 лет, и две статьи А. Л. Шлёдера: «К детскому учителю. Не наставление, а благий совет, на опыте основанный» и «Послесловие к 6-му изданию подлинника». В них заключался ценный авторский комментарий к проделанной работе.

Исторической теме в детской литературе тех лет отводилось большое место. Историческая книжка считалась тогда могучим средством политического и нравственного воспитания. Русский подросток второй половины XVIII в. имел в своем распоряжении ряд книг по мифологии и немалое число жизнеописаний, по преимуществу царей и полководцев. Имелась и книга историческая в точном смысле этого слова, но, как правило, весь историзм в ней сводился к сухому изложению событий, к перечислению дат, имен и названий.

Новаторство немецкого ученого заключалось в создании нового типа книги, книги, выдвигающей на первый план теоретические исторические проблемы и обращенной при этом к сознанию ребенка младшего возраста. В сущности произведение А. Л. Шлёдера было бы правильнее назвать не «предуготовлением к истории» вообще, а «предуготовлением к философии истории».

Замысел детской книги А. Л. Шлёдера был тесным образом связан с его научным мировоззрением. Из понимания истории как науки вытекали и его требования к преподаванию истории.

О характере обычного преподавания истории ученый говорил иронически. Так, «домашние учителя» истории, читаем мы в его «Послесловии» к последнему изданию книги, «проповедуют очень сносно и с Пандектами коротко знакомы, но об истории знают меньше иного мастерового».<sup>1</sup>

Отрицательно относился Шлёдер и к использованию уроков истории в качестве демонстрации перед детьми положительных и отрицательных героев. «От нравочений тщательно я старался удерживаться, — писал он в предисловии к 6-му изданию, — нет ничего несноснее для пожилых читателей и бесполезнее для мо-

<sup>1</sup> Введение во всеобщую историю для детей, ч. 1. М., 1829, с. XXIII—XXIV.

лодых неуместного проповедования в истории».<sup>2</sup> Отрицал автор и широко применяемое заучивание наизусть «имен патриархов до и после потопа».

Для научного изучения истории, по мнению Шлёцера, необходимо, во-первых, «знать перемены», происшедшие на земле за истекшие тысячелетия, во-вторых, «изыскивать причины, почему какая-нибудь земля сделалась так, а другая иначе»;<sup>3</sup> в переводе на современный язык это означает знание фактов и осмысление их.

Детский мозг не был подготовлен для подобных понятий. Подготовка к усвоению их и должна была служить книга Шлёцера. «Здесь предлагается не всеобщая история, — писал автор, — но географическое, естествословное, политическое и историческое введение в оную».<sup>4</sup> Какой глубокий смысл крылся за этим положением, видно из следующего высказывания Шлёцера: «Мне казалось до крайности неестественным растабарывать о государствах, царях и завоеваниях с ребенком, который не имеет ни малейшего понятия о гражданском обществе, о *contrat social*, о *force publique* и т. д. Если же ребенок не способен понимать такие мысли, то для его покоя, для чести науки лучше и не мучить его историею».<sup>5</sup>

Автор глубоко продумывал не только содержание, но и форму своего произведения: «С пространными детскими книжками, в коих забавный язык составляет главную цель автора, в коих ученые мысли ныряют кое-где, как пескари в реке, никогда не мог я ничего сделать. (У других были, может быть, другие опыты). Удить их оттуда детям очень тяжело и только что пощутся».<sup>6</sup>

К себе как писателю ученый предъявлял строгие требования: «сжатую краткость», «сосредоточение мыслей», «выбор происшествий и примеров». Все это вместе с делением книги на главы, а глав на параграфы помогло Шлёцеру уложить большой материал на семидесяти страницах книжки небольшого формата.

Небольшие размеры статьи не дают возможности остановиться на всех проблемах, затронутых автором. Ограничимся двумя, наиболее сложными. Какова роль человека на земле и какими свойствами он обладает? В чем польза гражданского общества и как оно организовалось?

«Предуготовление к истории» начиналось с традиционного рассказа о сотворении мира. Библейская легенда нужна была автору как методический прием, подводящий десятилетнего ребенка к усвоению сложных понятий. Читая лекции юношеству, Шлёцер избегал говорить «о шести днях творения, об адамовом

<sup>2</sup> Там же, с. VII.

<sup>3</sup> Предуготовление к истории для детей. М., 1788, с. 69.

<sup>4</sup> Введение во всеобщую историю для детей, ч. 1, с. XI.

<sup>5</sup> Там же, с. XVI—XVII.

<sup>6</sup> Там же, с. XIV.

ребре, о Исавовом блюде чечевицы». Главной заботой создателя был человек и его благополучие: «Земля была так устроена, что люди на ней жить и обитать могли». <sup>7</sup> Создав мир, бог уклонился от всякого вмешательства в его дела. Такова была действительская позиция автора. Правителем земли стал наделенный разумом человек: «Могущественная сия тварь, которую разум делает небольшим богом, говорит как творец какому-нибудь болоту: „Да соберутся воды в особенное место, и да будет прочее сухо“, и они собираются. Он говорит полуострову: „Будь островом“, и остров будет». <sup>8</sup>

О созидательной роли человека, о строительстве им целых государств Шлёцер умел иногда рассказать очень образно и наглядно: «Теперь дают голландцы в княжеских дворцах концерты, где прежде в болотах квакали лягушки». <sup>9</sup> «Все сие может человек делать!» — с гордостью восклицал автор. <sup>10</sup>

Библия помогла автору обосновать еще одну идею, особенно ему близкую и дорогую: идею природного равенства людей между собою. Равенство людей, убеждает маленького читателя Шлёцер, является естественным следствием сотворения Адама и Евы. Говоря о равенстве, автор утрачивает присущий ему лаконизм стиля. Речь его приобретает эмоциональный характер: «Благородная девица! прародитель твой также и мой. Его зовут Адам, а не господин Адам. Все царицы твои родственницы, но не гордись — служанка твоя, сия бедная и негодная девка, и готтентотская женщина также твои родственницы. Все люди братья и племянники». <sup>11</sup> «О дуры!» — с презрением восклицал писатель, вспоминая английских купчих, которые «не верят, что их черные невольницы такие же люди, как и они».

Читатели книжки видели вокруг себя людей самых разнообразных характеров и состояний: добрых и злых, умных и глупых, невежд и просвещенных. Многим это казалось вполне естественным и закономерным. Большинство вовсе не задумывалось над этим явлением. Чтобы внушить потомкам «одной пары» мысль о равенстве людей, Шлёцеру пришлось немало потрудиться над сочинением маленького, очень примитивного и вместе с тем не лишённого остроумия рассказа.

Героиней его была сверстница читателей, «белая как снег и пригожая как куколка» принцесса Изабеллушка. Многие люди прислуживали «маленькой твари», делая это из уважения к ее отцу, «но дурочка сия думала, что для нее». Увидав в окно грязных и оборванных ребятишек, она окончательно уверовала в свое превосходство. «Итак, — делилась она мыслями с горничной и волосочесом, — я должна конечно быть другой человек, а не та-

<sup>7</sup> Предуготовление к истории для детей, с. 6.

<sup>8</sup> Там же, с. 11.

<sup>9</sup> Там же, с. 14.

<sup>10</sup> Там же, с. 20.

<sup>11</sup> Там же, с. 7—8.

кой, как сии простые, глупые и негодные люди».<sup>12</sup> Слуги поддакивали маленькой госпоже.

Тогда выступила на сцену наставница, устами которой говорил автор: «Сии простые и замаранные люди такие же точно, как и ты, принцесса! А что касается до того, что вы лучший вид имеете, нежели они, сему не вы причиною, любезное мое дитя! И так не гордитесь сим. <...> Если бы ты, принцесса, выросла между свиньями, то, клянусь тебе, что ты была бы поросенком. Если бы, напротив того, батюшке вашему угодно было вместо вас принять простую девку <...> и воспитывать ее столь же рачительно и с таким попечением, как вас, то сии простые отвратительные и глупые девки были бы столь знатны, разумны и пригожи, как вы».<sup>13</sup>

Шлёцер не отрицал воздействия на человеческий характер климата, природы, одежды, пищи. Но, сын рационалистического века, он больше всего верил в воздействие просвещения и воспитания. На эту тему на страницах книжки рассыпано немало изречений: «Только общение с разумными существами делает ребенка разумным», «Просвещение столь прилипчато, как язва и оспа», «Когда старые люди — воры и разбойники, то будут красть и дети», «Просвещение или варварство зависит единственно от воспитания». Заглядывая в будущее, автор большое место отводил просветительской роли учителя.

Последние главы книги посвящались политическим и социальным вопросам. Среди них центральное место занимала проблема общественного договора. Шлёцер представлял сложность ее для понимания ребенка. Он попытался и здесь найти ниточку, ведущую от детского опыта к научному понятию. Подход велся издалека: «Где много детей вместе, там бывает ссора; где много взрослых, там также заводится ссора в продолжении времени. К первым является папа с розгою, и мир водворяется. Но если подерутся между собою большие люди, целые семейства с семействами, десять семейств на одной стороне с десятью семействами на другой стороне, кто может водворить мир? Никто!».<sup>14</sup> Бывали случаи, когда находился «честный человек», который приходил их мирить, «но что помогут одни слова»? Выход был только один — организация государства, без которого человечество не могло расти и развиваться. Девяносто девять человек из ста должны были избрать из своей среды «честнейшего человека» и сделать его «могучим судьей», т. е. правителем над собой.

Между будущим правителем и гражданами завязывался долгий разговор. Читая его, мы как бы окунаемся в мир детства. Здесь, как и везде, Шлёцер старался держаться на уровне детских представлений. Финал разговора характерен для всего этого забавного по приемам и серьезного по мысли диалога.

<sup>12</sup> Там же, с. 33.

<sup>13</sup> Там же, с. 33—34.

<sup>14</sup> Введение во всеобщую историю для детей, ч. 1, с. 63.

Кандидат в «судьи» колебался. Его страшило непослушание. Избиратели клялись поднять в его защиту все свои кулаки и усмирить непокорного: «Из одного маленького, но разумного человека сделаем мы тебя самым сильным богатырем». «Ну, если так, я согласен, — отвечал «честный человек». — Таким образом сделался он судьёю самовластным, и отселе все пошло спокойнее». <sup>15</sup>

Мир, впрочем, недолго длился. Рядом с «добрым государем», «мощным защитником», «мощным учителем», человеком большого труда и широкого образования, стояли тираны, отравленные сладким ядом богатства и власти. «Такими-то злыми людьми наполнена история».

Сила человеческого разума. Равенство людей. Огромная роль воспитания. Общественный договор. Добрый государь и государь-тиран. В «Предуготовлении к истории для детей» с читателем говорил XVIII век, великий век Просвещения.

Шлёцер взял на себя нелегкую задачу. Сколько труда и мысли было вложено в эту книжку, мы узнаем из слов автора: «Как долго сидел я за этой книжечкою, стыжусь почти и признаться. По целым дням думал я, как иной достойный духовный проповедник за проповедью, *что* я хотел сказать; по другим исследовал, *чего* я не хотел сказать и, наконец, *как* должен сказать». <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Там же, с. 66.

<sup>16</sup> Там же, с. XVIII.

Е. С. КУЛЯБКО, Н. В. СОКОЛОВА

УТРАЧЕННАЯ ПЕРЕПИСКА М. В. ЛОМОНОСОВА  
С ПОЛЬСКИМ ПИАРОМ Е. ЦЯПИНСКИМ

Эпистолярное наследие М. В. Ломоносова всегда привлекало внимание исследователей. Он переписывался со многими известными учеными: Леонардом Эйлером, Даниэлем Бернулли, с французским академиком Ж. А. Нолле и Ш. А. Кондамном, с профессором Лейпцигского университета Готфридом Гейнзиусом, со своим марбургским учителем Христианом Вольфом и др.

Однако интересная переписка ученого сохранилась в очень незначительной части, многие письма Ломоносова известны лишь по его собственному свидетельству и по упоминаниям, встречающимся в письмах других ученых. Круг адресатов и корреспондентов Ломоносова был уточнен в 1948 г. Л. Б. Модзалевским.<sup>1</sup>

Выявление каждого неопубликованного письма Ломоносова является ценным дополнением к творческой биографии ученого и представляет поэтому несомненный научный интерес.

Одним из неизвестных адресатов Ломоносова является польский пиар,<sup>2</sup> поэт и прозаик XVIII в. Ежи Цяпинский (Erzy Ciapiński, 1728—1768). Хотя косвенное упоминание о его переписке с М. В. Ломоносовым содержалось в ряде польских и литовских справочных изданий<sup>3</sup> и библиографических заметках о жизни и деятельности Цяпинского, однако в специальной ломоносовской литературе никаких данных об этой переписке не встречается.

Сведения об этой переписке исходят от Антония Мошинского (Moszyński, 1800—1875), польского писателя, высокообразован-

<sup>1</sup> Сочинения М. В. Ломоносова, т. VIII. М.—Л., 1948, Предисловие.

<sup>2</sup> Впервые появившись в Литве в 1722 г., орден пиаров к середине XVIII в. широко развернул свою деятельность, имел собственную типографию и библиотеку, а его школы, в которых в основном преподавался латинский язык и словесность, стали своеобразными очагами просвещения в Литве.

<sup>3</sup> Słownik Biograficzno-Historyczny Polski, t. 1. Kraków, 1885, s. 379; Wielka Encyklopedia Powszechna ilustrowana, t. XI—XII. Warszawa, 1898, s. 957; Lietuviškoji Encyklopedija, t. 5. Kaunas, 1937, s. 513.

ного человека, члена петербургской Римско-католической духовной коллегии и члена-корреспондента Краковского научного общества, известного своими статьями в области истории и литературы.<sup>4</sup>

Составляя «Дополнения ко второму тому истории польской литературы»<sup>5</sup> профессора Варшавского университета Феликса Бентковского, представляющего собой библиографический перечень польских печатных изданий и других литературных памятников, Мошинский упомянул ряд произведений Цяпинского. В другой своей статье, опубликованной в 1838 г.,<sup>6</sup> Мошинский поместил краткую биографическую справку о Цяпинском, в которой говорилось, что это был известный поэт и прозаик, проповедник Виленского кафедрального собора. Цяпинский писал на латинском языке похвальные слова, оды, панегирики и эпиграммы, которые публиковались на отдельных листах, часто анонимно.

Из произведений Цяпинского наибольшей известностью пользовалась его речь, обращенная к Константину Плятеру (1744),<sup>7</sup> показывающая блестящее риторическое мастерство автора, а также хвалебные оды по случаю коронации Станислава Августа (1764)<sup>8</sup> и в честь графа Антония Прждзецкого, написанные го-рацианским стихотворным размером — так называемой алкеевой строфой.

Одной из традиций ордена пиаров, к которому принадлежал Цяпинский, являлось бесплатное обучение детей и юношества из неимущих слоев населения. По материалам деятельности ордена Цяпинский написал книгу о методах обучения в пиарских школах Литовской провинции.<sup>9</sup>

Цяпинский был великолепным оратором. Его проповеди, произносимые в Виленском соборе, привлекали внимание прихожан своим красноречием и были изданы отдельным сборником. Давая высокую оценку дарования Цяпинского, Мошинский указывает, что с ним состоял в переписке великий русский ученый Ломоносов.

---

<sup>4</sup> Статьи Мошинского печатались в разных периодических изданиях: «Dziennik Wileński», «Wizerunki Naukowe Wileńskie», «Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego» и др. Состоя в ордене пиаров, Мошинский написал ряд очерков по истории пиарских школ и в течение многих лет трудился над жизнеописанием пиаров Литвы.

<sup>5</sup> Moszyński A. Do Historji literatury polskiejy dodatek. — Dziennik, t. 11, Wilno, 1838, s. 86.

<sup>6</sup> Moszyński A. Maciej Dogiel. — Wizerunki i Roztrząsania Naukowe, Wileński, 1825, t. 1, 360.

<sup>7</sup> Gratulatio nuptialis illustrissimo et excellenissimo Domino de Constantino de Broel Plater prefecto Livoniae... Vilnae, 1747.

<sup>8</sup> Ad Serenissimum Stanislaum Augustum Poloniar regem orthodoxum nomeni provinciae litvanae Carmen lyricum. Vilno, 1764.

<sup>9</sup> Ciapiński J. Methodus docendi pro scholis Piss provinciae Litvanae. Wilno, 1762.



Для подтверждения этих литературных сведений мы начали поиски документальных материалов и обнаружили в личном фонде академика А. А. Куника в Архиве Академии наук СССР листок на польском языке, озаглавленный: «Notatka kanonika Moszyńskiego» («Заметка каноника Мошинского»).<sup>10</sup>

Нам удалось установить, что эту заметку Мошинского А. А. Куник получил от библиотекаря Петербургской публичной библиотеки А. Д. Ивановского, к которому он обращался при разыскивании новых материалов для публикации к столетию со дня смерти М. В. Ломоносова в 1865 г.<sup>11</sup>

А. Д. Ивановский, занимавшийся комплектованием книжного собрания Публичной библиотеки, бывал в западных губерниях царства Польского, состоял в переписке со многими польскими деятелями<sup>12</sup> и был лично знаком с Мошинским.

Неизвестные письма Ломоносова не были получены к юбилею, и запросы о них продолжались. В 1867 г. Ивановский сообщал Кунику, что об интересующих его письмах написано декану Заславских римско-католических церквей и предупреждено, чтобы он опекал их и непременно препроводил бы в здешнюю Римско-католическую духовную коллегия. «Это будет исполнено, — добавлял он, — и письма Вам вручат для употребления». <sup>13</sup>

Каким образом письма Ломоносова, адресованные Цяпинскому, могли попасть к монаху Бернардинского монастыря Ленартовичу?

---

<sup>10</sup> Архив АН СССР, ф. 95, оп. 1, № 228, л. 1: «Łomonosow lubił zajmować się literaturą łacińską. W czasach jego sływał na Litwie jako znakomity prozaik i poeta łaciński Jerzy Ciapiński s którym Łomonosow utrzymywał literacką korespondencją i w wielu rzechach zasięgił jego rady. Zmarły niedawno Kazimierz Lenartowicz były profesor Rzymsko-Katol. Duchownej Akademii pokasuwał mi dwa własnoreczne listy Łomonosowa po łacinie pisane do Ciapińskiego; w jednym z tych listow, ile pamiętać mogę, zapytywał Łomonosow o naturę wirszy tak zwanych Horacyańskich i Sa-fickich. Między papierami Lenartowicza zmarłego w Zaslawiu na Wołyniu w klasztorze Bernardyńów powinnyby się znaleźć, i owe dwa listy Łomonosowa». — Перевод: «Ломоносов увлекался латинской литературой. В его время в Литве был известен прозаик и поэт Ежи Цяпинский, с которым Ломоносов поддерживал переписку и во многих случаях пользовался его советами. Умерший недавно Казимир Ленартович, бывший профессор Римско-католической духовной академии, показывал мне два собственноручных письма Ломоносова к Цяпинскому, написанных полатыни. Как я припоминаю, Ломоносов осведомлялся у него о природе так называемых горацянских и сапфических стихов. Среди бумаг Ленартовича, умершего в Заславле на Волыни в Бернардинском монастыре, должны находиться эти два письма Ломоносова».

<sup>11</sup> Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII веке. СПб., 1865, с. 87—200 (Материалы для биографии М. В. Ломоносова).

<sup>12</sup> Переписка Ивановского, в которой имеются письма Мошинского, хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

<sup>13</sup> Архив АН СССР, ф. 95, оп. 1, № 228, л. 2.

Казимир Георгиевич Ленартович (Lenartowicz, 1799—1858) был высокообразованным человеком своего времени. В 1823 г. в Виленском университете ему была присвоена степень кандидата философии,<sup>14</sup> он побывал во Франции и в Германии в целях ознакомления с постановкой образования и воспитания. В 1836 г. он был приглашен для чтения лекций в Виленскую духовную римско-католическую академию. В течение ряда лет он сотрудничал в издании «Wizerunki Naukowe Wileńskie» и написал «Историю ордена пиаров Литовской провинции».<sup>15</sup> Не исключена возможность, что при собирании материалов для своего труда о пиарах он обратился к рукописному наследию покойного пиара Цяпинского, работавшего над близкой ему темой о методах обучения в пиарских школах, где обнаружил присланные письма Ломоносова.

Имя Ломоносова пользовалось широкой известностью в польско-литовских кругах,<sup>16</sup> и его письма, конечно, не могли не заинтересовать Ленартовича, который мог взять их на сохранение.

Когда и по чьей инициативе началась переписка Ломоносова с Цяпинским — ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. В заметке Мошинского сказано, что Ломоносов интересовался природой горацянских и сапфических стихов. Отзыв о поэтическом творчестве Цяпинского по нашей просьбе дал специалист по классической филологии Я. М. Боровский, указавший, что именно блестящее владение риторической техникой как в прозаической, так и в стихотворной речи привлекло внимание Ломоносова к его современнику и легло в основу возникшей между ними переписки.<sup>17</sup> Из этого отзыва видно, что Ломоносов мог с полным основанием рассматривать Цяпинского как «выдающегося представителя поволынской литературы».

В своих черновых заметках, хранящихся в ЛО Архива Академии наук СССР, А. А. Куник высказывает предположение,<sup>18</sup> что Ломоносов обратился к Цяпинскому в связи со статьей В. К. Тредиаковского, опубликованной в 1755 г., и даже указывает те стра-

<sup>14</sup> См.: Рукописный отдел библиотеки Вильнюсского университета, ф. старого Вильнюсского университета КС-145, с. 536—537.

<sup>15</sup> О Ленартовиче см.: Encyclopedija powszechna, t. 16. Warszawa, 1864, s. 856; Wielka Encyclopedya Powszechna ilustrowana, t. XLIII—XLIV. Warszawa, 1909, s. 206.

<sup>16</sup> Еще в 1778 г. на польский язык была переведена «Грамматика» Ломоносова (пер. М. Любович). В 1806 г. в журнале «Dziennik Wileński» была помещена краткая биография Ломоносова, в 1809 г. Ян Дворжецкий издал в Вильнюсе «Основания русского языка, для употребления школьной молодежи из разных авторов и особенно из грамматики Ломоносова собранные». Эта книга вышла вторым изданием в 1811 г. Известный учитель красноречия Виленской семинарии составил для своих учеников краткий конспект «Риторики» Ломоносова, хранящийся в рукописном отделе библиотеки Академии наук Литовской ССР.

<sup>17</sup> Авторы считают своим долгом принести глубокую благодарность Я. М. Боровскому.

<sup>18</sup> Архив АН СССР, ф. 95, оп. 1, № 228, л. 3.

ницы этой работы Третьяковского, где он приводит примеры греческих сапфических строф и латинских горадианских. Куник пишет, что было бы желательно иметь неизвестные письма Ломоносова или получить по крайней мере их точную копию. Вероятно, тем самым, говорит он, мы осветили бы новую сторону литературных отношений Ломоносова к Третьяковскому и Сумарокову.

По нашему мнению, более правдоподобно другое предположение: Ломоносов интересовался мнением Цяпинского о новом латинском стихосложении в связи со своими «Наставлениями», которые он давал по стихотворству студентам академического университета и своему ученику Н. Поповскому, переводившему, как известно, «Искусство поэзии Горация Флакка», вышедшее в свет в 1753 г.<sup>19</sup>

Правдоподобно и то, что Ломоносов мог обратиться к Цяпинскому как к известному виленскому проповеднику, который славился своим красноречием, в связи со своим намерением привести примеры ораторской речи из современных ему риториков в задуманной им второй части «Риторики», называемой «Ораторией».<sup>20</sup>

Наконец, Ломоносов, придававший особо серьезное значение своей просветительской деятельности и стремившийся к демократизации академической школы, мог заинтересоваться пиарскими школами, предназначенными для детей и юношества из неимущих слоев населения, о которых много писал Цяпинский.

Вместе с тем нам кажется необоснованным утверждение С. Янушониса в статье «*Rusijos istorijos mokslo pagrindėjas*»,<sup>21</sup> связывающего переписку Ломоносова с Цяпинским с работой русского ученого над «Древней русской историей».

<sup>19</sup> См.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 10. М.—Л., 1957, с. 388—400.

<sup>20</sup> Там же, с. 390.

<sup>21</sup> См. в кн.: М. Lomonosovas. Vilnius, 1961, s. 80.

А. А. ГОЗЕНПУД

### ЛОМОНОСОВ И ГОЛЬБЕРГ О МУЗЫКЕ

В своей «Риторике» М. В. Ломоносов посвятил несколько параграфов прозаическим и стихотворным повествованиям. Он писал: «Вымыслами называются предложения, которых действительно на свете не бывало, или хотя и были, однако некоторым отменным образом. И посему разделяются вымыслы на чистые и смешенные. Чистые состоят из предложений дел или вещей, которых нет и не бывало, как писал Апулей о золотом осле и Петроний свой Сатирикон. Смешенные вымыслы состоят из правдивых вещей или действий, однако таким образом, что чрез разные выдуманые прибавления и отметины с оными много разнятся. Таковы суть Гомеровы Илиада и Одиссея, Виргилиева Енеида и похождение Телемаково». Роман, повесть или поэма, по определению Ломоносова, — это «цельные вымыслы». Переходя к определению сущности жанра, Ломоносов указывает: «Повестью называем пространное вымышленное чистое или смешенное описание какого-нибудь деяния, которое содержит в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; такова есть Барклаева Аргенида и Телемак Фенелонов».<sup>1</sup>

В новом издании «Риторики» Ломоносов расширил этот перечень произведений, включив в него «Гулливерово путешествие по неизвестным государствам» Свифта, «Лукиановы разговоры», застольные беседы Эразма Роттердамского.<sup>2</sup> Но критерий ценности остался прежним — этическая содержательность. Выше всего Ломоносов ценил «смешенные вымыслы», заключающие «похвалу славных мужей или какие знатные, в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоучение».<sup>3</sup>

Из числа нравоучительных повествований писатель исключил произведения лубочной литературы и французские романы: «Сказки, которые никакого учения добрых нравов и политики

<sup>1</sup> Ломоносов. Стихотворения. Под ред. акад. А. С. Орлова. При участии А. Малеева, П. Беркова и Г. Гуковского. [Л.], 1935, с. 284—286.

<sup>2</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1952, с. 223.

<sup>3</sup> Там же.

не содержат и почти ничем не увеселяют, но только разве своим нескладным плетением на смех приводят, как скаска о Бове, и великая часть Французских Романов, которые все составлены от людей неискусных и время свое тщетно препровождающих».<sup>4</sup>

В новой редакции «Риторики» эта отрицательная характеристика расширена и углублена. Пустые сказки и французские романы, по словам Ломоносова, «иногда только украшением штиля разнятся, а в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях».<sup>5</sup>

Мы не знаем, о каких именно произведениях в «Риторике» идет речь. Было высказано предположение, что Ломоносов имел в виду прежде всего романы Антуана Прево.<sup>6</sup> В библиотеке Ломоносова находились «Превращенный крестьянин» Мариво и роман неизвестного французского автора «Странствующий музыкант» — оба в немецком переводе,<sup>7</sup> но, конечно, круг чтения писателя был обширнее. Все же думается, что, сопоставляя французские любовные романы с «Бовой», Ломоносов имел в виду не только книги Прево и Мариво, но и произведения галантного и авантюрно-галантного жанра, в том числе «Езду в остров любви» Поля Тальмана. Не забудем, что в перечне произведений, данных в «Риторике», наличествует «Аргенида» Баркляя и «Странствия Телемака», также переведенные Тредиаковским. Рекомендуя русским читателям роман Тальмана, он писал, что «сия книга есть сладкие любви» и «подает утеху, сладость и пользу нравоучительную».<sup>8</sup> Прямо или косвенно в определении ценности французского романа Ломоносов полемизировал со своим давним антагонистом.

В суждениях о литературе автор «Риторики» стоял на позициях, отчетливо сформулированных в «Разговорах с Анакреоном»:

Мне струны поневоле  
Звучат геройский шум,  
Не возмущайте боле,  
Любовны мысли, ум;  
Хоть нежности сердечной  
В любви я не лишен;  
Героев славой вечной  
Я больше восхищен.<sup>9</sup>

Симпатии Ломоносова в сфере романа были безоговорочно отданы произведениям, несущим высокие нравственные, полити-

<sup>4</sup> Ломоносов. Стихотворения, с. 286.

<sup>5</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 223.

<sup>6</sup> См.: Серман И. З. Становление и развитие романа в русской литературе XVII века. — В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.—Л., 1959, с. 85.

<sup>7</sup> Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961, с. 332.

<sup>8</sup> Тредиаковский В. К. Сочинения, т. 3. СПб., 1849, с. 649.

<sup>9</sup> Ломоносов. Стихотворения, с. 215—216.

ческие, философские идеи и бичующим общественные пороки. К названным в «Риторике» произведениям этого рода мы можем присоединить «Дон-Кихота» Сервантеса и «Комическую историю государств и империй Луны» Сирано де Бержерака.<sup>10</sup>

Вероятно, Ломоносову были известны и некоторые другие произведения, в том числе утопические романы, фантастические путешествия в неведомые страны. В ряду книг подобного рода, которые Ломоносов знал и которые, пользуясь его определением, можно было бы отнести к «смешанным вымыслам», мы встречаем сатирический роман Людвига Гольберга «Подземное путешествие Нильса Клима», написанный на латинском языке и изданный в 1741 г. Ломоносов мог его прочитать либо в оригинале, либо в немецком переводе. Русский перевод вышел в свет только в 1762 г.

Мы не знаем, в какой мере Ломоносову было известно творчество датского современника, чья разносторонняя ученая и писательская деятельность являет своеобразную аналогию собственной его деятельности. Все свои силы Гольберг посвятил делу просвещения, ярко проявив себя в разных областях науки, в том числе философии, истории, географии. Гольберг занимался и вопросами богословия и метафизики, которой, по словам современников, нанес смертельный удар. Гольберг, как и Ломоносов, был просветителем-деистом.

Самую ценную часть творческого наследия Гольберга, сохранившую на сегодня не только историческое, но эстетическое значение, составляют его сатирические произведения — комедии, поныне не сходящие с датской сцены, названный выше роман и поэма «Педер Порс». Широкая популярность этих произведений, их многочисленные переводы позволяют высказать предположение, что Ломоносов мог знать не только «Нильса Клима». Имя Гольберга было названо Тредиаковским в полемике с Сумароковым, о которой Ломоносов конечно знал.<sup>11</sup> Ироническое прозвание «Штивелиус», которым Сумароков наделил Тредиаковского, восходящее к немецким переводам Гольберга, встречается и у Ломоносова. Страстная вера в могущество знания, ненависть к педантизму, схоластике, пропизывающие творчество датского писателя, также роднят его с Ломоносовым. Гольберг принадлежал к тем западным писателям, которые относились с глубокой симпатией и интересом к России и Петру I. Это также должно было привлечь к нему внимание Ломоносова. К тому же русский писатель интересовался Скапдинавией и ее историей. В его библиотеке находились труды Саксона Грамматика, Олофа Далина, Эрпольда Линденброга, Эрика Понтопидана, Снорре Стурлезона, Торфеуса

<sup>10</sup> Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова, с. 320, 323.

<sup>11</sup> Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. М.—Л., 1936, с. 94—96.

Тормода и др.<sup>12</sup> Возможно, что Ломоносову были известны и исторические труды Гольберга.

В «Грамматике» Ломоносова есть упоминание имени датского писателя, связанное с одним эпизодом «Подземного путешествия Нильса Клима». Для того чтобы понять смысл данного упоминания, необходимо остановиться на этом своеобразном произведении. В нем Гольберг, описав фантастические приключения бергенского студента под землей, создал злую сатиру на современную Европу, высмеял несправедливый общественный строй, захватнические войны, невежество, педантизм. Гольберг в своей книге широко использовал литературную традицию, прежде всего произведения Лукиана, Свифта, Сирано де Бержерака, писателей, хорошо известных Ломоносову. И он несомненно воспринимал датского писателя в контексте этой традиции.

Один из эпизодов книги посвящен поездке Нильса Клима в страну, населенную музыкальными инструментами. Этот эпизод и привлек внимание Ломоносова.

Переводчик, приставленный к Нильсу Климу и его спутникам, зная о том, что аборигены не понимают человеческой речи, захватил с собой бассон (фагот), дабы с его помощью вступить с ними в переговоры. Жители сбегаются на призывные звуки бассона. По описанию Нильса Клима, они «состав свой имели следующий: наверху шея была у них длинная с маленькою головою, а самое тело, тонкое и сухое, сверху нежною, некоторою коркою покрытое, так что между означенною коркою и телом остальное место все было пусто. Над пупом брюха их от природы положена кобылка с четырьмя струнами, а весь оной состав опирался только на одну ногу, так что все они, одною ногою перескакивая, великою скоростию хождение свое исправлять могли. Словом сказать: по всему виду истинными инструментами почитать их должно, кроме только одной той отмены, что они имели плечи и руки, из которых одною держали смычок, а другою перебирали струны. Толмач наш, позывая в разговор оных жителей, на носимом с собою инструменте начал изрядным искусством играть и тотчас таким же образом чрез голос струн получил ответ, так что они, взаимным образом долговременно переигрываясь, должности чувств изображали. Сначала играли они только одно *Ададжо*, весьма гармонично, но после тотчас пошла у них *разногласица*, которая для ушей была неприятна. Но наконец вся музыка сошла на сладкогласное и приятное *престо*. Что услышав, товарищи мои весьма обрадовались, сказывая, что чрез то о цене товаров учинен стовор». Как оказалось, первое ададжи означало приветствия, разногласица обозначала спор о цене, а «сладкогласное престо» — «благополучную в товарах размену».<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова (см. по указателю).

<sup>13</sup> Роман Гольберга цитируется по изданию: Подземное путешествие, представляющее историю разнородных с удивительными и неслыханными

Гольберг подробно описал жизнь музыкальной страны. Нарушение закона карается «отнятием смычка», что равносильно смертной казни. На судебном процессе истец и ответчик, «вместо речей, по струнам, вдоль по брюху у них протянутым, водили смычками, издавая чрез них свой голос». Прения сторон выразились в музыкальной разногласице, «так что в проворстве и оборотности рук их все у них красноречие состояло». Судья прекратил какофонию и сыграл адажио, означавшее приговор, и служители правосудия отняли у осужденного смычок.

Нильс Клим сообщает подробности о системе воспитания, принятой в музыкальной стране. Детям «по то время не даются смычки, пока они не придут в возраст трех лет, а как на четвертый год переступят, то посылают их в школы, где бы они от учителей могли быть поставлены, как им проводом и отводом смычка должно струн своих издавать голос, то есть, по нашему речению, грамоте обучаться».<sup>14</sup>

Все описание выдержано в юмористическом духе. Для Гольберга, убежденного рационалиста, возможность общения людей с помощью музыки являлась абсурдом. Сферы музыки и языка разделяла непреодолимая преграда.

Взгляд Ломоносова был неизмеримо шире, хотя он в отличие от Гольберга не был музыкантом.

В «Российском грамматике» мы находим следующие строки: «Вымышленные от Голберга в земли живущие люди, когда бы действительно были и имели бы вместо органов, к произнесению слова служащих, на груди своей струны, то могли бы оными свободно изображать и с другими сообщать свои мысли».<sup>15</sup>

Ломоносов не просто ссылается на Гольберга, но полемизирует с ним. Рассказ Нильса Клима должен доказать нелепость замены звуками музыки слов, обозначающих понятия. Для Ломоносова выражение музыкой чувств и представлений вполне возможно. Звуки музыкальные условны, как и звуки речи. Люди, не знающие языка страны, в которую они попадают, беспомощны в большей мере, нежели спутники Нильса Клима. Зная законы музыкальной речи и знаки, ее выражающие, человек способен понять, что хочет сказать его собеседник. Именно это и подчеркнул Ломоносов, заметив, что фантастические персонажи Гольберга могли бы с помощью струн «свободно изображать и с другими сообщать свои мысли».

Конечно, слова Ломоносова нельзя понимать буквально как утверждение адекватности словесной речи и речи музыкальной.

---

свойствами животных, також образцов житья и домостроительства оных, которое, с чудными и разноцреватными похождениями чрез двенадцать лет отправя, наконец в Копенгагене на латинском языке на свет издал Николай Клим, бергенский студент, подземный герой и после бывшей бергенской же крестовой кирхи пономарь. СПб., 1762, с. 283—284.

<sup>14</sup> Там же, с. 284—285.

<sup>15</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7, с. 396.



Великий ученый имел в виду общность, а не тождество. Высота звука, интервалика, сила, акцент (ударение), темп, сочетание тонов позволяют слушателю понять, что хочет сказать музыкант. Для Ломоносова между музыкой и словом существовала не только внешняя, но и внутренняя связь. Но для того чтобы понимать музыку (как и другие искусства), необходимо знать законы, ею управляющие.

Самое звучание слов и отдельных гласных, по Ломоносову, имеет выразительное значение, особенно в пении:

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,  
Дабы на букве *А* всех доле остояться,  
На *Е*, на *О* притом умеренность иметь,  
Чрез *У* и через *И* с поспешностью лететь  
Чтоб оным нежному была приятность слуху,  
А сими не принесть несносной скуки уху

В музыке что распева, то над словами сила,  
Природа нас блюсти закон сей научила<sup>16</sup>

Таким образом, мелодия (распев) сообщает слову особую энергию и силу. Мы знаем, какое внимание уделял Ломоносов эвфонии стиха. О выразительности музыки писал он в стихотворении, посвященном роговому оркестру.

Кажущееся мимолетным замечание в «Российской грамматике» свидетельствует о том, что каждое замечание и каждая ссылка в теоретических работах Ломоносова требуют историко-литературного комментария, без которого их смысл может остаться непроявленным для современного читателя. Ломоносовское обращение к сатирическому роману датского писателя открывает нам еще одну сферу интересов Ломоносова, о которой мы до сих пор почти ничего не знаем. Его полемика с Гольбергом предвосхищает некоторые положения, высказанные представителями музыкальной эстетики второй половины XVIII столетия.

---

<sup>16</sup> Ломоносов, Стихотворения, с. 234

В. Д. РАК

**ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК СТИХОТВОРЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА  
«СЛУЧИЛИСЬ ВМЕСТЕ ДВА АСТРОНОМА В ПИРУ...»**

В комментарии к академическому собранию сочинений М. В. Ломоносова утверждается со ссылкой на Д. Д. Благого, что источником стихотворения «Случились вместе два астронома в пиру...» было следующее шутливое замечание Сирано де Бержерака: «Было бы одинаково смешно думать, что это великое светило [солнце] станет вращаться вокруг точки, до которой ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного цыпленка, что вокруг него вертелась печь».<sup>1</sup> Это предположение было первоначально встречено согласием,<sup>2</sup> однако недавно М. П. Алексеев высказал сомнение в его убедительности.<sup>3</sup> Действительно, непосредственный источник М. В. Ломоносова мог быть иным.

В «Реестре купленным доселе книгам», содержащемся в рапорте в Академию наук об учебных занятиях в Марбурге (15 октября 1738 г.), значится, в частности, «Nouvelle grammaire royale. Berlin, 1736», в которой легко опознается очень популярная в XVIII в., выдержавшая бесчисленные переиздания грамматика французского языка Жана Робера де Пеплие.<sup>4</sup> Этот учебник, переводившийся позднее и на русский язык,<sup>5</sup> Ломоносов дважды рекомендовал для употребления в русских гимназиях.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8. М.—Л., 1959, с. 1124—1125; Сирано де Бержерак С. Иной свет, или Государства и империи Луны. Ред. и вступ. статья В. И. Невского. М.—Л., 1931, с. 137.

<sup>2</sup> Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961, с. 320—321; Ломоносов М. В. Избр. произв. Вступ. статья, подг. текста и примеч. А. А. Морозова. М.—Л., 1965 (Библиотека поэта. Большая серия), с. 543.

<sup>3</sup> Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 52—53, прим. 110.

<sup>4</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 10, с. 371.

<sup>5</sup> Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800, т. 2. М., 1964, с. 394—395.

<sup>6</sup> В проекте регламента московских гимназий (1755): «§ 56. Французскому языку обучать по „Грамматике“ Пеплиеровой». В проекте регламента

По обычаю того времени, грамматика Пеплие содержала подборку занимательных анекдотов, предлагавшихся в качестве легкого чтения для учащихся. Один из этих анекдотов, по-видимому, и был переложен Ломоносовым в стихи: «Когда некий молодой математик заявил в одной компании, что обращается солнце, а не земля, и хотел уйти, один насмешник ему сказал: „Сударь, задержитесь еще ненадолго, потому что я хочу доказать вам обратное тому, что вы утверждали. Вы знаете, что солнце дает жизнь всему на земле, все согревает и жарит“.<sup>7</sup> — „Согласен“, — ответил математик. — „Следовательно, — продолжал тот, — обращается земля, а не солнце, потому что когда я жарю на вертеле куропатку, то вращается она, а не огонь“ — „Это сравнение кажется правдоподобным, — ответил математик, — но очень далеко от того, что считают многие великие люди, а также от истины, и я могу назвать сотни ученых авторов, которые убедительно доказали справедливость этого мнения (об обращении солнца вокруг земли, — В. Р.)“ — „Может быть“, — возразил насмешник, — но разве не справедливо, что истина находится в вине?“ — „Думаю, что так“, — ответил математик. — „Тогда, — продолжал тот, — обращается земля, а не солнце, потому что если вы хорошенько напьетесь, то увидите, что земля вращается“».<sup>8</sup>

Учебник Пеплие вышел первым изданием, очевидно, в конце 80-х годов XVII в.,<sup>9</sup> и этот анекдот был заимствован автором уже в готовом виде из какого-то не указанного им источника. В почти идентичной редакции этот анекдот встречается приблизительно десятью годами ранее в учебнике французского языка Менюдье.<sup>10</sup> Далее его истоки пока теряются в неизвестности, но он, по-видимому, родился гораздо раньше, и, очевидно, именно его использовал Сирано де Бержерак.

На русский язык этот анекдот был переведен Н. Г. Кургановым и напечатан в «Письмовнике» под № 3 с присовокуплением

---

академической гимназии (1758): «§ 42. Французский язык следует учить по „Грамматике“ Пеплие» (см.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 9, с. 459, 495).

<sup>7</sup> В подлиннике — *cuit* («варит, жарит»). Помимо основного значения, согласного с последующим рассуждением о куропатке, это слово имеет, по-видимому, здесь также дополнительное значение: «выращивает», «дает созреть» и т. п.

<sup>8</sup> *Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande, Neue und vollkommene Königliche Frantzösische Grammatica... bishero unter dem Namen Hn. des Pêpliers... herausgegeben... Aufs neue übersehen und verbessert.* Berlin, 1736, S. 410.

<sup>9</sup> Первое известное нам издание: *Grammaire royale françoise et allemande... écrite par Mr. Jean Robert des Pêliers... Gedruckt nach dem Parisischen Exemplar.* Berlin, 1689. Первое известное нам издание, включающее анекдоты: *Essay d'une parfaite grammaire royale françoise, Das ist Vollkommene königliche frantzösische Grammatica... Ed. 4, auctior et correctior.* Berlin, 1696.

<sup>10</sup> *Menudier J. Le secret d'apprendre la langue françoise en riant, contenant en près de deux cents contes divertissans...* Jena, 1681, p. 569—573, № 145 (переиздание: Jena, 1693).

стихотворения Ломоносова. Очевидно, это сочетание было вызвано не только тематическим единством. Курганов, участвовавший под руководством Ломоносова в наблюдениях за Венерой 26 мая 1761 г., по-видимому, знал, из какого источника была взята тема для стихотворения, написанного в те же дни. Возможно, и сам Курганов, подбирая и переводя «краткие замысловатые повести» для «Письмовника», обратился к «Грамматике» Пеплие. Во всяком случае, в ней содержится 93 анекдота, включенных в «Письмовник».<sup>11</sup>

Кроме этого анекдота в учебнике Пеплие Ломоносов мог также прочесть приписываемое Карлу V изречение о четырех европейских языках: «Carolus Quintus sagte, er wollte reden: Spanisch mit Gott, Italiänisch mit seinen Freunden, Teutsch mit seinem Feinde, Französisch mit dem Frauenzimmer».<sup>12</sup> По всей вероятности, в предисловии к «Российской грамматике» воспроизведен именно этот вариант изречения, так как фраза Ломоносова<sup>13</sup> соответствует ему более точно, нежели варианту Д. Бугура и П. Бейля, который принято считать ее источником.<sup>14</sup> Небольшое различие могло быть результатом или сознательного изменения, произведенного самим Ломоносовым, или контаминации с одним из многочисленных вариантов этого изречения. Вполне вероятно, например, что Ломоносов знал и другие издания учебника Пеплие, а в ряде из них изречение Карла V приводилось в несколько ином виде.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Вопрос об источниках «Письмовника» автор предполагает изложить в отдельной статье.

<sup>12</sup> Nouvelle et parfaite grammaire..., S. 380.

<sup>13</sup> «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелем, итальянским — с женским полом говорить прилично» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7, с. 391).

<sup>14</sup> Там же, с. 862.

<sup>15</sup> Например: «Carolus Quintus sagte, er wolte reden Teutsch mit einem Kriegsmanne, Französisch mit einem guten Freunde, Italiänisch mit seiner Liebsten, Spanisch mit Gott». — В кн.: La parfaite grammaire royale françoise et allemande, Das ist: Volkommene Königl. Französ. Teutsche Grammatica... verfasst vom Des Pepliers... verbessert und vermehret vom Pierre Rondeau. Leipzig, 1735, S. 373. Ср. это изречение в кн.: Gayot de Pitaval F. Bibliothèque des gens de cour..., t. 3. Paris, 1726, p. 37; Gayot de Pitaval F. Bibliothèque de cour, de ville et de campagne..., t. 3. Paris, 1746, p. 34; стихотворные варианты в кн.: Elite des bons mots et des pensées choisies, recueillies avec soin des plus célèbres auteurs, et principalement des livres en ANA, P. I. Amsterdam, 1726, p. 308—309.

Д. М. Ш А Р Ы П К И Н

СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ В. А. ЛЁВШИНА  
«О ИСПОЛИНЕ СТЕРКАТЕРЕ»

П. Н. Берков в статье «Литературные энциклопедии на русском языке»<sup>1</sup> высоко оценил широту и универсальность фольклористических и литературных увлечений В. А. Лёвшина. Этот весьма разносторонний и эрудированный литератор проявлял известный интерес и к скандинавской культуре — мифологии, «баснословию и дееписанию» средневекового Севера. Как и многие его современники, Лёвшин понимал, что в сагах и скальдических поэмах можно отыскать не только экзотические сюжеты и поэтические красоты; эти произведения затрагивали важные и наиболее загадочные вопросы российской истории. Каковы были отношения между древней Русью и Скандинавией? Какую роль сыграли северные викинги в процессе образования Российского государства? На вопросы эти невозможно было ответить, не обратившись к памятникам древнескандинавской литературы.

В эпоху преромантических веяний Лёвшина интересовала народная словесность и связанные с ее постижением историко-культурные и эстетические проблемы народознания. В русской литературе того времени постепенно складывался принцип обязательности художественного изображения «местного колорита», заходила ли речь об обитателях собственного отечества или самых отдаленных стран. Естественно, что особенное внимание русских читателей привлекала культура народов, населяющих сопредельные России земли, таких, по словам В. А. Лёвшина, «кои хотя все почти состоят или состояли в пределах <...> отечества, но ныне уже под другими названиями, или места их запяты обитателями и именами новыми, а старые истребились в памяти».<sup>2</sup>

В 6-й части «Русских сказок, содержащих древнейшие повествования о славных богатырях» (1780—1783) В. В. Сиповский,

<sup>1</sup> См.: Берков П. Н. Литературные энциклопедии на русском языке (XVIII—XIX вв.). (Библиографический обзор). — Труды Инст. книги, документа, письма, вып. III, Л., 1934, с. 15—42.

<sup>2</sup> Лёвшин В. А. Вечерние часы, или Древние сказки славян древлещских, ч. I. М., 1787, с. 4.

ошибочно приписавший эти сказки М. Д. Чулкову, встретил «Повесть о Исполине Стеркатере», сюжет которой, как заявил исследователь, взят «из скандинавской мифологии». Литературный источник этой сказки остался Сиповскому неизвестным, он писал: «Проф. Ф. А. Браун любезно помог мне в попытках определить этого Стеркатера. По его указанию, Стеркатер (Starkadr) — популярный герой скандинавского (датского) эпоса. Главный источник о нем — Саксон Грамматик (кн. 6—8) <...> Историки, на которых ссылается Чулков, точно так же все существовали <...> „Олай Великий“ — шведский историк XVI в. — Olaus Magnus <...> Понтан — датский историк J. J. Pontanus, написавший сочинение „Regum Danicorum historia“ (Amst. 1631).

Эти любопытные справки, за которые приношу свою благодарность глубокоуважаемому Ф. А. Брауну, не объясняют, однако, каким образом Стеркатер попал к Чулкову: очевидно, ни Саксона Грамматика, ни Олая, ни Понтана наш романист не читал, а, вероятно, извлек рассказ о Стеркатере из какого-нибудь „исторического труда“ XVIII-го века, или из лексиконов мифов <...> Мне не удалось открыть этого источника».<sup>3</sup>

Теперь, когда мы знаем, что «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования», составил не Чулков, а Лёвшин,<sup>4</sup> человек, несомненно более образованный, можно допустить, что составитель действительно читал, как он сам об этом сказал, «о сем Исполине <...> во сочинениях Олая Великого, Сакса и Понтана».<sup>5</sup> Книжки эти имелись в библиотеке Академии наук, с ними был основательно знаком М. В. Ломоносов.<sup>6</sup> Много интересного фольклорного материала Лёвшин мог бы отыскать в знаменитой латинской хронике Саксона Грамматика (1140—1208) «История датчан» («Danorum historiae libri XVI...», Hafniae, 1514). Не менее содержательен и труд шведского епископа Олауса Магнуса «История северных народов» («Historia de gentibus septentriona-

<sup>3</sup> Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1 (XVIII век). СПб., 1909, с. 229; о Стеркатере см.: Веселовский А. Wisinnus Саксона Грамматика и Соловей Разбойник. — Журнал Министерства народного просвещения, ч. ССXLII, 1885, ноябрь, с. 196—198. — На русский язык переведена также драма датского писателя Адама Эленшлегера «Старкотер» (пер. Б. Дерикера: Библиотека для чтения, т. 41, 1840, с. 35—146, отд. «Русская словесность»).

<sup>4</sup> См.: Шкловский В. Чулков и Лёвшин. Л., 1933, с. 148.

<sup>5</sup> [Лёвшин В. А.] Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся, чрез пересказывания, в памяти приключения. М., 1780—1783, ч. 6, с. 73. — По словам М. К. Азадовского, «первые русские собиратели и исследователи фольклора были вполне в курсе всего, что происходило в этой области в западноевропейской литературе. Они были прекрасно знакомы со всеми классическими трудами ранних европейских фольклористов и ученых, в той или иной мере выдвигавших проблемы фольклора: им были известны и Перси, и Гердер, и немецкие романтики, и Нибур, и деятели молодой исторической школы во Франции» (Азадовский М. К. История русской фольклористики. Ч. I. М., 1958, с. 26).

<sup>6</sup> См.: Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961.

libus», Romae, 1555), оказавший влияние на историографию и художественную литературу барокко в европейских странах.

Но вероятнее всего, что Лёвшин не прибегал к этим сочинениям. Все, что ему нужно было знать о скандинавском исполине, русский фольклорист имел возможность почерпнуть в «Истории Государства Дании» знаменитого датского просветителя, писателя и ученого Людвиг Гольберга, широко известного в России комедиографа, баснописца и романиста-сатирика. Историю эту («Danmarks Riges Historiae». 1—3, Kjøbenhavn, 1732—1735; существовало и несколько немецких ее переводов), в которой Гольберг обобщил и систематизировал большое количество фактических данных о древнем периоде жизни его родины, перевел на русский язык Я. П. Козельский.<sup>7</sup> В предисловии переводчик всячески рекомендовал Гольберга как прекрасного историка, который сообщаемые им сведения «собрал <...> из многих датских и других писателей и с прилежным испытанием их верности привел в одно сочинение».<sup>8</sup>

Подобно русским просветителям, историографам и публицистам антинорманистского толка (и Лёвшину в том числе), Гольберг, осуждая воинственную агрессивность варягов, «норманских дел не полагал за наилучшее украшение датской истории».<sup>9</sup> Гольберг не одобрял простонародные «суеверия» и «баснословия», но не погнушался рассказать о них. Он подчеркивал, «что не все Саксоновы басни презирать должно, что многие из них <...> так же важны быть могут, как греческие и египетские басни».<sup>10</sup> В «Истории Датской» имеются выдержки и из Олауса Магнуса и Понтана, на которых ссылался В. А. Лёвшин.

Русский фольклорист пересказал многое из того, что датский историк написал о «славном бойце Штерк Оддере, или, по объявлению других, Штарк Атере, о коего храбрых делах почти не вероятное объявляют».<sup>11</sup> У Гольберга этот герой «будто бы <...> изжил век против трех человек»,<sup>12</sup> а у Лёвшина Стерктер «жил на свете 309 лет».<sup>13</sup> Вот как Гольберг рисует жестокую битву между войсками датского короля Гаральда Гильдетанда и шведского короля Ринга: «Сражение происходило с великою жестокостию пока на конец Датчане с своим королем и генералом были побиты <...> Саксон говорит, что славной герой и притом стихотворец Штерк Оддер был на сей баталии <...> но кажется, что о сем датском Штерке Оддере то же должно думать, что и

<sup>7</sup> История Датская, сочиненная господином Голбергом, которую сократил и приписал к ней свои примечания артиллерий капитан Яков Козельский. Части I—II. СПб., 1765.

<sup>8</sup> Там же, ч. I, с. 1.

<sup>9</sup> Там же, с. 57.

<sup>10</sup> Там же, с. 119.

<sup>11</sup> Там же, с. 101.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> [Лёвшин В. А.] Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях..., ч. 6, с. 73.

о греческом Геркулесе»<sup>14</sup> В повести Левшина об этом говорится весьма сходным образом «Стеркатор особенно прославился в войне, которую вел готфский король Ринго противу коданского короля Оралда с пролитием с обеих сторон многой крови Во оной войне был он со стороны готфов, но не взирая на то, победа досталась недешево < > Кажется, что северные народы почти тают сего Исполина своим Ираклом, что отдают почти божескую честь его славе»<sup>15</sup>

Гольберг писал об обычаях древних скандинавов: «Главнейшая их добродетель состояла в том, чтобы умирать с обнаженным мечом в руках против неприятеля; чего ради многие из них скучившись жизнью, и невидев никакова случая, чтоб принести ее на жертву за свое отечество, прашивали своих друзей чтоб они их убили, дабы им не умереть поносным образом на постеле Славныи Штерк Оддер изъясняется о том у Саксона сими словами не уж ли я, которой весь свет потряс поражением, умру спокойною смертию?»<sup>16</sup> У Левшина Стеркатор ведет себя аналогичным образом. «Я побежден, — вскричал он < > со стенанием — Я не хочу, чтоб возымел я последний стыд умереть естественною смертию»; а сам повествователь прибавляет «Древние Готфские богатыри и прочие витязи вменяли себе в великой стыд умереть естественною смертию, или в болезни; для чего предупреждали сие, повелевая оруженосцам своим убивать себя».<sup>17</sup>

В А. Левшин, сочиняя «Повесть о Исполине Стеркаторе», пытался создать национальный русский сказочный сюжет. При этом он действовал в духе своего времени составленная им авантюрная фабула эклектически соединяет элементы волшебной сказки и героического эпоса, былины и так называемой романтической саги, т е рыцарского романа, выросшего на скандинавской национально-исторической почве и впитавшего литературные традиции родовой саги со свойственной ей эпической идеализацией богатырей-викингов и концентрацией действия вокруг трагической гибели доблестного героя от руки сильнейшего противника<sup>18</sup>

<sup>14</sup> История Датская, сочиненная господином Голбергом , ч I, с 111

<sup>15</sup> [Левшин В А] Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях , ч 6, с 81—82

<sup>16</sup> История Датская, сочиненная господином Голбергом , ч II, с 2 — «Сие происходило отчасти от прежде описанной их веры, а отчасти от похвалительных пиитических песен и других награждений за храбрость» (там же, с 2—3), на что Я Козельский заметил «Из сего ясно видеть можно, какая тогда грубость и невежество были в датчанах, так что они не знали никакого другого состояния в общем житии человеческом, как только одно военное» (там же, с 3)

<sup>17</sup> [Левшин В А] Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях , ч 6, с 82—83

<sup>18</sup> См. Стеблин-Каменский М И Исландская литература Л, 1947, с 24



В двух сказочных повестях Лёвшина, связанных единством действия, — «О коне Златокопыте и мече Самосеке» и «О Исполине Стеркатере» — говорится о похождениях славного русского богатыря Звенислава в «землях ливонов, вендских готов, кимвров и коданов». Проехав большую часть «областей готфских», богатырь прослышал «о Исполине Стеркатере, и сие вперило непреодолимую охоту в нашего богатыря искать оного и с ним сразиться».<sup>19</sup> Не тщеславие рыцаря, но чувство патриотического долга обуревает русского богатыря. «Звенислав <...> вспомнил о слышанном нападении сего Исполипа на одного русского государя; отмстить хотя старинную обиду своего отечества было для него весьма приятно».<sup>20</sup>

В описании внешности Стеркатера, а также подвигов, совершенных им до роковой для него встречи со Звениславом, особенно сказались непоследовательность и эклектизм Лёвшина: образ скандинавского исполипа двойтся. С одной стороны, это варяг-разбойник и завоеватель, варвар и дикарь. «Стеркатер имел рост, подобный высокому дубу, и вооружен был мечем, сходствующим более за длинную доску, чем за оружие».<sup>21</sup> Обитал он «по большей части под открытым небом» и имел обыкновение выходить «на чистое поле», садился «на холме противу воющего самого холодного ветра и снега, вздуваемого метелью», раздевался «до нага, равно как бы было то весной, или летом, и очищал белье свое от насекомых».<sup>22</sup> Он «с флотом готфским ходил на славян русских» и «возвратился с знатною добычею сухим путем; но сия победа была выгодна только одному ему; ибо все готфы побиты от храбрых русов и корабли их сожжены».<sup>23</sup>

Но тут же выясняется, что, несмотря на все это, Стеркатер — благородный и достойный Звенислава соперник, а некоторые его подвиги (уничтожение чудовища, имевшего «девять голов и стан львиный» и выходившего из моря «для пожирания людей и стад»; убийство тирана, «дерзостнейшим образом насильствовавшего знаменитых жен пред очами их супругов») приличествуют эпическому герою. Со Звениславом Стеркатер куртуазно любезен и обходителен, но российский богатырь оказывается и сильнее, и благороднее: «Стеркатер заревел страшным голосом и столько озлился, что, бросясь на Звенислава, хотел задавить оного; но богатырь упрел сие вторым ударом обуха Самосека и сбил Стеркатера с ног. Соверша сию победу, не думал он покуситься на жизнь низложенного, а для того влагал меч свой в ножны».<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> [Лёвшин В. А.] Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях. . . , ч. 6, с. 63.

<sup>20</sup> Там же, с. 66.

<sup>21</sup> Там же, с. 67.

<sup>22</sup> Там же, с. 78.

<sup>23</sup> Там же, с. 74.

<sup>24</sup> Там же, с. 69.

Так в русской литературе обрисовался образ варяга-викинга — за несколько лет до появления в переводе Ф. Моисенкова (1787) «Введения в Историю Датскую» Поля-Анри Малле,<sup>25</sup> за десятилетие до того, как русские стихотворцы (Н. А. Львов, И. Ф. Богданович, П. Ю. Львов и др.) стали перелагать скальдические поэмы («Песнь Гаральда Смелого», «Смертную песнь Рагнара Лодброка» и т. п.).

Сказка Лёвшипа «О Исполине Стеркатере» послужила, как нам представляется, одним из литературных источников поэмы А. Н. Радищева «Песни, петье на состязаниях в честь древним славянским божествам» (1800—1802), где нарисована эпическая картина битвы древних россиян с «кельтами»-варягами. Ими предводительствует «лютый» и «суровый» Ингвар:

Высок, дебел и смугл, а очи малы...  
Рука его была как ветвь претолста  
И суквата ветвь огромна дуба;  
Увесиста, широка длань.  
Был глас его подобен  
Рычанию вола свирепа...<sup>26</sup>

Радищев преодолел эклектизм Лёвшина: в радищевском изображении предводитель варягов, некогда растоптавших славянскую вольность и погубивших республиканский Новгород, однозначно отрицателен. Ингвар и внешностью, и повадками, и «диким и суровым гласом», и вооружением не случайно напоминает Стеркатера. Этот последний — полубог, нечто вроде северного Геракла. Екатерина II в своем «Историческом представлении о Рюрике» (1787) выводила происхождение первых российских самодержцев «от рода Одина, которого Север обожает, и сына его Ингваря».<sup>27</sup> Сын верховного скандинавского божества и прародитель русской монархической династии представлен у Радищева палачом России. Радищев, возвеличивая вслед за Ломоносовым героические подвиги изначально вольных россиян и оспаривая норманистов монархического направления, опирался на отечественные литературно-сказочные традиции.

---

<sup>25</sup> С этой книгой (Mallet P.-A. Introduction à l'Histoire du Danemarck, vol. 1—2. Copenhagen, 1755—1756) образованные русские читатели были знакомы и до Моисенкова, но у Малле интересующий нас сюжет не развит.

<sup>26</sup> Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 64—65.

<sup>27</sup> Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина, т. II. СПб., 1904, с. 243.

М. П. А Л Е К С Е Е В

### ДЕРЖАВИН И СОНЕТЫ ШЕКСПИРА

В «Анакреонтических песнях» (1804) Г. Р. Державина впервые появилось его стихотворение «Горячий ключ», написанное за несколько лет перед тем — в 1797 г.; затем оно воспроизводилось во всех собраниях его сочинений, начиная с издания 1808 г., в составе его анакреонтического цикла, и было хорошо известно русским читателям. Напомним текст этого небольшого стихотворения об Амуре (Купидоне), заснувшем в тенистой роще, и о нимфах, окунувших его факел в соседний источник:

#### Г о р я ч и й к л ю ч

Под свесом шумных тополовых  
Кустов, в тени, Кипридин сын  
Покоился у вод перловых,  
Биющих с гор, и факел с ним  
Лежал в траве, чуть-чуть куряся.  
Пришли тут нимфы и, дивяся,  
«Что нам! — сказали, — как с ним быть?  
Дай в воду, в воду потопить!  
А с ним и огонь, чем все сгорают!»  
И вот! — кипит ключ пеной весь;  
С купающихся нимф стекают  
Горящие струи поднесь.

Среди многих параллелей, которые это стихотворение имеет в различных литературах Западной Европы, наибольшей известностью пользуются два сонета Шекспира (153-й и 154-й), написанные на ту же тему. Сходство «Горячего ключа» Державина с указанными английскими сонетами настолько велико, что безусловно требует особого объяснения. Стоит воспроизвести здесь также оба сонета Шекспира, чтобы удостовериться в тематической близости к ним «Горячего ключа» Державина. Мы цитируем их ниже в русских переводах С. Маршака, поскольку английских подлинников этих сонетов Державин знать не мог и даже едва ли знал что-либо об их авторе.

Первый из указанных сонетов Шекспира (№ 153) начинается следующими стихами:

Cupid laid by his brand, and fell asleep;  
A maid of Dian's this advantage found,  
And his love-kindling fire did quickly steep  
In a cold-valley fountain of that ground...

В близком к оригиналу стихотворном переводе С. Маршака он звучит так:

Бог Купидон дремал в тиши лесной,  
А нимфа юная у Купидона  
Взяла горящий факел смоляной  
И опустила в ручеек студеной.

Огонь погас, а в ручейке вода  
Нагрелась, забурилась, закипела.  
И вот больные сходятся туда  
Лечить купаньем немощное тело.

А между тем любви лукавый бог  
Добыл огонь из глаз моей подруги  
И сердце мне для опыта поджег.  
О, как с тех пор томят меня недуги!

Но исцелить их может не ручей,  
А тот же яд — огонь ее очей.

Тема о холодном источнике, закипевшем от опущенного в него факела бога любви, очевидно, настолько увлекла Шекспира, что он обработал ее еще раз для своего лирического сборника в следующем по порядку сонете (№ 154). «Горячий ключ» Державина еще ближе к тексту этого сонета, чем к предшествующему ему. В подлиннике он начинается следующими известными стихами.

The little Love-god lying once asleep;  
Laid by his side his heart-inflaming brand...

Воспроизводим ниже точно следующий оригиналу перевод С. Маршака:

Божок любви под дерево прилег,  
Швырнув на землю факел свой горящий  
Увидев, что уснул коварный бог,  
Решились нимфы выбежать из чащи.

Одна из них приблизилась к огню,  
Который девам бед наделал много,  
И в воду окунула головню,  
Обезоружив дремлющего бога.

Вода потока стала горячей.  
Она лечила многие недуги.  
И я ходил купаться в тот ручей,  
Чтоб излечиться от любви к подруге.

Любовь нагрела воду, — но вода  
Любви не охлаждала никогда.<sup>1</sup>

Чем объясняется сразу же бросающаяся в глаза неожиданная, но тем более интригующая близость стихотворения Державина к указанным сонетам Шекспира? Говорить о «случайном» сходстве этих произведений, — при паличии в каждом из них

<sup>1</sup> Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака. М., 1948, с. 173—174.

всех основных определяющих тему признаков и реалий, — не приходится: сходство между литературными произведениями, вообще говоря, лишь в редких случаях может быть обусловлено случайными совпадениями. О прямом или опосредствованном знакомстве русского поэта в конце XVIII в. с сонетами Шекспира, естественно, также речи быть не может: к этому времени эти сонеты ни на своей родине, ни в других западноевропейских литературах широкой известностью еще не пользовались. Отсюда явствует, что для указанных двух английских и русского стихотворений следует найти общий источник.

Поиски этого источника, как для Шекспира, так и для Державина, шли медленно, своими особыми, ни разу не пересекавшимися путями; между тем они скорее привели бы к ощутительному результату, если бы исследователи происхождения сонетов Шекспира могли бы заглянуть в разыскания о стихотворениях Державина; в последних источник его «Горячего ключа» был точно определен почти на полстолетия раньше, чем тот же источник для сонетов 153 и 154.

В начале 1830-х годов молодой петербургский филолог-классик В. С. Печерин, увлеченный занятиями греческой Антологией, поместил в петербургском альманахе «Комета Белы», изданном В. Н. Семеновым, несколько эпиграмм, заимствованных им из этой Антологии, в своем стихотворном переводе. Среди них напечатана также и следующая эпиграмма:

#### Горячий ключ

Здесь, под яворов тенью, Эрот почивал утомленный,

В сладком сне, к ключёвым Нимфам свой факел склонив,

Нимфы шептали друг дружке: «Что медлим? погасим светильник!

С ним погаснет огонь, сердце палящий людей!»

Но светильник и воды зажег: с той поры и поныне

Нимфы, любовью горя, воды кипящие льют.<sup>2</sup>

Никаких пояснений к настоящему тексту в «Комете Белы» не имеется. Публикуя этот свой перевод, В. С. Печерин не назвал автора эпиграммы, с именем которого она занесена в «Палатинскую Антологию», тогда как при переводах других эпиграмм, напечатанных в том же альманахе, авторы их обозначены. Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что в переводе Печерина данная эпиграмма имеет заглавие, совпадающее с заглавием стихотворения Державина, тогда как в греческом подлиннике оно отсутствует. Не значит ли это, что для своего перевода В. С. Печерин пользовался, помимо греческого оригинала эпиграммы, каким-либо переводом ее на один из новых западноевропейских языков, тем самым, какой был в руках у Державина?

<sup>2</sup> Печерин В. Из греческой Антологии. — В кн.: Комета Белы. Альманах на 1833 год. СПб., 1833, с. 255—256; об этом альманахе см.: Смирнов-Сокольский Ник. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв. М., 1965, с. 181 (№ 402).

Несколько лет спустя, с еще бóльшим рвением и увлеченностью занимаясь той же греческой Антологией, В. С. Печерин напечатал (на этот раз анонимно) в журнале П. А. Плетнева «Современник» свою статью «О греческой эпиграмме», представлявшую собой отрывок из той диссертации, которую он предполагал представить Московскому университету.<sup>3</sup> В этой статье В. С. Печерина мы вновь находим ту же переведенную им эпиграмму о роднике, в который нимфы окунули факел Эрота; здесь она напечатана с некоторыми поправками, но без заглавия, зато с именем ее греческого автора — Мариана Схоластика (писателя V—VI в. н. э.), столь изящно и пластически объяснившего в своем стихотворении «происхождение горячего ключа».<sup>4</sup> Далее, в той же статье, Печерин говорит о переводах греческой антологии и в этой связи называет прежде всего Державина: «Что скажем о переводах из греческой Антологии на русский язык? Изредка только мелькают у наших поэтов переводы греческих эпиграмм, и те не с подлинника. У Державина, который так удачно умел передать нам на отечественном языке всю прелесть од Анакреона, паходим только две пьесы, заимствованные из Антологии. Первая — „Горячий ключ“ есть перевод эпиграммы Мариана Схоластика».<sup>5</sup> Вопросы о том, откуда, через посредство каких промежуточных звеньев Державину могла стать известной эпиграмма Мариана Схоластика, В. С. Печерин себе не ставил.

Указанием В. С. Печерина воспользовался Я. К. Грот в комментарии к «Горячему ключу»; он привел греческий подлинник этой эпиграммы из «Палатинской Антологии» и русский прозаический

<sup>3</sup> О греческой эпиграмме. — Современник, 1838, т. XII, с. 72—88.

<sup>4</sup> В тексте «Современника» (с. 76) в переводе эпиграммы Мариана Схоластика изменен 2-й стих: вместо «В сладком сне, к ключевым нимфам свой факел склонив», мы читаем здесь: «К нимфам струящихся вод факел горящий склопив»; в следующем стихе вопрос «Что медлим?» изменен на «Что медлить?». С учетом этих вариантов данный перевод перепечатан полностью Е. Бобровым в приложении к статье «Литературная деятельность В. С. Печерина» («Переводы Печерина из греческой антологии») в его книге «Литература и просвещение в России XIX века» (т. IV. Казань, 1902, с. 12), а затем еще раз, в соответствии с автографической рукописью переводчика, в кн.: Гершензон М. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910, с. 23. В недавнее время в русской печати появился еще один перевод той же эпиграммы, сделанный с греческого оригинала и принадлежащий перу Л. Блуменау:

Здесь под навесом платанов однажды Эрот утомленный  
Сладким покоился сном, нимфам свой факел отдав.  
Нимфы сказали друг дружке: «Что медлим? Погасим скорее  
Факел, а с ним и огонь, смертным палящий сердца!»  
Пламя, однако, и воды зажгло. И купальщикам нимфы  
Эротиады с тех пор воду горячую льют.

(См. сб.: Греческая эпиграмма. М., 1960, с. 285).

<sup>5</sup> [В. С. Печерин.] О греческой эпиграмме, с. 87. — О другом переводе Державина из греческой Антологии Печерин замечает здесь же: «Вто-

ческий ее перевод.<sup>6</sup> Однако и Я. К. Грот в комментарии к «Горячему ключу» не высказал никаких соображений по поводу того, как текст греческой эпиграммы стал известен Державину: вопрос о переводах эпиграммы Мариана Схоластика на новые западноевропейские языки, до перевода Державина, в литературе о русском поэте оставался неосвещенным.

Происхождение двух указанных выше сонетов Шекспира, как и других образцов его лирического творчества, вызвало долгие обсуждения и споры, не приводившие, однако, к ощутительным результатам. На более реальную почву эти споры перенесены были в 1878 г., когда появилась статья немецкого исследователя В. Хертцберга «Греческий источник сонетов Шекспира». Он указал здесь на ту самую эпиграмму Мариана Схоластика, которую, как мы видели, В. Печерин считал первоисточником «Горячего ключа» Державина.<sup>7</sup> Неясным, впрочем, осталось, откуда эта эпиграмма могла стать известной Шекспиру, тем более, что издания греческой Антологии и ее переводы довольно многочисленны и текстологически очень запутанны. Надо при этом также иметь в виду, что хотя отдельное издание «Сонетов» Шекспира впервые выпущено было в 1609 г. (по-видимому, без участия автора), но создание их обычно относится условно к десятилетию между 1590 и 1600 годами.<sup>8</sup> В подлинном греческом тексте эпиграмма Мариана Схоластика была впервые напечатана в IV книге

рая, составляющая первую половину стихотворения „Спящий Эрот“, заимствована из отрывка, приписываемого Платону Философу (210-я эпигр. 4 книги Anthol. Planud.), так что все главные черты прекрасной картины, изображающей спящего Эрота, принадлежат древнему поэту; последняя половина этого стихотворения есть 30-я ода Анакреона с некоторыми только изменениями. Соединение двух греческих стихотворений в одно прекрасное целое заставляет удивляться искусству нашего поэта» (там же, с. 87). Известно, что мотив о «спящем Эроте» (Амуре) заимствован западноевропейской анакреонтической поэзией XVIII в. именно из греческой антологии. Например, Аусфельд (F. Ausfeld. Die deutsche Anacreontische Dichtung des 18. Jahrh. Strassbourg, 1907 (Quellen und Forschungen, Heft 101), S. 44) ссылается на стих. Глейма («Amor schlafend» и его французские образцы у Удара де ла Мотта (Houdard de la Motte — «L'Amour réveillé») и у Берпи (Bernis — «L'Amour et les nymphes. Ode anacréontique»).

<sup>6</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. II. СПб., 1865, с. 129. — Приводим этот прозаический перевод для удобства сопоставлений его со всеми прочими: «Здесь, под яворами, уснул сладким сном изнуренный Эрот, положив возле нимф факел. Нимфы же друг другу сказали: Что медлим? Потушить бы нам вместе с этим огонь человеческого сердца! Но когда от факела зажглась и вода, то Эротовы нимфы стали черпать оттуда для купанья горячую воду».

<sup>7</sup> Hertzberg W. Eine griechische Quelle zu Shakespeare's Sonnetten. — Jahrbuch d. Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Jhg. XIII, Weimar, 1878, S. 158—162.

<sup>8</sup> См.: Halliday Frank Ernest. A Shakespeare Companion. London, 1952, p. 607 (сонеты Шекспира датированы временем между 1592 и 1597—1598 гг.); Pearson Lu Emily. Elisabethan Love Conventions. Berkeley, Calif., 1933, p. 260; Schaar Claes. Elisabethan Sonnet Themes and the Dating of Shakespeare «Sonnets». Lund, 1962, p. 12, и др.

греческой Антологии (гл. XIX, эпигр. 35), изданной Иоанном Ласкарисом во Флоренции в 1494 г.; до 1600 г. это издание перепечатывалось десять раз (полный перевод не появлялся до 1603 г.); более исправный ее список, составленный в X в. (Константином Кефалою), был обнаружен лишь в 1606 г. в Гейдельбергской «Палатинской библиотеке» (откуда происходит и ее название «Anthologia Palatina», интересующая нас эпиграмма находится здесь в кн. IX, 627).

Так как ничто не свидетельствует о знакомстве Шекспира с древнегреческим языком, а с другой стороны, представляется маловероятным, чтобы он, даже имея о нем представление, был бы в состоянии выбрать себе для перевода или пересказа эпиграмму на этом языке в середине большой книги, заключающей в себе около трех тысяч эпиграмм, — оставалось предположить, что эпиграмма Мариана Схоластика стала известной Шекспиру не в оригинале, а в каком-либо переводе, например латинском или итальянском.

Попытки обнаружить такой перевод предпринимались неоднократно.<sup>9</sup> Полный и тщательный пересмотр этого вопроса произвел Джеймс Хаттон, известный своими исследованиями о судьбе греческой антологии в новоевропейских литературах — итальянской, французской, нидерландской — до конца XVIII в.<sup>10</sup> Собранные Хаттоном параллели к двум шекспировским сонетам (№№ 153 и 154) довольно многочисленны; он привел в своей статье около двух десятков стихотворений в различных жанрах, созданных на многих языках, и сопоставил их друг с другом:<sup>11</sup> среди них оказались и переводы греческой эпиграммы, и подражания ей, и всевозможные стихотворные вариации на тему об источнике, ставшем горячим от погруженного в него факела бога любви. По наблюдениям Хаттона, популярность этой темы становится очевидной в конце XVI в. К этому времени она получила и географическую локализацию, приуроченную к курортной местности Байи неподалеку от Неаполя; еще в древности Байи славились своими термами и лечебными минеральными источниками; их воспел еще Гораций.

Все рассмотренные Хаттоном произведения на указанную тему в той или иной степени восходят к Мариану Схоластику, но большею частью значительно отклоняются от своего образца. Уже

<sup>9</sup> Dowden E. The Sonnets of William Shakespeare. London, 1881, p. 305; Wolff M. J. Zu den Sonetten. — Jahrbuch d. Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, Bd. XLVII, Berlin, 1911, S. 191—192, и др.

<sup>10</sup> Hutton James. 1) The Greek Anthology in Italy to the year 1800 (Cornell Studies in English, v. XXIII). Ithaca—N. Y., 1935; 2) The Greek Anthology in France and in the Latin Writers of the Netherlands to the Year 1800 (Cornell Studies in Classical Philology, v. XXVIII). Ithaca—N. Y., 1946.

<sup>11</sup> Hutton James. Analogues of Shakespeare's sonnets 153—154. Contributions of the History of a theme. — Modern Philology, 1941, v. XXXVIII, p. 385—403.



первое латинское четверостишие, приписанное некоему поэту Регианусу (Regianus или Regianus), сопоставлявшееся с обоими сонетами Шекспира, в действительности не является переводом греческой эпиграммы, хотя оно и возникло одновременно с ней (ок. V века н. э.); здесь уже названы Байи (litora Baiæ) как место действия. Родственна четверостишию Региануса латинская эпиграмма француза Пьера Питу (Pithou), помещенная в его «*Epigrammata et poemata vetera*» (Paris, 1589—1590), латинская поэма Никколо д'Аркó, обнаруженная в флорентийской рукописи XV в. Свободной вариацией на ту же тему являются латинское стихотворение Джироламо Анджелиано о купальне возлюбленной («*De Caelia Balneo*» в его «*Erotopaegnon*», Firenze, 1512) и небольшое французское, приписанное (вероятно, ошибочно) Меллену де Сен-Желе (Mellin de Saint Gelais). Хаттон приходит к заключению, что единственным латинским переводом интересующей нас греческой эпиграммы в это время может быть назван тот, который выполнен Фаусто Сабео из Брешии в его «*Epigrammata*» (Roma, 1556); этот поэт-гуманист, бывший библиотекарем Ватикана и другом Микеланджело, озаглавил этот перевод «*In Balneum Dictum Erotæ*», добавив: «*E greco*». Все остальные стихотворения являются подражаниями или вольными пересказами темы, ставшей традиционной и устойчивой: таковы, например, итальянское стихотворение «*Tradotto da M. Statio Romano de l'Acque di Baia*», помещенное в книге: «*Versi e regole de la nuova poesia toscana*», изданной Клаудио Толемеи (Рим, 1539); произведение немецкого новолатинского поэта Иоганна Штигеля, друга Меланхтона, о Купидоне, задремавшем в Байях («*De Cupidine ad Baias Dormiente*»); отзвуки этой традиционной темы есть и у Ронсара (в его «*Stances de la fontaine d'Hélène*»), и в итальянских «*Rime*» (Венеция, 1577) Луиджи Грото, и в 27-м сонете Дж. Флетчера (в его «*Licia*», 1593), и у французского поэта Жана Гризеля (в его «*Premières œuvres poétiques*», 1599), и т. д.

Все эти разнородные и разноязычные произведения составляют тот густой литературный фон, на котором выделяются блистающие свежими красками два сонета Шекспира. Однако эти сонеты, может быть именно вследствие своей тематической традиционности, не причисляются к его лучшим созданиям в стихотворной форме: сонеты 153—154 называются «традиционными упражнениями» (conventional exercises)<sup>12</sup> или «традиционными изощренными сравнениями с факелом Купидона» (conventional Cupid's brand conceit).<sup>13</sup>

Возвратимся теперь к вопросу, который уже был затронут выше: из какой книги и в каком обликии эпиграмма Мариана Схо-

<sup>12</sup> Sampson G. The Concise Cambridge History of English Literature. Cambridge, 1953, p. 272.

<sup>13</sup> Schaar Claes. Elisabethan Sonnet Themes and the Dating of Shakespeare's «Sonnets», p. 188.

ластика стала известной Державину? Изучая переводы Г. Р. Державина из Пиндара, Б. И. Коплан справедливо заметил: «Державин не знал греческого языка. Это обстоятельство препятствовало его непосредственному общению с любимыми греческими поэтами. В письме к А. Ф. Негри от 26 августа 1815 г. Державин высказал свое страстное желание, к его великому сожалению не осуществившееся, „уметь по-гречески, дабы собирать сладость с греческих писателей“ (Соч. Державина, т. VI, стр. 323). Но довольно хорошее знание немецкого языка, полученное им в детстве, дало ему возможность пользоваться немецким переводом с греческого оригинала. Кроме того, на помощь ему являлись подстрочные переводы с греческого на русский язык, знавшие классические языки».<sup>14</sup> Приведенные соображения заставили Б. И. Коплана согласиться с мнением Я. К. Грота, что при передаче од Пиндара Державин пользовался переложениями их на немецкий язык, выполненными Ф. Гедике.

Очевидно, что эпиграмма Мариана Схоластика дошла до Державина аналогичным путем. Все перечисленные выше (на основании подборки в статье Хаттона) переводы и подражания этой эпиграмме Державину не могли быть известны: до второстепенных писателей Западной Европы второй половины XVI в. (в том числе и немецких) эрудиция Державина не доходила; равным образом в данном случае его ученые друзья едва ли могли быть его помощниками или интерпретаторами греческой антологии в оригинале; ею заинтересовались в России на два десятилетия позже. Посредником оказались для Державина переводы греческих эпиграмм, сделанные Гердером. Стоит попутно отметить, что именно из сочинений Гердера В. Хертцберг получил первый импульс для поисков греческого источника двух сонетов Шекспира и что в результате это привело исследователя к отысканию эпиграммы Мариана Схоластика в «Палатинской Антологии».<sup>15</sup>

В известной брошюре «О греческой антологии» (СПб., 1820), написанной К. Н. Батюшковым совместно с С. С. Уваровым, с которой началась у нас популярность античной «эпиграмматической» поэзии, между прочим сказано: «Не мы одни, русские, мало занимались Антолигиею. В Германии, в сей колыбели филологии, прежде Гердера никто не помышлял о красотах и до-

<sup>14</sup> Коплан Б. И. Переводы Г. Р. Державина из Пиндара. — В кн.: *Sertum Biblioticum* в честь... проф. А. И. Маленна. Пб., 1922, с. 155—156.

<sup>15</sup> В. Хертцберг (*Hertzberg W. Eine griechische Quelle zu Shakespeare's Sonetten*, S. 158) указал на сочинение Гердера «*Ideen zur Geschichte und Kritik der bildenen Künste*», в котором его внимание обратило на себя место, где Гердер восклицает: «Что может быть прелестнее спящего ребенка? Искусство и эпиграмма также очень восхищались дремлющим Амуром». В последующих строках Гердер, основываясь на античной эпиграмматической традиции, говорит, что, по мнению древних, не стоило доверяться Амуру, даже находившемуся во сне: «Его факел погрузит в источник, чтобы он погас, а факел разгорится и в воде и превратит источник в купальню любви». Прочтя это место у Гердера,

стоинстве оной».<sup>16</sup> Позднее В. С. Печерин, говоря о «важнейших переводах греческих эпиграмм на другие языки», вспомнил прежде всего именно о Гердере и писал: «В германской литературе почетное место занимают Гердеровы прекрасные переводы, изданные вместе с подлинником. Впрочем, переводами в собственном смысле их назвать нельзя: в них часто бывает изменен настоящий смысл подлинника для того, чтобы удовлетворить требованиям современного вкуса, без чего, конечно, некоторые эпиграммы не могли бы для нас быть совершенно понятными».<sup>17</sup> Я. К. Грот в свою очередь говорил о немецких переводах Гердера как о возможных источниках подражаний древним Державина и упомянул в этой связи даже «Горячий ключ»; правда, это указание Я. К. Грота носило попутный характер и сделано было не в комментарии к «Горячему ключу», а в другом месте издания; к тому же Грот высказал его лишь в виде предположения. В примечании к стихотворению Державина «Геркулес» (1798) Грот писал, что первоначальной мыслью о нем русский поэт «обязан переводу или подражанию из греческой Антологии». «Вероятно, в руках его (Державина) была изданная Гердером (во второй раз в 1791 г.) книжка таких подражаний под заглавием „Blumen aus der griechischer Anthologie“. Кажется, он пользовался ею, потому что в ней встречаются многие из тех стихотворений Антологии, которые перелагал Державин, хотя в частности и не заметно, чтобы он следовал именно Гердеру». Далее Грот назвал ряд таких переводов Гердера с греческого, которыми мог воспользоваться Державин; среди них упомянут и «Горячий ключ».<sup>18</sup> Эта догадка Грота долгое время не обращала на себя внимание и не подвергалась проверке. Лишь в 1957 г. специальную работу о той роли, которую сыграло наследие Гердера в творчестве Державина как лирика и переводчика, опубликовал К. Биттнер;<sup>19</sup> здесь, в частности, приведен подробный анно-

Херцберг тотчас же вспомнил сонеты Шекспира, стал листать греческую антологию и в конце концов нашел здесь эпиграмму Мариана Схоластика, которую Гердер и сам перевел в своих «Цветах из греческой антологии». Отметим, однако, что при этом на сонеты Шекспира Гердер не ссылается.

<sup>16</sup> Б а т ю ш к о в К. Соч. под ред. Л. Н. Майкова, т. I, кн. II. СПб., 1887, с. 423; см. также статью Н. А. Чистяковой «Из истории изучения древнегреческой эпиграммы в России» (в кн.: Античность и современность. К 80-летию Ф. А. Петровского. М., 1972, с. 472—476). Ко всему сказанному здесь о возникновении популярности греческой Антологии в России добавим еще указания на статью С. И. Соболевского «Стихотворение А. С. Пушкина «Глухой глухого звал» (Докл. АН СССР, сер. В, 1930, № 1, с. 1—3), в которой речь идет об эпиграмме Никарха в «Палатинской Антологии» (XI, 251) и подражаниях ей во французской и немецкой литературах.

<sup>17</sup> [В. Печерин]. О греческой эпиграмме, с. 86.

<sup>18</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. II, с. 179—180.

<sup>19</sup> Bittner K. J. C. Herder und G. K. Deržavin. — In: Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sinn. Festschrift für 80 Geburtstag von Ernst Otto. Berlin, 1957, S. 188—215.

тированный<sup>19</sup> перечень всех переводов Гердера, которые Державин положил в основу собственных стихотворных переложений; упомянут также и перевод эпиграммы Мариана Схоластика в пятой книге гердеровских «Blumen aus der griechischen Anthologie», где назван «Der warme Quell».<sup>20</sup> Сопоставление русского текста Державина с немецким не оставляет никаких сомнений в том, что именно этим источником Державин воспользовался при создании своего «Горячего ключа». К такому заключению пришел и К. Биттнер, писавший: «Державин весьма близок к Гердеру и следует ему во всем своем изображении; он перенимает у Гердера также заключительные стихотворные строки, которые действуют живее, чем греческий оригинал».<sup>21</sup> Приводим перевод Гердера, чтобы это наблюдение сделалось более наглядным:

### Der warme Quell

Unter dem Ahorn lag einst in lieblichem Schlummer  
Amor: die Fackel lag neben die Quelle gesenkt.  
Siehe, da sprachen die Nymphen: «Was sollen wir thum mit der Fackel?  
Löschten wollen wir sie! kühlen der Sterblichen Herz!»  
Und sie tauchten sie nieder; da mischten sich Wellen und Liebe;  
Liebende Nymphen, ihr strömt selber nun wallende Glut.<sup>22</sup>

Разумеется, между текстами Державина и Гердера есть и некоторые расхождения, но они малосущественны (так, например, вместо «платанов» в греческом подлиннике и «яворов» в переводе В. С. Печерина, у Гердера стоят «клены», а у Державина — «тополи»); известно также, что, подобно Гердеру, Державин защищал право переводчика отклоняться от подлинника: «Поэзию на другой язык с такою же красотою перелить не можно. . . всего лучше, держась издали плана и мыслей, подражать только духу творца, приноравливая чувства свои к нему».<sup>23</sup> И все же отрицать близкое знакомство Державина при создании «Горячего ключа» с «Der warme Quell» Гердера невозможно.

Таким образом, Державин написал «Горячий ключ», ничего не зная о сонетах Шекспира. Тем не менее у них оказался общий источник. Как ни трудно бывает порою установить причину сходства между отдельными литературными произведениями разных язычных литератур, следует в каждом случае в первую очередь предполагать прямое или опосредствованное воздействие одного из этих произведений на другое: случайность самозарождения почти исключена, о какой бы эпохе литературной жизни ни шла речь.

<sup>20</sup> Ibid., S. 200.

<sup>21</sup> J. G. v. Herders Sämmtliche Werke, Bd. 20. Stuttgart und Tübingen, 1853, S. 60.

<sup>22</sup> Herders Sämmtliche Werke, Bd. 26. Herausgegeben von Bernhard Suphan. Berlin, 1882, S. 50.

<sup>23</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. VI, с. 326.

Ю. Д. ЛЕВИН

### ИНКЛ И ЯРИКО В РОССИИ

Над горестной историей индианки Ярико (Yarico) в XVIII в. проливалась слезы вся просвещенная Европа. Первым поведал о ней еще в предыдущем столетии английский путешественник Ричард Лигон. В своей «Истории острова Барбадос» (1657) он рассказал о встреченной там красивой рабыне-индианке. В прошлом она спасла английского юношу, скрывавшегося в лесу после того, как отряд колонизаторов, в котором он находился, был разгромлен индейцами. Она спрятала его от своих соплеменников в пещере и кормила, пока их не подобрал английский корабль, направлявшийся к Барбадосу. «Однако юноша, сойдя на берег в Барбадосе, позабыл доброту бедной девушки, которая рисковала своей жизнью ради его благополучия, и продал в рабство ту, которая родилась такой же свободной, как и он. И вот так бедная Ярико расплатилась свободой за свою любовь».<sup>1</sup>

Краткий рассказ Лигона (около двадцати строк) спустя полвека привлек внимание Ричарда Стиля, и он пересказал его в 11-м номере издававшегося им совместно с Аддисоном журнала «Зритель» («The Spectator», № 11, 1711, March 13). Историю Ярико (со ссылкой на Лигона) излагает здесь светская дама Ариэтта, доказывающая в споре с собеседником моральное превосходство женщин над мужчинами. Рассказ Ариэтты расширен почти в четыре раза по сравнению с первоисточником, в нем впервые появилось имя героя Томас Инкл (Inkle), и история обогатилась рядом частных деталей. Р. Стиль подчеркивал искренность чувства девушки и противостоящее ему буржуазное своекорыстие юноши, которому еще отец внушил «любовь к барыщу». И если, скрываясь в лесу, он действительно любил свою спасительницу, то, вернувшись в общество своих сограждан, сразу же стал сокрушаться по поводу того, «какой значительной прибыли лишился он за время, проведенное с Ярико», и это толкает его на вероломный поступок. Стиль ввел красноречивую деталь: желая

<sup>1</sup> Ligon Richard True and exact history of the island Barbados London 1657, p 55.

умилостивить своего любовника, Ярико признается, что она беременна от него, но это побуждает Инкла только повысить цену за нее.

«Зритель» пользовался большой популярностью: многократно переиздавался и переводился на европейские языки, и через него история Инкла и Ярико стала широко известна. Внутренний ее пафос — осуждение рабства и идея равенства людей независимо от расы и социального положения. Кроме того, сюжет таил в себе возможность сентименталистского осмысления, противопоставляющего естественную нравственную красоту дикарки низости цивилизованного европейца. Начиная с 30-х годов XVIII в. сперва в Англии, а затем на континенте появляются одна за другой различные обработки этого сюжета. В Англии вышло в свет несколько поэм, сообщавших рассказу из «Зрителя» новые подробности. Распространена была форма послания к Инклу от Ярико, скорбящей о своей участи, по типу Овидиевых героид.

Из двух десятков немецких подражаний наибольшее значение имели три произведения с идентичным заглавием «Инкл и Ярико», принадлежавшие Кристиану Фюрхтеготту Геллерту и швейцарцам Иоганну Якобу Бодмеру и Саломону Геснеру. Геллерт в небольшой поэме 1746 г. довольно точно пересказал сюжет Стиля, усилив его чувственные моменты и закончив гневной инвективой по адресу Инкла, «варвара, подобного которому не было на свете». Бодмер аналогично построил свою поэму 1756 г., написанную гекзаметром, но добавил к истории новый конец: добрый работоровец сжалился над несчастной девушкой и отпустил ее на волю. В том же году Геснер написал прозаическое продолжение к поэме Бодмера: Инкл раскаялся в своем злодеянии и, пережив многие злоключения, под конец соединился с Ярико, которая его простила.

Из французских произведений, вдохновленных историей Инкла и Ярико, отметим одноактную стихотворную комедию «Молодая индианка» («La jeune indienne», 1764) Себастьяна-Рока-Никола Шамфора, одного из идеологов Французской революции, в то время еще начинающего писателя. Действие комедии происходит в английской колонии в Северной Америке. Молодой англичанин Белтон возвращается к своим соотечественникам с индианкой Бети, которая спасла его после кораблекрушения и полюбила. Белтон намерен покинуть Бети, хоть и любит ее, и жениться на англичанке Арабелле, с детства нареченной ему невестой: это единственный способ для него поправить свои расстроенные дела. Но вмешательство отца Арабеллы, который пленился душевной чистотой и красотой Бети и дал ей щедрое приданое, приводит пьесу к счастливой развязке.

Проникнутая руссоистскими идеями, «Молодая индианка» пользовалась известностью и, по-видимому, оказала влияние на английского драматурга Джорджа Кольмана Младшего; написав на сюжет Стиля пьесу «Инкл и Ярико» (1787), он придал ей бла-

гополучное окончание по примеру Шамфора. Пьеса имела песенные вставки, музыку к которым сочинил композитор Самюэль Арнольд (из-за чего она часто называется оперой), и она с успехом исполнялась в Лондоне.

История европейского распространения сюжета Инкла и Ярико неоднократно привлекала внимание исследователей. Американский профессор Лоренс Марсден Прайс посвятил даже этому вопросу небольшую монографию «Альбом Инкла и Ярико».<sup>2</sup> Прайс исследовал английские, французские, немецкие и швейцарские произведения и учитывал их переводы на другие языки. В приложенной к книге библиографии упоминаются три русских перевода: два — «Зрителя» № 11 и один — поэмы Геллерта.<sup>3</sup> Сведения эти далеки от полноты и к тому же содержат ошибки.<sup>4</sup> Ниже мы постараемся осветить действительную судьбу Инкла и Ярико на русской почве.<sup>5</sup>

Впервые их история появилась по-русски в 1762 г. как «Перевод из аглинского Спектатора, лист 11», помещенный в петербургском академическом журнале.<sup>6</sup> В соответствии с направлением «Сочинений и переводов», издатель которых Г. Ф. Миллер придерживался умеренно просветительских взглядов,<sup>7</sup> здесь часто печатались материалы из английских моралистических журналов, в основном правоучительные рассуждения, аллегории и притчи. На этом фоне «Зритель» № 11, содержащий повествовательный материал, был исключением, и, возможно, издателя привлекла не столько сама история, сколько общая мораль очерка, который был переведен полностью (т. е. с характеристикой Ариэтты и изложением ее спора). Перевод, однако, как показывает сличение текста, делался не с оригинала, а с довольно точного немецкого перевода, изданного в 1739—1743 гг. под заглавием «Der Zu-

<sup>2</sup> Price L. M. *Inkle and Yarico album*. Berkeley, 1937; см. также: Usteri P. *Inkel und Yariko*. — *Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen*, Bd. CXXII, 1909, S. 358—368; Bissel B. *The American Indian in English Literature of the eighteenth century*. New Haven, 1925, p. 138—140, 197—199; Fairchild H. N. *The noble savage*. N. Y., 1928, p. 80—86, 302—303, 411, 478—480. — Первая попытка собрать материал: Schmid Ch. H. *Ueber die Dichter die Geschichte von Inkle und Yariko bearbeitet haben*. — *Deutsche Monatsschrift*, 1799, S. 145—160.

<sup>3</sup> См.: Price L. M. *Inkle and Yarico album*, p. 156, 164.

<sup>4</sup> Прайс неверно указал год публикации перевода «Зрителя» № 11 в «Сочинениях и переводах к пользе и увеселению служащих» (1759 вместо 1762), а также ошибочно определил «Всякую всячину» № 14 как перевод того же очерка из «Зрителя» — в действительности там помещен частичный перевод «Зрителя» № 15.

<sup>5</sup> Отчасти эта тема затронута нами в статье «Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века» (в кн.: *Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы*. Л., 1967, с. 33, 42, 73—74).

<sup>6</sup> *Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие*, 1762, ноябрь, с. 469—476.

<sup>7</sup> См.: Берков П. Н. *История русской журналистики XVIII века*. М.—Л., 1952, с. 102.

schauer».<sup>8</sup> Имя русского переводчика не указано. Им мог быть В. И. Лебедев (1716—1771), товарищ Ломоносова по Славяно-греко-латинской академии, который затем воспитывался при Академии наук и в 1740 г. стал академическим переводчиком. Он действительно сотрудничал в «Сочинениях и переводах», помещая там, в частности, статьи из журналов Стиля и Аддисона, переведенные с немецкого за незнанием английского языка.<sup>9</sup>

Совершенно иной характер носил следующий русский перевод «Зрителя» № 11, напечатанный полтора года спустя под заглавием «История о некотором купце» с подписью «Переведено из Спектатора» в московском журнале «Доброе намерение».<sup>10</sup> Переводчик и здесь не был обозначен, но им несомненно являлся Михайло Пермский (ум. 1770), один из главных сотрудников журнала, который ранее провел два года в Англии в качестве дьячка церкви русского посольства, и, по словам Н. И. Новикова, «обучась там совершенно аглинскому языку, возвратился в 1760 году в Россию».<sup>11</sup> «Доброе намерение» ориентировалось на сравнительно широкий круг читателей, и составители его стремились заполнить журнал более или менее занимательным чтением. Пермский взял из английского очерка только историю Инкла и Ярико, освободив ее от предшествующих рассуждений и переведя весьма вольно, то сокращая, то распространяя текст. Явно не удовлетворенный сухим повествованием Стиля, он стремился расцветить его собственными вставками. Так, в уста Инкла, скрывшегося в лесу от индейцев, он вложил такой монолог: «О! небо, какому нещастию ты меня подвергло? где я теперь? и куда я пойду? Возвращусь ли на корабль? Но там уже никого нет, здесь ли останусь? Но, или диким зверям буду жертвою, или, изнурен голодом, бедственно лишусь жизни. О! прелестный быток, о! суетное желание к собранию богатства». Сообщая о варварском поступке Инкла, Пермский вместо проницательного выражения Стиля «благоразумный и воздержанный юноша» («the prudent and frugal young man») назвал его «недостойным сообщества человеческого», и там, где в оригинале сообщалось лишь о факте продажи, восклицал: «продал свою любовницу, защитницу и благодетельницу, желая тем наградить свои убытки». Таким образом усиливалось эмоциональное звучание рассказа и его социальная острота, хотя, читая «Историю о некотором купце», нельзя

<sup>8</sup> См.: Der Zuschauer. Aus dem Engländischen übersetzt. Th. I. 2te Aufl. Leipzig, 1750, S. 49—54.

<sup>9</sup> См. о нем: Пекарский П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 годов. — В кн.: Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности имп. Академии наук, т. II, № 4. СПб., 1867, с. 21—28.

<sup>10</sup> Доброе намерение, 1764, март, с. 131—135.

<sup>11</sup> Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. — Избр. соч. М.—Л., 1951, с. 334. — О пребывании Пермского в Англии см.: Александренко В. Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке, т. I. Варшава, 1897, с. 422, 424, 435.



не вспомнить замечания П. Н. Беркова, что язык переводов «Доброго намерения» связан с „подъяческим“ жаргоном, с канцелярски тяжелыми оборотами, в основном идущими от практики петровских, а может быть и допетровских приказов». <sup>12</sup>

Следующий и последний известный нам русский перевод «Зрителя» № 11 появился лишь через полвека в недолговечном журнале «Демокрит», издававшемся Андреем Фроловичем Кропотовым (1780—1821 ?). Хотя перевод был озаглавлен «Инкл и Ярико», он охватывал очерк «Зрителя» целиком. <sup>13</sup> Переводчиком был, видимо, сам Кропотов и, несмотря на то что он проповедовал галлофобию, переводил он с французского перевода, <sup>14</sup> но не с распространенного «Le Spectateur, ou le Socrate moderne», а с какого-то иного, нам неизвестного. В остальном же перевод этот ничем не примечателен.

В последней трети XVIII в. история Инкла и Ярико попадала в Россию главным образом через поэму Геллерта. В «Письмах русского путешественника» Карамзин, рассказывая о том, как в Лейпциге он увидел памятник немецкому писателю, добавлял: «Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, вспомнил я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку, когда, читая его „Инкле и Ярико“, обливался я горькими слезами». <sup>15</sup> Интерес к этой истории Карамзин сохранил и в дальнейшем: находясь в Лондоне в 1790 г., он слушал оперу Кольмана—Арнольда «Инкл и Ярико». <sup>16</sup> Несомненно, что ему была известна и повесть Геснера, которого он высоко ценил, считая, что «цветы Геснеровых творений не увянут до вечности», <sup>17</sup> а также поэма Бодмера, печатавшаяся обычно перед повестью Геснера в собраниях сочинений последнего.

Русские читатели, не владевшие немецким языком, смогли впервые ознакомиться с поэмой Геллерта в 1775 г., когда она появилась под заглавием «Инкл и Ярика» в составе «Басен и сказок» немецкого писателя. <sup>18</sup> Прозаический перевод принадлежал перу Михаила Алексеевича Матинского — писателя и компози-

<sup>12</sup> Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века, с. 146.

<sup>13</sup> Демокрит, 1815, ч. II, кн. 4, с. 54—63.

<sup>14</sup> На это указывает приведенный по-французски эпиграф из Ювенала (у Стиля он приводился по-латыни) и включение в тексте в виде пояснений французских написаний: «Matrone d'Ephese», «Inkle et Yarico», «graïns de jais».

<sup>15</sup> Карамзин Н. М. Избр. произв., т. I. Подготовка текста и примечания П. Беркова. М.—Л., 1964, с. 159. — Об отношении Карамзина к Геллерту см.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 32—36; Rothe Hans. N. M. Karamzins europäische Reise. Der Beginn des russischen Romans. Berlin—Zürich, 1968, S. 107, 157, 266.

<sup>16</sup> Карамзин Н. М. Избр. произв., т. I, с. 563.

<sup>17</sup> Там же, с. 245—246.

<sup>18</sup> Басни и сказки сочинения г. Геллерта, ч. I. Перевел с немецкого на российский язык М. Матинский. СПб., 1775, с. 22—27.

тора конца XVIII — начала XIX в., в прошлом крепостного графа Ягужинского.<sup>19</sup> В заключительной инвективе переводчик постарался сохранить пафос оригинала: «О, бесчеловечный Инкл, которому еще нигде подобного не бывало, пускай узнает весь свет твою срамоту! Заслуживает ли опа, злодей, за чистосердечие и величайшую верность жестокою неволю?» и т. д. «Басни и сказки», очевидно, пользовались успехом и через 13 лет были переизданы.<sup>20</sup>

Тем временем в «Санкт-Петербургском вестнике» появился новый прозаический перевод поэмы Геллерта.<sup>21</sup> Здесь «Инкл и Ярико» заняли место среди других переводных произведений преромантического толка, регулярно появлявшихся в журнале. Перевод в целом довольно точен, однако анонимный переводчик снял заключение поэмы: возможно, ему показалось, что обличение Инкла может быть истолковано расширительно — как направленное против рабства вообще. О его осторожности свидетельствует одно характерное изменение в тексте. Геллерт, рассказав о том, как Ярико прятала Инкла в лесу, восклицал: «Найдется ли в Европе столь благородное сердце?» («Wird in Europa wohl ein Herz so edel sein?»). В русском переводе в соответствующем месте: «Столь доброе было сердце сея девицы!». Таким образом, какое-либо умаление Европы, в которую входила часть России, было устранено.<sup>22</sup>

В 1802 г. в типографии Московского университета вышел в двух томах «Старинный друг, возвратившийся из путешествия и рассказывающий все, что видел, слышал и чувствовал». Это был сборник переводного развлекательного чтения, составленный Петром Васильевичем Победоносцевым (1771—1843), профессором Московского университета, который был связан с журналами сентименталистского направления и много переводил с немецкого (в частности, перевел «Истинное и ложное счастье» Геллерта — М., 1809). Во II части «Старинного друга» среди всякого рода историй, очерков, анекдотов имеется рассказ «Инкл и Ярико» (с. 272—276). Сличение текста показывает, что это вольный про-

<sup>19</sup> См. о нем: Берков П. Н. Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. V. К биографии Михаила Алексеевича Матинского. — В кн.: XVIII век. Сб. 3. М.—Л., 1958, с. 493—496. — Там же полная библиография литературы о Матинском.

<sup>20</sup> Басни и сказки сочинения г. Геллерта, ч. I. Перевел с немецкого на российский язык М. Матинский. Вторым тиснением. СПб., 1788 («Инкл и Ярико» — с. 18—22).

<sup>21</sup> Инкл и Ярико, повесть г. Геллерта. — Санктпетербургский вестник, 1780, ч. VI, сентябрь, с. 180—183.

<sup>22</sup> Отметим попутно упоминание поэмы Геллерта и неназванной французской поэмы на ту же тему (возможно, «Inkle et Yarikó» К.-Ф.-Ф. Буланже де Ривери, 1754) в переводном эстетическом трактате: О высоком (sublime) и простосердечном (naïf). Сочинения г. Моза. (Перевод с французского). Студен. Любима Короставцева. — В кн.: Сочинения и переводы студентов имп. Харьковского университета, читанные 1822 года июня 30 числа по окончании экзаменов их. Харьков, 1822, с. 85—86.

заический перевод поэмы Геллерта, в котором опущены вводная тирада о корыстолюбии, движущем людьми, и заключение, т. е. оставлен только сюжет. При этом Победоносцев значительно распространял повествование, стремясь придать ему большую живость и драматичность. В качестве примера можно привести финал: «Жестокосердый! — вскричала она наконец, — вспомни, что я беременна, и пощади, по крайней мере, твоего младенца! — Как! неужели это правда? — отвечал неблагодарный. — *Слышите ли, что она говорит?* — сказал он купцу, которому хотел ее продать, — *она беременна; прибавьте же мне еще три фунта стерлингов за младенца, которого она произведет на свет. Купец отсчитал деньги, а чудовище, получа оные, скрылось!*».<sup>23</sup>

На русский язык были переведены и поэма Бодмера (прозой), и повесть Геснера: оба перевода были помещены в соответствии с немецкими изданиями Геснера как две части одного произведения «Инкель и Ярико» в вышедшем в начале XIX в. переводном полном собрании его сочинений.<sup>24</sup> В предисловии, также переведенном с немецкого, пояснялось, кому какая часть принадлежит. Русское издание подготовил Иван Федорович Тимковский — поэт и переводчик конца XVIII—начала XIX в., деятельно сотрудничавший в сентименталистских журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена».

Много позже, в конце 1830-х годов, в московском журнале «Галатей» появилась переводная повесть «Ярико», состоявшая из трех частей.<sup>25</sup> В первой анонимный автор излагал сюжет Лигона—Стиля—Геллерта, в третьей — Геснера, а в промежуточной краткой второй части говорил об этих своих предшественниках. Непосредственный оригинал этой повести неизвестен, и он не учтен в монографии Л. М. Прайса.

Наконец, на русском языке была издана и «Молодая индианка» Шамфора. Первый перевод комедии вышел в свет уже в 1774 г., т. е. через десять лет после появления оригинала.<sup>26</sup> Он был сделан прозой с немецкого перевода. Известно, что в Германии комедия Шамфора имела необычайный успех и неоднократно исполнялась в театре.<sup>27</sup> У нас нет сведений о том, что пьеса шла на русской сцене. Но в петербургском немецком театре

<sup>23</sup> Ср. у Геллерта:

Mich, die ich schwanger bin, mich!» fährt sie fort zu klagen.

Bewegt ihn dies? Ach ja! Sie höher anzuschlagen.

Noch drei Pfund Sterling mehr! Hier, spricht der Britte froh,

Hier, Kaufmann, ist das Weib, sie heisst Yariko!

<sup>24</sup> Полн. собр. соч. г-на Геснера. С немецкого перевел Иван Тимковский, ч. IV. М., 1803, с. 165—197.

<sup>25</sup> Ярико. Перев. Ф. К. — Галатей, 1839, ч. VI, № 50, с. 358—377. На эту публикацию нам любезно указал Н. А. Ерофеев.

<sup>26</sup> Молодая индианка. Комедия в одном действии г. Шамфорта. Переведена с немецкого. СПб., 1774, 37 с.

<sup>27</sup> См.: Chinard G. Introduction. — In: Chamfort. La jeune Indienne. Comédie en un acte et en vers. Princeton, New Jersey, 1945, p. 30.

она была представлена по крайней мере один раз — 3 февраля 1778 г.<sup>28</sup>

В начале XIX в. комедию Шамфора упоминал И. И. Мартынов (1771—1833) — переводчик античных авторов и директор Министерства народного образования. В «Разборе Ла Гарпова Лицея» он писал: «*Молодая Индианка* Шамфортова соединяет в себе то достоинство, что хорошо написана, с тем, что представляет роль, не лишенную подлинности».<sup>29</sup>

Спустя пятнадцать лет «*Молодая индианка*» была вновь переведена на русский язык, на этот раз стихами.<sup>30</sup> Переводчиком был Владимир Владимирович Измайлов (1773—1830) — ревностный последователь Карамзина и приверженец идей Руссо, чьи «*Письма о ботанике*» он издал в 1810 г. Несомненно, что его привлекла руссоистская направленность комедии, герой которой восклицал:

Душа открытая, невинная, простая  
Навек мне предалась: друг другом обладая,  
Спокойны, веселы, в концах страны земной,  
Благодаряли мы щастливый жребий свой! ..  
Там бедность тяжкая не страждет от презренья,  
Презренья! .. адский плод мирского просвещенья,  
Тиран души, злой бич, которым человек,  
В прославленный умом и мудростию век,  
Подобного себе терзает человека!<sup>31</sup>

Впоследствии в некрологе В. В. Измайлова говорилось о «*Молодой индианке*»: «Стихи Измайлова и труд Шамфора прекрасны; но, к сожалению, мы не видали сей пиесы на сцене наших театров».<sup>32</sup>

Таковы сведения о русских переводах западноевропейских обработок истории Инкля и Ярико.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> См. объявление: Прибавление к № 10 Санктпетербургских ведомостей, 1788, 2 февраля, с. 105. — О петербургском немецком театре см.: Герфигросс В. Н. Иностранцы антрепризы Екатерининского времени. — Русский библиофил, 1915, № 6, с. 70—73.

<sup>29</sup> Лицей, 1806, ч. IV, кн. 1, с. 41.

<sup>30</sup> Молодая Индианка, комедия в стихах, сочинение Шамфора, перевод Владимира Измайлова. М., 1821, 32 с.

<sup>31</sup> Там же, с. 6—7.

<sup>32</sup> Макаров И. Некрология. — Дамский журнал, 1830, ч. XXX, № 19, с. 92.

<sup>33</sup> Отметим еще один путь, по которому имя «Ярико» проникало на русскую почву. Так была названа (несомненно под влиянием рассказа из «Зрителя») прекрасная и добродетельная жена караиба в диалоге «Парижанин и караиб», включенном в философский трактат французского просветителя второго поколения Ж.-Б. Делиля де Саяя «De la philosophie de la nature, ou Traité de morale pour l'espece humaine tiré de la philosophie et fondé sur la nature» (1769. Livre III, ch. XI, art. 2. Le parisien et le caraibe, dialogue). Трактат Делиля де Саяя был известен в России, и отрывки из него неоднократно переводились, в том числе переводился и упомянутый диалог, проникнутый руссоистскими идеями: Разговор парижанина с караибом. — Санктпетербургский журнал, 1798, ч. IV, декабрь, с. 303—314; Парижанин и караиб. Разговор. С франц. М. Каченовский. — Ипнокрена, или Утехи любословия, 1801, ч. XI,

Русский рассказ на эту тему появился в 1795 г. под заглавием «Зара» в журнале В. С. Подшивалова «Приятное и полезное препровождение времени». <sup>34</sup> Он был подписан «Даур. Номох.», т. е. «Даурец Номохон»; под таким псевдонимом скрывался крепостной писатель Николай Смирнов. Сын дворового человека, управляющего имениями князей Голицыных, он получил хорошее домашнее образование, а затем «приватно» посещал Московский университет. Тяготясь своим подневольным положением, Смирнов решил в 1785 г. бежать за границу, но был схвачен и приговорен к наказанию кнутом, вырыванию поздрей, клеймению и каторжным работам. Екатерина II заменила приговор отдачей в солдаты, и Смирнов был отправлен в Сибирь. Первые свои литературные опыты он печатал в тобольском журнале «Иртыш, превращающийся в Ишпокрену» (1789—1791), а затем стал посылать их в «Приятное и полезное препровождение времени». <sup>35</sup>

Западноевропейские художественные обработки истории Инкля и Ярико Смирнову были неизвестны. В примечании к рассказу он писал: «Это ни сочинение, ни перевод. Я читал *Реналева Историю обеих Индий* и нашел в ней анекдот этот, в шести или семи строках замыкавшийся. Он столько поразил меня, что я, закрывши книгу, написал его по-русски; но ничего не заимствуя от Реналья, кроме основы».

«Реналева История обеих Индий» — это «Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях» (*Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*, 1770) французского историка и философа просветителя Г.-Т.-Ф. Рейналя, произведение, посвященное колониальной политике европейских государств XV—XVIII вв. и содержащее гневное обличение колониализма и рабовладения. В царствование Екатерины II «История» Рейналя находилась в России под негласным запретом, и правительственные учреждения чинили всевозможные препятствия переводу ее на русский язык. Тем не менее французский подлинник был широко известен, и Радищев утверждал, что «в обширной Российской империи... с удовольствием читают Локка, Даламберта, Монтескию, Реналья». <sup>36</sup> Только в начале XIX в. был издан сильно сокращенный и «приглаженный» перевод «Истории». <sup>37</sup> Здесь, между прочим, был переведен и эпизод,

---

с. 17—27; Разговор между парижанином и караибским жителем. (Из *Philosophie de la Nature*). — Минерва, 1807, ч. V, август, с. 225—235.

<sup>34</sup> Приятное и полезное препровождение времени, 1795, ч. V, с. 357—361.

<sup>35</sup> См.: Альтшуллер М. Г. Крепостной поэт и переводчик Николай Смирнов. — В кн.: Французский ежегодник. 1967. М., 1968, с. 260—265.

<sup>36</sup> Письмо к А. Р. Воронцову от 12 июня 1785 г. — Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. III. М.—Л., 1952, с. 312.

<sup>37</sup> См.: Светлов Л. Б. Русские переводы произведений французских просветителей. II. Рейналь в России. — В кн.: Французский ежегодник. 1962. М., 1963, с. 428—440; см. также: Полторацкий С. Материалы для словаря русских писателей. — Русский вестник, 1858, ноябрь, кн. 2,

привлекший ранее в оригинале внимание Н. Смирнова.<sup>38</sup> Эпизод этот помещен в XIV книге «Истории», где повествуется об острове Барбадос. Рейналь, видимо, не знал рассказа Стиля и опирался непосредственно на Лигона. Имена героев у него не были названы, и Смирнов придумал их сам: Зара и Стрюмсон.

Нетрудно понять, чем поразила трагическая судьба караибской девушки крепостного интеллигента, человека, который писал о себе на следствии: «... унижающее имя холопа представляло мне рабство тяжелою цепью меня угнетающею».<sup>39</sup> Рассказ написан в сентименталистском духе. Зара названа «чувствительной»; она обладает «сердцем, имеющим вождем одну природу». «Невинная и отверзтая ее душа» противостоит «корыстолюбию и лютости» Стрюмсона. Однако когда, описывая продажу девушки в рабство, автор восклицал: «Я дрожу от ужаса и злобы, пишучи сие», — эта фраза, несомненно, была не простым следованием сентименталистской поэтике, но выражением его сокровенных чувств. Поэтому Стрюмсон в его глазах не просто негодяй, но «изверг... доведший вероломство и злосердие до последней степени утонченности и покрывший человечество срамом неизгладимым». Эпиграф к рассказу, взятый из Библии: «И у меня сердце есть, яко же и у вас», в сочетании со следующим далее повествованием приобретал антикрепостническую направленность.

В послесловии к рассказу Смирнова Подшивалов, «не унижая отечественного произведения», напоминал читателям, «что сия же самая история есть в аглинском Спектаторе и в творениях бессмертного Геллерта, под именем *Инкла и Ярико*». Тем самым «Зара» вводилась в ряд обработок истории, известной всей Европе.

Смирнов, видимо, не единственный крепостной интеллигент, которого взволновала эта история. В 1827 г. на Верхне-Исетском заводе на Урале был арестован учитель заводской школы крепостной Андрей Васильевич Лоцманов (род. 1807), обвинявшийся в противоправительственных замыслах. Лоцманов пытался, правда безуспешно, создать тайное общество для распространения идей свободы.<sup>40</sup> Среди отображенных у него при аресте бумаг находилась

---

Совр. лет., с. 194—197. — В составленной Л. Б. Светловым обстоятельной сводке сведений об известности Рейналя в России о «Заре» Н. Смирнова, однако, не говорится.

<sup>38</sup> Философическая и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях, сочиненная аббатом Рейналем. Перевод с французского, изданный по высочайшему его императорского величества повелению, ч. V. СПб., 1808, с. 295—296 (Бесчеловечие одного англичанина против индианки, его благодетельницы).

<sup>39</sup> См.: Сивков К. В. Автобиография крепостного интеллигента конца XVIII в. — Исторический архив, 1950, т. V, с. 291.

<sup>40</sup> См. о нем: Пажитнов К. А. Положение рабочего класса в России, т. I. Пг., 1923, с. 236; Боголюбов К. В. Дело о «возмутительном письме» заводского служителя Андрея Лоцманова. — В кн.: Материалы первой научной конференции по истории Екатеринбурга—Свердловска.

рукопись неоконченной повести «Негр, или Возвращенная свобода», в которой русский крепостной обличал рабовладение. «На Золотом и Невольничьем берегах, — писал он, — европейцы в множестве толпятся для покупки подобных себе существ и хладнокровно смотрят на сетования и скорбь своих невинных собратьев». <sup>41</sup> За этим постыдным торгом, «посрамляющим человечество», следует жестокая убийственная эксплуатация рабов в Америке. «... миллионы жертв, принесенных на алтарь корысти европейцев, миллионы сих несчастных, погибших от угнетения и скупости европейцев, вопиют о мщении перед престолом Всевышнего», — восклицал автор и угрожал рабовладельцам: «Вы, жестокие скупцы, торгующие подобными себе, — вы, посрамляющие религию своим бесчеловечьем, вы некогда отдадите отчет в делах своих и ужаснетесь во время наказания собственных своих поступков». <sup>42</sup> В условиях России эти обличения имели откровенно антикрепостнический смысл.

Герой повести, юный негр, которого Лощманов наделил некоторыми автобиографическими чертами, разъяснял своим собратям несправедливость их участи, стремился пробудить в них чувство собственного достоинства. Автор дал ему имя Иорико. <sup>43</sup> Нетрудно догадаться, что оно было дано в память той злосчастной индианки, с которой столь жестоко и вероломно поступил спасенный ею европеец. Так отозвалась старинная история Инкла и Ярико в русском освободительном движении.

---

Свердловск, 1947, с. 153—158; Байтин М. И., Пугачев В. В. Политические идеи Андрея Лощманова. — В кн.: Уч. зап. Саратовск. юридич. инст. им. Д. И. Курского, вып. IX, 1960, с. 76—91; Коган Л. А. Крепостные вольнодумцы (XIX век). М., 1966, с. 78—121.

<sup>41</sup> Цит. по: Коган Л. А. Крепостные вольнодумцы, с. 106.

<sup>42</sup> Цит. по: Байтин М. И., Пугачев В. В. Политические идеи Андрея Лощманова, с. 84.

<sup>43</sup> Такое прочтение дает Л. А. Коган. Прочтение «Горико», приведенное в статье М. И. Байтина и В. В. Пугачева, видимо, является неточным.

П. Р. ЗАБОРОВ

**«ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВСТВЕННОЦА» ВОЛЬТЕРА  
В РУССКИХ РУКОПИСНЫХ ПЕРЕВОДАХ**

В 1958 г. в программной статье, открывавшей первый послевоенный сборник «XVIII век», П. Н. Берков писал: «...необходимо признать, что плодотворное изучение литературы XVIII века требует всемерного расширения круга исследуемых материалов. Оставаться на том уровне фактических знаний, который был достигнут нами в предшествующем десятилетии, наша ветвь советского литературоведения не должна. Может быть, нас ждут какие-нибудь значительные находки; но дело не в них, главное заключается в широком привлечении как можно большего количества неиспользованных рукописных и печатных источников, действительно раздвигающих границы наших знаний в области литературы XVIII века».<sup>1</sup>

В истекшее с тех пор время усилиями самого П. Н. Беркова, его учеников и последователей многое было в этом отношении сделано. Однако и по сей день это указание продолжает сохранять свое значение и актуальность. Огромное число неиспользованных источников все еще остается вне поля зрения исследователей литературы XVIII в. В особенности относится это к источникам рукописным, среди которых немало оригинальных произведений русских писателей, а также множество переводов с различных иностранных языков, как известно, игравших в литературном движении XVIII столетия весьма существенную роль.

Едва ли не центральное место в этом обширном рукописном фонде занимает наследие крупнейшего французского писателя XVIII в. и одного из вождей европейского Просвещения — Вольтера, переводившегося на русский язык в необычайно широких масштабах.<sup>2</sup> Между тем наши представления о русском «рукописном Вольтере» и по сей день все еще остаются неполными, фрагментарными. В частности, никогда не подвергались изучению

<sup>1</sup> Берков П. Н. Итоги, проблемы и перспективы изучения русской литературы XVIII века. — В кн.: XVIII век. Сб. 3. М.—Л., 1958, с. 23.

<sup>2</sup> Об этом см.: Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967, с. 110—207.



рукописные переводы его знаменитой антиклерикальной поэмы «Орлеанская девственница» («La Pucelle d'Orléans»).

В отличие от преобладающего большинства вольтеровских сочинений, изданных у нас — хотя подчас и с немалым опозданием и с множеством искажений, «Орлеанская девственница» ни в XVIII, ни в XIX в. в русскую печать не пробилась, так и не преодолев цензурных преград. С ней знакомились или в оригинале, или в рукописных переводах, имевших хождение в самых разных читательских кругах, но преимущественно среди людей небогатых и незнатных, лишенных средств для приобретения иностранных книг или с трудом читавших на французском языке.<sup>3</sup>

«Орлеанская девственница» создавалась на протяжении нескольких десятилетий — с конца 1720-х до начала 1770-х годов. Долгое время поэма распространялась в бесчисленных списках; в 1755 г. она — без ведома Вольтера — впервые увидела свет, но до 1762 г. он в своем авторстве открыто не признавался; наконец, в 1771 г. в Лондоне появилось ее полное издание, положенное в основу почти всех последующих.<sup>4</sup> К этому окончательному тексту восходит и прозаический русский перевод вольтеровской поэмы, сделанный в последней четверти XVIII в.

Анонимный автор этого перевода превосходно владел французским языком и был весьма образованным человеком. Он успешно справился с большинством встретившихся на его пути трудностей, в целом переложив поэму с редкой для того времени точностью и полнотой. Это не означало, разумеется, что перевод был вообще свободен от ошибок. Незнание некоторых реалий подчас вынуждало его переводить более чем приблизительно, а иногда и вовсе опускать те или иные фразы и слова. Так, «un fort joli château» превратился у него в «преизрядный увеселительный дом», «bachelier» — в «монаха», «d'un ton de vrai misereere» — в «самым странным образом и голосом», «l'aimable Régence» — в «приятное правление», «les charniers qu'on dit des Innocents» — в «кладбище, называемое святого Иннокентия» (вместо «кладбища невинно убиенных»), «la chapelle ardente» (катафалк) — в «церковь», «le doux célibat» — в «тихое блаженство», «corsaire» же, «rade», равно как и преобладающее число латинских цитат, остались вообще без перевода.<sup>5</sup>

Впрочем, кое-что могло не попасть в русский текст и по другой причине: например выражение «le corps en rut». Однако изъять или хоть отчасти смягчить все чересчур вольные места в задачу переводчика не входило. Опустив «неприличное» рас-

<sup>3</sup> См.: Розов Н. Н. Зачем, кому и какая рукописная книга нужна была в России XVI—XIX столетий. — Вопросы истории, 1970, № 6, с. 210—217.

<sup>4</sup> Об этом см., например: Adamski J. Problem tekstu wolterowskiej «Darczanki». — Kwartalnik neofilologiczny, 1959, zc. 4, s. 289—303.

<sup>5</sup> ИРЛИ, Р. II, оп. 1, № 57, л. 6 об., 16, 46, 72 об., 121, 150, 157, 164, 82, 88, 146. — С подобным «преобразованием» французского текста не следует смешивать традиционное для XVIII в. «склонение на русские нравы», встречающееся в этом переводе довольно часто.

суждение о поцелуе (песнь XII) и заменив «девическую грудь» (*gorge naissante*) «белизной прекрасного тела» (песнь V), он оставил нетронутыми сцену захвата англичанами женского монастыря и историю покушения на честь Жанны, совершенного ослом, в которого вселился дьявол.<sup>6</sup>

Что же касается литературного таланта, то переводчик «Орлеанской девственницы» был наделен им несравненно слабее. Лишь в очень немногих случаях воссоздал он стилистическое своеобразие вольтеровской поэмы. Среди наибольших удач такого рода — перевод особенно густо окрашенных в «библейские» тона (и потому звучащих особенно иронически) фрагментов, таких как воззвание св. Дениса к Жанне после ее чудесного избавления от домогательств Грибурдона или обращение матери Безонь, иными словами, юного студента, к случайно забредшей в монастырь Агнесе Сорель: «Воиди<...>, любезная странница, какой святитель, какое радостное празднество могло завести к алтарям нашим красоту сию толико вредную смертным? Не ангел ли ты или не святая ли, оставя вышних небес пределы, ниспосланные дабы утешить дщерей вышнего?»<sup>7</sup>

К тому же периоду относится целый ряд попыток перевести «Орлеанскую девственницу» стихами. Наброски к такому переводу остались в бумагах И. И. Хемницера;<sup>8</sup> известно начало первой песни в переводе Ю. А. Нелединского-Мелецкого;<sup>9</sup> сохранились и два анонимных перевода — трех первых песен<sup>10</sup> и 80 начальных строк.<sup>11</sup> Но самой успешной и примечательной была попытка Д. В. Ефимьева, «полковника Ефимьева», как его часто называли.

Армейский офицер-артиллерист, Дмитрий Владимирович Ефимьев (1768—1804) занимался литературой в свободные часы, ради собственного удовольствия.<sup>12</sup> Тем не менее он получил довольно большую известность как драматург. Последние годы жизни Ефимьев посвятил переводу «Орлеанской девственницы», но выполнить свой замысел не успел, и слава замечательного переводчика Вольтера пришла к нему посмертно.

В противоположность своему предшественнику Ефимьев обращался с французским текстом весьма свободно, пренебрегая вто-

<sup>6</sup> Отметим попутно систематическое вынесение в подстрочные примечания ремарок, помещенных у Вольтера в тексте в скобках (л. 18, 38, 63 об., 97, 97 об. и др.).

<sup>7</sup> ИРЛИ, Р. II, оп. 1, № 57, л. 96 об.

<sup>8</sup> ИРЛИ, 15934/ХСVIII б. 13, л. 2. — Опубликовано в статье: Вацуро В. Э. К вопросу о философских взглядах Хемницера. — В кн.: Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.—Л., 1964, с. 137—138.

<sup>9</sup> ГПБ, ф. 603, № 7, л. 125; там же (л. 93—94) см. сведения о не дошедших до нас переводах Ф. И. Карцева и Ф. Г. Карина.

<sup>10</sup> ИРЛИ, 4930/XXVI б. 26, л. 1—24.

<sup>11</sup> ИРЛИ, 16033/ХСIX б. 17.

<sup>12</sup> Несколько писем Ефимьева к А. В. Казадаеву сохранилось в Отделе рукописей ГПБ (ф. 325, № 34, 5 л.).

ростепенными подробностями, непонятными русскому читателю реминисценциями и не представлявшими для него интереса именами. В частности, он сократил описание концерта итальянской музыки, на фоне которого происходило свидание Карла VII с Агнесой Сорель, опустил намек на Самюэля Бернара, исключил упоминания «Metsure de France» и «Journal de Trévoux, юриста Жака Кюжаса, проповедника и оратора Жан-Батиста Масийона, иезуита Жирара, священника Юрбена Грандье, сожженного на костре в 1629 г., и т. д.

Целью Ефимьева было сохранить вольтеровскую манеру повествования, передать столь характерную для поэмы непринужденность тона. И это ему удалось если не в полной, то в значительной мере, в первую очередь с помощью широкого использования просторечья и разговорных интонаций, сильно ожививших его александрийский стих (Вольтер применил более подвижный и гибкий десятисложник). Вот, например, как звучал в его переводе диалог короля, опечаленного потерей возлюбленной, и его приближенного-сводника Бонно (песнь X):

Ваше Величество!.. Как я проговорю:  
Беда.. Несчастье, какого не бывало,  
Возьми письмо назад, о, князь мой! все пропало,  
Мужайся, кротостью достойной государь.  
— Да видел ли мою, скажи ты мне, сударку? —  
Со страхом Карл спросил. — Ах, нет, великий царь!  
Британцы взяли в плен Агнесу и Жан д'Арку.<sup>13</sup>

Перевод Ефимьева был прерван на середине одиннадцатой песни и, следовательно, не мог заменить старый, прозаический. Отсюда их длительное сосуществование, прекратившееся, по-видимому, лишь на рубеже 1830—1840-х годов, когда прозаический перевод совершенно устарел.<sup>14</sup> Но и перевод поэтический вскоре начал терять свою привлекательность, причем интерес к нему не возродился даже после того, как его продолжил и завершил Ипполит Стремоухов.<sup>15</sup> Из живого литературного явления труд «полковника Ефимьева» постепенно превращался в «памятник» — образец отечественного вольномыслия «давно минувших дней».

Впервые на русском языке «Орлеанская девственница» увидела свет уже в советское время, в 1924 г.

<sup>13</sup> ИРЛИ, ф. 388, оп. 1, № 40, л. 134.

<sup>14</sup> В этой связи см. любопытную запись от 12 января 1835 г. некоего Ивана Еремеева. Окончив переписку «старого» перевода и добавив к нему одну песнь из перевода «нового», он заметил: «Очень жаль, что этой знаменитой поэмы переведено полковником Ефимьевым только десять песней такими прекрасными и звучными стихами, а мне удалось списать одну пятую песнь» (ГПБ, ф. 341, № 419, л. 143).

<sup>15</sup> Один из списков перевода Стремоухова (сделанного в начале 1850-х годов) см.: ЦГАЛИ, ф. 1346, оп. 1, № 132. Сведения об этом переводе см. там же, л. 111—113.

Н. Д. КОЧЕТКОВА

И. Г. РАХМАНИНОВ — ПЕРЕВОДЧИК НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ  
И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДОГО КРЫЛОВА

Характеризуя журнал «Утренние часы» (1788—1789), П. Н. Берков особое внимание обратил на печатавшиеся здесь переводы из Л.-С. Мерсье, сделанные И. Г. Рахманиновым. Эти сочинения, «проникнутые пафосом тираноборчества и убежденного республиканизма, — писал исследователь, — имели большое значение как для русских читателей того времени, так и для молодых писателей с демократическими симпатиями».<sup>1</sup>

Старший друг и учитель молодого Крылова, Иван Герасимович Рахманинов известен прежде всего как переводчик Вольтера, отчасти как издатель — владелец одной из первых провинциальных типографий в России.<sup>2</sup> Между тем переводческая деятельность Рахманинова изучена еще недостаточно. Цель настоящей работы — уточнить некоторые сведения, касающиеся сотрудничества Рахманинова в журнале «Утренние часы».

Благодаря находке Ф. А. Витберга, обнаружившего редакторский экземпляр двух частей этого издания, был определен круг русских авторов и переводчиков, принявших участие в журнале.<sup>3</sup> Источники переводов Витберга не интересовали: он ограничился тем, что привел сокращенные названия зарубежных изданий так, как они были указаны в его экземпляре. Здесь же далеко не всегда назывался автор произведения: издатели нередко давали только ссылку на периодическое издание или сборник, из которого переводились сочинения.

Источником многих статей, переведенных И. Г. Рахманиновым для «Утренних часов», была антология немецкой поэзии на

<sup>1</sup> Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, с. 364.

<sup>2</sup> См.: Мартынов Б. Журналист и издатель И. Г. Рахманинов. Тамбов, 1962; Полонская И. М. И. Г. Рахманинов — издатель сочинений Вольтера. — Труды Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1965, т. VIII, с. 126—162.

<sup>3</sup> Витберг Ф. А. Первые басни И. А. Крылова. — Изв. ОРЯС, 1900, т. V, кн. 1, с. 204—259.

французском языке, составленная Гюбером — «Choix de poésies allemandes, par M. Huber» (тт. 1—4, А Paris, 1766). Переводы немецких стихотворений в этом издании были сделаны прозой, материал располагался по жанрам.

В редакторском экземпляре все десять статей, взятые из этой антологии, помечены буквами П. И. Р., что означает «перевел Иван Рахманинов», как справедливо полагает Ф. А. Витберг. Немецкие авторы указаны только в четырех случаях: «Чудные люди» (ч. 1, с. 30—32) и «Разговор Бархатного кавтана с Подушкой» (ч. 1, с. 45—47) — сочинения Лихтвера; «Ростовщик» (ч. 1, с. 63—64) — сочинение Геллерта; «Утреннее размышление» (ч. 1, с. 177—186) — сочинение Виланда.<sup>4</sup>

Б. Мартынов уже отмечал интерес Рахманинова к творчеству немецких баснописцев — М. Г. Лихтвера и Х. Ф. Геллерта.<sup>5</sup> Прежде всего необходимо, однако, уточнить, что именно из их произведений перевел русский писатель. Кроме названных выше двух басен в «Утренних часах» появились следующие сочинения Лихтвера: «Священник и большой» (ч. 1, с. 188—190), «Жмурки» (ч. 1, с. 206—208) и, наконец, без заглавия, в отделе «Черты великодушия и добродетели» (ч. 2, с. 74—79) перевод басни «Отец и трое сыновей» («Der Vater und die drei Söhne»)<sup>6</sup>

Басни Магнуса Готтфрида Лихтвера (1719—1783) в XVIII в. пользовались большой популярностью: вышло четыре отдельных издания на немецком языке,<sup>7</sup> отдельное издание на французском языке.<sup>8</sup> В предисловии к этому изданию переводчики, обращаясь к Лихтверу, писали: «С тех пор как французский язык начал обогащаться сокровищами немецкой литературы, немногие сочинения были удостоены такого же внимания французской публики, как Ваше». Все переводы были сделаны прозой, причем отступлений от оригинала оказалось достаточно много: в самом заглавии перевод был назван «свободным» (libre).

Гюбер не воспользовался изданием 1763 г. и поместил в антологии новые переводы басен Лихтвера, тоже прозаические, но довольно точно передававшие немецкий текст. Таким образом, Рахманинов работал хотя и не с оригиналом, но с французским переводом, который служил для него своеобразным подстрочником. В свою очередь русский переводчик в основном точно при-

<sup>4</sup> Во французской антологии эти стихотворения располагаются следующим образом: «Les Hommes singuliers» (т. 1, р. 231—232); «L'Habit et L'Oreiller» (т. 1, р. 229—230); «L'Usurier» (т. 1, р. 198—199); «Cantique du Matin» (т. 2, р. 56—61).

<sup>5</sup> См.: Мартынов Б. Журналист и издатель И. Г. Рахманинов, с. 27—28.

<sup>6</sup> Соответствующие французские тексты, с которых переводил Рахманинов: «Le Prêtre et le Malade» (т. 1, р. 227—229); «Le Colin-Maillard» (т. 1, р. 238—239); «Le Père et ses trois Fils» (т. 1, р. 221—223).

<sup>7</sup> M. G. Lichtwers vier Bücher Asopischer Fabeln. Leipzig, 1748 (Berlin, 1758, 1762, 1775).

<sup>8</sup> Fables nouvelles divisées en quatre livres. Traduction libre de l'Allemand de Monsieur Lichtwehr. A Strasbourg — à Paris, 1763.

держивался французского текста. Иногда, правда, он позволял себе небольшие добавления, стремясь усилить дидактический смысл басни. Характерна в этом отношении концовка басни «Священник и больной», в которой положительным персонажем оказывается бедный старик, всегда довольный своей участью и умирающий без страха. Лихтвер, а за ним и французский переводчик не говорят о надеждах старика на «вечное блаженство». Для Рахманинова этот момент представляется важным (достаточно вспомнить в связи с этим, что споры о бессмертии души в России приняли особенно острый характер в 1770—1780-е годы), и он дополняет речь старика следующим образом: «Когда милосердный бог <...> столь долгое время соблаговолил, чтобы я наслаждался приятностями здешней жизни; то я надеюсь, что и в будущей, по его беспредельной благодати, буду я вкушать обещанное от него вечное блаженство».<sup>9</sup>

В переводах Рахманинова заметно стремление несколько приблизить содержание басен к русской жизни. Это делалось очень осторожно, вводились какие-то совсем незначительные штрихи, но они помогали русскому читателю увидеть в произведении немецкого автора нечто близкое и знакомое, заинтересовывали его, заставляли почувствовать некоторую причастность к тому, о чем говорилось в басне. Герой басни Лихтвера «Жмурки» («Die blinde Kuh») Gorge, названный французским переводчиком Blaise, превращается у Рахманинова во Власа; французское слово «l'habit» в русском переводе передается как «Кавтан» («Разговор Бархатного кавтана с Подушкою»). Вообще в языке Рахманинова встречаются русизмы, придающие его переводам определенный колорит: «surtout» переводится «всего пуще», «vous me criez» — «вы мне о том сказывайте». Эти особенности языка переводов Рахманинова, как и само обращение его к басенному жанру, — факт, заслуживающий внимания. Басни, переведенные Рахманиновым, служили в некотором смысле образцом для начинающего литератора — молодого Крылова. Можно даже проследить, как некоторые темы Лихтвера были разработаны вскоре в «Почте духов», а затем и в баснях Крылова.

Особенно интересна в этом отношении басня «Разговор Бархатного кавтана с Подушкою». Вещи разговаривают о своем хозяине, причем Кавтан считает его безмятежным, счастливым человеком, наблюдая его поведение в обществе: «деньги расточает без всякого сожаления», поет песни, когда проигрывает деньги, и т. д. Но Подушка видит хозяина совсем иным: он страдает и мучается, как самый несчастный человек. Мораль басни такова: «А сие значит то, что на истинное состояние действующего лица надлежит взирать тогда, когда сойдет он с позорища света».<sup>10</sup> Возможно, эта басня подсказала Крылову

<sup>9</sup> Утренние часы, 1788, ч. I, с. 189.

<sup>10</sup> Там же, с. 47.

тому XIV письма «Почты духов», в котором гном Зор передает подслушанные им в модной лавке разговоры дамских головных уборов: Аглинской шляпки, Французского тока, Покоевого чепчика и Блондовой косынки. Главное же, содержащаяся в басне Лихтвера идея получила в творчестве Крылова новое осмысление: писатель стремится показать людей такими, каковы они на самом деле, сорвав те маски, за которыми они прячутся. «Предо мною предстоит огромный театр с великолепнейшими украшениями, — писал Крылов в XXV письме «Почты духов», — на котором действующие лица всякого состояния: и цари, и придворные, и статские, и военные, и пастухи, и крестьяне играют различные роли во всем совершенстве, очень сходно с природою».<sup>11</sup>

В отличие от Лихтвера сатира у Крылова приобретает социальный характер. Несоизмеримо, разумеется, и значение деятельности этих писателей в целом. Но бесспорно то, что знакомство с творчеством Лихтвера, благодаря Рахманинову, не осталось бесследным для Крылова.

Публикация переводов из Лихтвера в «Утренних часах», вероятно, не прошла незамеченной и для Карамзина, который через несколько лет опубликовал в «Московском журнале» стихотворный перевод той же басни «Die seltsamen Menschen» (у Рахманинова — «Чудные люди») под заглавием «Странные люди».<sup>12</sup> В басне Лихтвера удивительным образом оказалось много совпадений с обстоятельствами жизни самого Карамзина. Таким образом, произведения немецкого баснописца, с которыми Рахманинов знакомил русскую публику, обратили на себя внимание наиболее талантливых русских писателей, возглавивших две враждующие между собой литературные группировки: Крылова и Карамзина. Каждый из них по-своему воспринял сочинения Лихтвера, и знакомство с ним по-разному отразилось в их собственном творчестве.

Характерен также интерес Рахманинова к Христиану Фюрхтеготту Геллерту (1715—1769). С этим именем связан существенный этап в развитии не только немецкой литературы,<sup>13</sup> но и русской. В XVIII в. в России Геллерта читали, переводили, подражали ему, писали о нем. Уже в 1755 г. «Ежемесячные сочинения» поместили перевод из Геллерта и письмо переводчика, в котором говорилось: «Геллертовы сочинения всегда того достойны, что не только на нашем русском, но и на всех языках читаны были».<sup>14</sup> К творчеству Геллерта обращались очень мно-

<sup>11</sup> Крылов И. А. Полн. собр. соч., т. I. М., 1945, с. 150.

<sup>12</sup> Об этом переводе и его атрибуции Карамзину см.: Виноградов В. В. Неизвестное стихотворение Н. М. Карамзина «Странные люди». — В кн.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 324—338.

<sup>13</sup> О популярности Геллерта в Германии и его высоком авторитете см.: Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962, с. 25—33.

<sup>14</sup> Ежемесячные сочинения, 1755, август, с. 151.

гие русские авторы, в частности, известно, какое значение оно имело для И. И. Хемницера<sup>15</sup> или для масонов, участников новиковского кружка.<sup>16</sup> Радищев слушал в Лейпциге лекции Геллерта, считая это «отличным счастьем».<sup>17</sup> Карамзин вспоминал, как в детстве он плакал над баснями Геллерта, а потом учился в пансионе по его «Лекциям по морали».<sup>18</sup>

Переводы из Геллерта, появившиеся в «Утренних часах», — пусть не очень заметный, но по-своему существенный момент в истории восприятия Геллерта в России. Из басен Геллерта, включенных во французскую антологию, Рахманинов выбрал две: «Ростовщик» («Der Wucherer») и «Смерть мухи и комара» («Der Tod der Fliege und der Mücke»)<sup>19</sup>. Оба стихотворения достаточно характерны для Геллерта: здесь преобладает не сатира, а морализация. Интересно отметить, что Рахманинов несколько даже распространил правоучительную сентенцию, завершающую вторую из названных басен. Довольно лаконичный французский текст<sup>20</sup> Рахманинов перевел так: «Успокойте волнующиеся в вас страсти, послушайте моих советов, подаваемых вам для собственной вашей пользы. Умирайте лучше смертью, достойною человечества, а не так, как несмысленные твари».<sup>21</sup>

В четвертой части журнала «Утренние часы» (к которой нет указаний об авторах и переводчиках) было помещено сочинение «Богатство и слава».<sup>22</sup> Это не что иное, как прозаический перевод правоучительного стихотворения Геллерта «Reichtum und Ehre», вошедшего во французскую антологию.<sup>23</sup> Можно полагать, что этот перевод, как и все другие, принадлежал Рахманинову.

Богатство и слава не могут дать истинного счастья человеку — такова основная тема стихотворения Геллерта. Скупой Клеант (в русском переводе Крохобор), окруженный великолепием Люпин (Блистан), молодой и богатый, но больной Альцест (Любо-страст) — все они «хватаются за одну только пустую тень счастья». Моралистические рассуждения о добродетели завершают сочинение немецкого поэта. Однако нарисованные им сатириче-

<sup>15</sup> См.: Lehmann U. Die Fabel bei Chemnitzer und Gellert. Ein Beitrag zur deutsch-russischen Wechselseitigkeit. — In: Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts, Bd. II. Berlin, 1968, S. 232—244.

<sup>16</sup> См.: Brang P. A. M. Kutuzov als Vermittler des westeuropäischen Sentimentalismus in Rußland. (Zum Problem der Attributierung anonymer Werke des 18. Jahrhunderts). — Zeitschrift für slavische Philologie, 1962, Bd. 30, S. 44—57.

<sup>17</sup> Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938, с. 180.

<sup>18</sup> Карамзин Н. М. Избр. соч., т. I. М.—Л., 1964, с. 159.

<sup>19</sup> Соответствующие французские тексты: «L'Usurier» (t. 1, p. 198—199); «La mort de la Mouche et du Cousin» (t. 1, p. 202).

<sup>20</sup> «Reposez doucement, et souffrez que je dise à votre gloire, que vous êtes mort en humains».

<sup>21</sup> Утренние часы, 1788, ч. 2, с. 90.

<sup>22</sup> Там же, 1789, ч. 4, с. 113—125, 129—133, 145—152.

<sup>23</sup> «La Richesse et la Gloire» (t. 4, p. 69—84).



ские образы — при всей их обобщенности — могли привлечь внимание и заинтересовать молодого Крылова.

Выбирая для перевода стихи из антологии Гюбера, Рахманинов явно отдавал предпочтение тем произведениям, в которых ощущалась сатирическая направленность. Сочувствием к беднякам и неприязнью к богатым ростовщикам проникнута переведенная Рахманиновым басня другого немецкого баснописца — Фридриха Хагедорна (1708—1754) «Надежда и страх» («Die Hoffnung und die Furcht»).<sup>24</sup>

В «Утренних часах» Рахманинов поместил также перевод стихотворения Иоганна Андреаса Крамера (1723—1788) «Против желаний человеческих» («Wider die Wünsche der Menschen»).<sup>25</sup> Автор биографии Геллерта и его почитатель, Крамер развивает ту же тему, которой было посвящено стихотворение «Богатство и слава». Стремясь показать ничтожество человека, волнуемого честолюбивыми мечтами, писатель приводит несколько достаточно характерных примеров. О том, кого привлекает военная слава, говорится: «Ослепленный блистанием, окружающим победителей, воинственный дух его, следуя их примеру, одобряет бесчеловечное удовольствие взирать равнодушным оком на кучи умирающих людей, на опустошенные поля и на грады, превращенные в пепел». <sup>26</sup> Не менее отрицательное отношение у автора вызывает и другой тип честолюбца: «Он добивается чести занимать первое место при государе: хочет, чтоб отдаленнейшие провинции повиновались его повелениям и чтоб слова его были решительными определениями союзов или вражды народов. Политические книги (закрывающие в себе науку хитрости и обманов) пред ним раскрыты. Учинившись штатским человеком, он удаляется от истины, научается трудному искусству льстить, и тайны его никому не бывают известны <...> Достигши до самого верха честей, он с знатными вельможами обходится ласково, а несчастных, не имеющих подпоры, не удостоивает своего взора. Он не говорит уже иначе, как двусмысленными словами, и, учинившись совершенно сильным, взирает презрительным оком и на самых надменнейших придворных. Последуемый удивлением и сопровождаемый славой и почестями, он непрестанно бывает окружаем толпою гнусных рабов». <sup>27</sup>

Аналогии этим размышлениям опять-таки нетрудно найти у Крылова. В «Почте духов», в «Каибе» он высказывался против войн, причиной которых были честолюбивые помыслы. Особенно же близки Крылову могли быть выпады Крамера против

<sup>24</sup> Утренние часы, 1788, ч. 1, с. 138—139. — В антологии Гюбера: «L'Espérance et la Crainte» (t. 1, p. 157).

<sup>25</sup> Утренние часы, 1788, ч. 2, с. 65—77, 81—99. В антологии Гюбера: «Contre les Souhaits des hommes» (t. 4, p. 20—30).

<sup>26</sup> Утренние часы, 1788, ч. 2, с. 81.

<sup>27</sup> Там же, с. 82—83.

придворных льстецов, добивающихся власти и славы любыми способами.

Крылова должны были заинтересовать и сатирические типы, изображенные в произведении, опубликованном в третьей части «Утренних часов» и озаглавленном «Привычка и природа».<sup>28</sup> Эта статья, так же как и «Богатство и слава» Геллерта, представляет собой перевод из антологии Гюбера — перевод стихотворения Иоганна Фридриха Кронегка «Gewohnheit und Natur».<sup>29</sup> Таким образом, список известных нам переводов Рахманинова можно пополнить еще одним названием. Как и в других случаях, переводчик последовательно изменял имена персонажей на русский лад. «Narragon, se fils chéri de l'Avergne» фигурирует как «Скряга, дражайший сынок Скупягин». Crispin, который в детстве всех обижал, а потом стал «всесветным порицателем и ругателем», получает имя Злорада; Néran, который всегда увлекался только собаками, назван Псолюбом, страстный игрок Gargile — Промотом; Mops, который никого — не любит, кроме своей лошади, — Безрассудом, и т. д. Для русских читателей того времени эти абстрактные образы, воплощавшие некое отвлеченное представление о пороке вообще, оживали под новыми именами, приобретали более конкретное содержание.

В русской литературе уже существовали свои традиции сатиры: достаточно вспомнить Кантемира, Новикова, Фонвизина — писателей, которые по праву считаются непосредственными предшественниками Крылова-публициста. Однако забывать о роли переводной литературы, составлявшей по существу часть нашей отечественной культуры, было бы несправедливо и неправильно. Более глубокая и всесторонняя оценка переводческой деятельности Рахманинова поможет еще многое понять и разъяснить в творчестве Крылова, Карамзина и других русских писателей XVIII в.

---

<sup>28</sup> Там же, ч. 3, с. 49—59.

<sup>29</sup> В антологии Гюбера: «L'Habitude et la Nature» (t. 4, p. 135—142).

Ф. З. КАНУНОВА

### КАРАМЗИН И СТЕРН

Стернианство Карамзина-повествователя изучено мало, хотя о нем писали уже после выхода первых частей «Писем русского путешественника», и Карамзина называли не иначе как «нашим Стерном».<sup>1</sup>

Сам Карамзин много раз говорил о своей приверженности к английскому сентименталисту, считая его «оригинальным, неподражаемым, чувствительным, добрым, остроумным, любезным».<sup>2</sup> Карамзин был не только внимательным читателем Стерна, о чем свидетельствуют многочисленные изречения, афоризмы, остроты, чувствительные излияния героев Стерна, рассыпанные в изданиях Карамзина, но и пропагандистом и переводчиком его произведений. Отрывки из «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия» печатаются в журналах Карамзина и снабжаются сочувственными комментариями издателя.

Однако несмотря на все эти широко известные факты, с легкой руки В. В. Сиповского, в литературоведении отрицалась сколь-нибудь серьезная творческая связь Карамзина со Стерном, имена их сближались лишь по чисто внешним признакам. «Весьма возможно, — писал В. В. Сиповский, — что он (Карамзин, — Ф. К.) даже и пытался подражать Стерну, но достаточно беглого взгляда <...>, чтобы увидеть, что попытка эта, если и была, оказалась совершенно неудачною. Индивидуальности обоих писателей настолько различны одна от другой, что между их произведениями очень мало сходного: они различаются и характером и содержанием».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Приятное и полезное препровождение времени, 1794, ч. II, с. 230.

<sup>2</sup> Московский журнал, 1791, ч. II, с. 51.

<sup>3</sup> Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 242. — Несмотря на то что здесь имеются в виду «Письма» Карамзина, В. В. Сиповский распространяет высказанную точку зрения на все творчество писателя. (Ср.: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 2. СПб., 1910).

Проблемы русского стернианства ставились в ряде русских, советских и зарубежных исследований.<sup>4</sup> Более других о стернианстве Карамзина говорит В. Маслов.<sup>5</sup> Однако его работа, как это заметил уже В. В. Випоградов, носит преимущественно библиографический характер. Автор не ставит своей целью ни выяснение сущности влияния Стерна на Карамзина, ни определение (а это особенно важно) его эволюции. В новейших исследованиях о Карамзине можно найти интересные замечания о связи отдельных произведений писателя (преимущественно «Рыцаря нашего времени») с творчеством Стерна.<sup>6</sup> Однако вопрос о влиянии Стерна на эстетику и творчество Карамзина не был еще в нашем литературоведении предметом специального рассмотрения.

Ни в коей мере не претендуя на решение всей проблемы «Карамзин и Стерн», поставим лишь один очень важный вопрос об эволюции стернианства Карамзина как выражении его общей эволюции.

Когда автор «Бедной Лизы» был занят созданием лирической эмоциональной прозы, поэтизацией «жизни сердца», Стерн привлекал Карамзина преимущественно как «оригинальный живописец чувствительности». И переводы из него подбирались в связи с этим преимущественно сентиментально-меланхолического и филантропического характера. Так, в «Московском журнале» было напечатано два отрывка из «Тристрама Шенди» и из «Септиментального путешествия» о Марии,<sup>7</sup> бедной и целомудренной девушке, потерявшей рассудок из-за несчастной любви к изменившему возлюбленному (ситуация, очень понятная и близкая автору «Бедной Лизы»). Отрывок «Мария» относится к числу тех произведений Стерна, где чувствительность явно берет перевес

<sup>4</sup> Веселовский А. Западное влияние в новой русской литературе. Изд. 5-е. М., 1916; Випоградов В. В. 1) Гоголь и натуральная школа. Л., 1925; 2) Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., 1929; 3) Этюды о стиле Гоголя. Л., 1926; Модзалевский Б. Л. Пушкин и Стерн. — Русский современник, 1924, № 2, с. 192—193. — Отдельные замечания о стернианстве Карамзина см.: Brang P. Studien zu Theorie und Praxis der russischen Erzählung. 1770—1811. Wiesbaden, 1960; Cross A. G. Karamzin and England. — The Slavonic and European Review, Volume XLIII, 1964, p. 91—114.

<sup>5</sup> Маслов В. Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII-го и нач. XIX-го вв. — В кн.: Историко-литературный сборник. Посвящается В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 339—376.

<sup>6</sup> См.: Лотман Ю. Пути развития русской прозы 1800—1810-х годов. — Уч. зап. Тартуского унив., вып. 104, 1961, с. 31—33 (Труды по русской и славянской филологии, IV).

<sup>7</sup> Московский журнал, 1791, ч. II, с. 51—56, 179—189 (в дальнейшем страницы названного сочинения указываются в тексте); см. также: Бедный с собакой. Отрывок из Стернова сочинения. — Московский журнал, 1791, ч. III, с. 277—281. — Отрывок был прислан издателю «Московского журнала» неизвестной переводчицей, сделавшей следующее примечание к переводу: «Бедный с собакой своей, Мария и ее Февр останутся вечным монументом его (Стерна, — Ф. К.) чувствительности и будут улаждением сердца, подобных его сердцу» (с. 282).

над столь обычным для Стерна юмором. Это очень хорошо почувствовал Карамзин, выбрав отрывок для своего «Московского журнала».

Перевод Карамзина как бы разукрашен собственно карамзинской сентиментальной лексикой (*поселяне, беззащитный, томный, слабый агнец, меланхолия* и т. д.) с анафорическими конструкциями («Когда всякое око с благодарностью взирает на небо, когда поселяне по музыке работают... Отчего пульс мой бьется так томно... Отчего <...> Ла Флер два раза утирал глаза рукою» (с. 179, 181; курсив мой, — Ф. К.). Карамзин еще в большей мере, чем Стерн, стремится подчинить лексику интонациям чувствительности:

Бедная (тут слезы покатались из глаз ее), бедная верно и теперь бродит где-нибудь кругом деревни (с. 181).

... Her poor daughter, she said, crying, wandering somewhere about the road.<sup>8</sup>

Такое же восприятие Стерна характерно и для перевода рассказа о Лефевре из «Тристрама Шенди»,<sup>9</sup> о бедном офицере, умершем в нищете, и о его маленьком сыне, круглом сироте, которого после Лефевра призрел дядя Тоби. Это так же, как и «Мария», — одно из самых сентиментальных и грустных мест у Стерна, глубоко тронувших Карамзина. «Сколько раз читал я Ле-Февра!» — восклицает издатель «Московского журнала» в своем примечании к переводу (с. 233). Судя по примечаниям Карамзина к переводу «Московского журнала», история Лефевра очень волновала его не только своей чувствительностью, но и замечательным умением двумя словами передать тончайшие душевные побуждения своих героев. «Какой музыкант, — обращается Карамзин к Стерну, — так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами?» (с. 233). В примечаниях Карамзин обращает внимание на тот эпизод, когда умирающий Лефевр посмотрел на дядю Тоби, во взоре которого он прочел столько доброты и участия, а затем с «нежным умилением» посмотрел на своего сына «и сия связь, несмотря на всю свою тонкость, никогда не прервалась» (с. 226).

Понимая, что в переводе этой сцены не была до конца передана сложная стерновская диалектика чувств, Карамзин в своем примечании уточняет психологический смысл этого места: «То есть связь, которую сей Ле-Февров взор положил между стариком Тоби и маленьким Ле-Февром» (с. 226). Карамзина потрясает умение Стерна одним взглядом умирающего передать сложную

<sup>8</sup> Stern Laurence. His Works, v. 5. London, 1783 (A Sentimental Journey through France and Italy), p. 222.

<sup>9</sup> История Ле-Февра (из «Тристрама Шенди». Перевод с английского). — Московский журнал, 1792, ч. V, с. 203—233 (в дальнейшем страницы указаны в тексте). Карамзин указал в примечании: «Перевод не мой: я только сличил его с английским оригиналом» (с. 233).

гамму чувств и душевных побуждений: «Если бы ты еще жив был, любезный Стерн, то я побывал бы в Англии затем только, чтобы поцеловать тебя за сие место» (с. 224).

Таким образом, Стерн привлекал к себе внимание автора «Бедной Лизы» в основном как восхитительный «живописец чувствительности». Это было одностороннее восприятие автора «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия», творчество которого представляет собой сложный синтез чувствительности и юмора.

Сентименталист Стерн, как показывает М. Л. Тронская, был вместе с тем одним из первых разрушителей сентиментализма.<sup>10</sup>

Восприятие Стерна как юмориста мы обнаруживаем уже в «Наталье, боярской дочери» (1792). Здесь та нарочитая свобода рассказчика, свобода авторских отступлений, которые в сознании Карамзина перазрывно связаны с повествовательной манерой Стерна. «Любезный читатель! — восклицает рассказчик после одного из пространных авторских отступлений, — прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего».<sup>11</sup>

Сознательное обнажение литературного приема<sup>12</sup> окрашивает эту повесть Карамзина, по его юмор направлен не против чувствительности вообще, а против крайних ее проявлений, против излишней слезливости и жеманства.

Уже во введении к «Наталье, боярской дочери», говоря о том, что он слышал эту «быль или историю» от «бабушки моего дедушки» и что он боится обезобразить повесть ее, «чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала его клюкою своею за худое риторство» (ИС, с. 623), автор-рассказчик предупреждает читателя от простодушного, излишне чувствительного восприятия его произведения. И приемы иронии у Карамзина очень близки к стерновским. Так, например, писатель рисует первое любовное томление Натальи: «... она вздохнула <...> и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула *в правом глазе ее*, — потом и *в левом* — и обе выкатились — одна капнула на грудь, а другая остановилась *на румяной щеке, в маленькой нежной ямке*, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении» (ИС, с. 629—630).

В том, что это стерновский прием, убеждает нас и следующее место из «Писем русского путешественника»: «Тут обтерла она слезу, которая выкатилась *из правого глаза ее*, как сказал бы Йорик <...> и обтерла другую слезу, блиставшую *на нижней реснице левого глаза ее*» (ИС, с. 216).

<sup>10</sup> Тронская М. Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. Л., 1965, с. 43—46.

<sup>11</sup> Карамзин Н. М. Избр. соч. в двух томах, т. I. М.—Л., 1964, с. 632 (в дальнейшем ссылки на этот том даются в тексте сокращенно: ИС, с.).

<sup>12</sup> Вот пример такого обнажения литературного приема: «Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать» (ИС, с. 639).

Очень часто ироническая интонация создается у Карамзина (так же как у Стерна) при использовании мифологических образов в бытовом, житейском контексте. Особенно это было заметно в журнальной редакции «Натальи, боярской дочери». Вот пример:

*Редакция «Московского журнала»*

Довольно знать и того, что боярская дочь могла б быть образцом Дионеи для живописца или четвертою грациею и что, видя ее у обедни, самые богомольные старики забывали класть земные поклоны.<sup>13</sup>

*Издание 1803 года*

Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны...<sup>14</sup>

Подобных примеров можно привести очень много. Все они говорят о том, что в дальнейшей работе над повестью Карамзин от этой манеры освобождался.<sup>15</sup> Однако журнальный вариант позволяет обнаружить литературную школу Карамзина, его зависимость от Стерна.<sup>16</sup>

Начиная с «Юлии», т. е. с середины 90-х годов, писатель пересматривает свой взгляд на чувствительность. Сейчас полнее, чем прежде, он видит ее органическую связь с рационализмом и стремится преодолеть ее односторонность.

С наибольшей полнотой и очевидностью это новое, более сложное отношение к Стерну проявилось в «Рыцаре нашего времени». Это синтетическое произведение, в котором суммированы достижения Карамзина-прозаика за весь прежний период.

Вполне откровенно идя от традиций Стёрна и Руссо, Карамзин осуждает рационализм в изображении человеческого характера. Он иронизирует над самим рационалистическим принципом деления героев на злодеев (от начала до конца) и добродетельных (тоже от начала до конца), когда добродетельные «несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными», а злодеи «описываются самыми черными красками» и, «наконец, как прах, исчезают» (ИС, с. 765). Карамзин стремится вслед за Стерном разрушить условную традиционную форму романа. Этому служили и такие типично стерновские средства отталкивания от классицистической поэтики, как причудливое построение глав, своеобразная игра романной формой, особенно в первой части

<sup>13</sup> Московский журнал, 1792, ч. VIII, с. 22—23.

<sup>14</sup> Соч. Карамзина, т. 6. М., 1803, с. 152.

<sup>15</sup> Более подробно см. об этом: Канунова Ф. З. Из истории русской повести. (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск, 1967, с. 94—98.

<sup>16</sup> Определенное влияние Стерна на Карамзина в «Наталье, боярской дочери» было отмечено и англичанами. В предисловии к английскому изданию произведений Карамзина 1804 г. автор издания проводит параллель между Карамзиным и Стерном и считает, что Карамзину удалось обнаружить «полное понимание всего, что создал этот восхитительный автор». При этом предпочтение отдается «Наталье, боярской дочери». Цитирую по ст.: Cross A. G. Karamzin and England, p. 112.

«Рыцаря нашего времени» (например, четвертая глава с подзаголовком: «которая написана только для пятой», или вторая: «Каков он родился»), состоящая из десяти шуточных фраз).

Первая часть «Рыцаря нашего времени», несущая на себе несомненные следы влияния Стерна, является своего рода лабораторией поисков нового стиля. Стерновская манера авторского контроля над действием, непрерывного иронического комментирования направлена прежде всего, говоря словами Карамзина, против «Аристотелевых и Горациевых» правил. Вместе с тем широко используемая ирония несравненно усложнила прежнюю сентиментальность Карамзина. Не желая, как он говорит, навлекать на себя обвинения в бедности своего воображения, автор показывает своему читателю различные образцы слога, и «быстро паря вверх и плавно опускаясь вниз» (ИС, с. 758).

Эстетика Карамзина была в принципе компромиссна. Использование иронии у Карамзина не снимало сентиментализма как такового, а лишь отрицало его крайности. Карамзин отказывается от излишеств сентиментализма, от манерности и искусственности с тем, чтобы сохранить главное для себя в сентиментализме — веру в спасительные свойства чувства, в возможность обрести гармонию в душе отдельного человека.

Был еще один очень важный (едва ли не важнейший) аспект расхождения Карамзина и Стерна. Карамзин решительно не принимал порождаемого в принципе чуждым ему скепсисом Стерна его крайнего субъективизма в творчестве, когда широко расплеснутые авторские эмоции и бесконечный непринужденный поток пестрых ассоциаций поглощали собою объективный мир с его сложнейшими коллизиями и диссонансами.

Творчество Карамзина было в большей мере связано с реальным объективным миром. На это уже обратил внимание В. В. Сиповский, сравнивая «Письма русского путешественника» и «Сентиментальное путешествие» Стерна. Говоря о том, что Стерн ревниво следит за своей чувствительной душой, охотно наслаждается игрой своего воображения, «доводившего его порой до галлюцинаций»,<sup>17</sup> исследователь утверждает, что Карамзин никогда не отдавался чувству безраздельно, «в его душе жили интересы разума, ему нужен был внешний мир с его действительной, реальной жизнью».<sup>18</sup>

В дальнейшем эта связь с действительностью в творчестве Карамзина становилась глубже. Особенно это характерно для произведений конца 1790—начала 1800-х годов («Рыцарь нашего времени», «Марфа-посадница»).

Уже вторая часть «Рыцаря нашего времени» (1802) существенно отличается от первой (1799) именно усилением объективности повествования и, следовательно, отходом от Стерна. Карам-

<sup>17</sup> Сиповский В. В. И. М. Карамзин... , с. 362.

<sup>18</sup> Там же. с. 428.



зин отказывается от чрезмерной легкости авторского тона, буквально подавляющего собой повествование, и в значительно большей мере овладевает объективной манерой письма. Писатель стремится выработать новый слог, в котором бы удачно сочетались лучшие достижения сентиментальной повести и новые объективные тенденции его творчества.

Проблема «внутреннего человека» в «Рыцаре нашего времени» впервые в творчестве Карамзина становится не просто литературной или нравственной, но и общественной проблемой. Этим, так же как стремлением создать произведение об *истории жизни человека* со всеми противоречиями его сердца, Карамзин был близок Руссо. В «Рыцаре нашего времени» своеобразно пересеклись традиции Стерна и Руссо, этих великих и очень разных представителей европейского сентиментализма.

Однако несмотря на богато представленную литературную школу, «Рыцарь нашего времени» — произведение оригинальное, ставящее актуальные проблемы русской национальной литературы.<sup>19</sup>

Таким образом, на основании всего сказанного можно сделать следующие выводы:

1) В литературной школе Карамзина значительное место принадлежит Лоренсу Стерну.

2) Стернианство Карамзина в связи с изменением мировоззрения писателя претерпело определенную эволюцию от восхищения чувствительно-филаптропическим Стерном к достаточно глубокому восприятию Стерна-юмориста, разрушителя рационалистической эстетики.

3) Определив собою важную веху в становлении Карамзин-писателя, творчество Стерна несло с собою и черты, в принципе неприемлемые для автора «Рыцаря нашего времени», обусловленные различным восприятием идей Просвещения, которое объяснялось различным пониманием человека.

---

<sup>19</sup> Сам Карамзин, подчеркивая оригинальность своих замыслов и своих героев, говоря, например, об отце Леона, о том, что он был самый добрый человек, добавляет: «Однако ж немало не сходный характером с известным дядею Тристрама Шанди — добрый по-своему и на русскую статью» (ИС, с. 747).

## Л. В. КРЕСТОВА

### А. И. ПЛЕЩЕЕВА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ КАРАМЗИНА

Среди многих жизненных встреч одной из самых значительных была для Карамзина его долгая привязанность к Анастасии Ивановне Плещеевой. Карамзин познакомился с ее мужем, по-видимому, еще будучи учеником профессора Шадена. Сблизился же он с ним, когда окончательно перебрался, по совету И. П. Тургенева, в Москву (1785) и вошел в круг новиковской молодежи. Алексей Александрович Плещеев был богатым орловским помещиком,<sup>1</sup> секунд-майором в отставке. «Он был много старше Карамзина и относился к нему с вниманием и симпатией... Плещеев был поглощен службой в Московском казначействе и управленем своим поместьем».<sup>2</sup> Однако Плещеев не был лишен и литературных интересов. Так, вместе с ним Карамзин отправил в 1787 г. в цензуру книги: Карамзин — поэму Камозиса с своим предисловием, Плещеев — «Рассмотрение патуры», судьба которой нам неизвестна.<sup>3</sup> Позднее, занимаясь «Историей государства Российского», Карамзин упоминал среди материалов о Годунове: «Моя летопись, писанная отцом Алексея Александровича <Плещеева>».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Об имущественном положении А. А. Плещеева отчасти свидетельствует следующая публикация в «Московских ведомостях» от 23 января 1775 г. № 7: «Подпоручика Алексея сына Плещеева каменный дом, состоящий в Белом городе, во 2 части на Тверской улице, в приходе Василия Неокесарийского, в коем о двух этажах палаты: в верхнем 14 покоев, в нижнем 6 жилых, 3 сени теплые, 3 кладовые, 2 погребца для вин, на дворе поварня с приспешною каменная, под ними выход, сарай на 4 кареты, ледник, житница для ссытки хлеба, конюшня о 14 стойлах и место для ямских лошадей, желающим нанять о цене осведомиться в том же доме у служителя Михайлы Ветошкина».

<sup>2</sup> Верховская Н. Карамзин в Москве и Подмосковье. М., 1968, с. 25.

<sup>3</sup> См.: Смирнов С. Цензурная ведомость 1786—1788 годов. — В кн.: Оснадцатый век. Исторический сборник, издаваемый П. Бартневым. Книга первая. М., 1869, с. 499—500.

<sup>4</sup> Незданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I. СПб., 1862, с. 212.

Карамзин был частым посетителем дома Плещеевых, хорошо знал их детей.<sup>5</sup> С Анастасией Ивановной<sup>6</sup> у него сложились особые отношения.

А. И. была натура страстная, умела любить безгранично. В семейной жизни она вряд ли была счастлива. Об этом свидетельствует ее письмо А. М. Кутузову от 21 июня 1791 г.: «Божусь вам, что я боюсь сойти с ума: можно ли, что я всех так люблю много, а меня никто? Алексей Александрович любит меня, это правда, но не так, как я его. Его пасмурный вид меня сокрушает <...> Это правда, что он редкий супруг; то делает, что редкие могут сделать; но нет в нем той нежности, которую я имею <...> Это будто любовь!».<sup>7</sup>

В А. И. Плещеевой Карамзин нашел душевное созвучие; с ней он проводил дни в литературной работе и беседах. А. И. огорчалась из-за отъезда Карамзина за границу в 1789 г. и осуждала его врага. Им был, по-видимому, князь Г. И. Гагарин, порвавший в это время с масонами и доносивший Прозоровскому об участии Карамзина в кружке Новикова в «Дружеском обществе».

Плещеевой казалось, что по возвращении из-за рубежа (15 июля 1790 г.) у Карамзина потухло чувство к ней. Однако она была не права. Внешне это доказывает долговременное проживание Карамзина в доме Плещеевых в Москве и поместье Знаменском (Орловской губ.), а внутренне — нежное имя Аглаи, греческой богини красоты, которым называл он в своих ранних произведениях Анастасию Ивановну.

Так, «Райскую птичку» (1792) Карамзин заключает словами: «Любезная Аглая, я также не чувствую времени, когда внимаю твоему пению».<sup>8</sup> Предметы, подаренные Аглаей, становятся любимыми и дорогими Карамзину. В неоконченной повести «Лиодор» упоминается трость, с которой Карамзин путешествовал за рубежом.<sup>9</sup> Он вспоминал эту трость в «Письмах русского путешественника».<sup>10</sup>

Так, в отдельном издании «Писем» (1797), где имеется посвящение «семейству Плещеевых»: «К Вам писанное — Вам и посвящаю», — приобретают особое значение слова, несомненно обращенные к Анастасии Ивановне. Карамзин пишет из Лиона:

<sup>5</sup> См.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 347—349.

<sup>6</sup> Внешность А. И. Плещеевой теперь нам известна. Ее портрет «Дама в белом» хранится в фондах Государственного литературного музея; на обороте надпись: «Анастасия Ивановна Плещеева, рожд. Протасова». Портрет обнаружен и напечатан Н. Верховской в «Литературной России» от 18 июня 1971 г., № 25/441, с. 13.

<sup>7</sup> Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915, с. 130.

<sup>8</sup> Московский журнал, 1791, ч. III, с. 201.

<sup>9</sup> Там же, 1792, ч. V, с. 308.

<sup>10</sup> Там же, 1791, ч. III, с. 68 (запись от 20 июля 1789 г.); А. И. Плещеевой посвящена вторая книга альманаха «Аглая».

«Увидел фиалку и сорвал ее, но мне показалось, что она не так хорошо пахнет, как наши фиалки, — может быть оттого, что я не мог отдать сего цветочка любезнейшей из женщин и вернейшему из друзей моих». <sup>11</sup>

Имя Аглаи встречается и в других произведениях Карамзина. Так, в прозаическом этюде «Невинность» <sup>12</sup> Плещеева приняла образ «любезной Аглаи».

В 1792 г. Карамзин пишет поздравление Аглае с новым годом, называя ее «любезной и прекрасной». Здесь Карамзин свидетельствует: «сердца наши разумеют друг друга». <sup>13</sup>

В стихах «Любезной в день ее рождения» (1794) Карамзин писал:

В сей день тебя любовь на свет произвела,  
Красою света быть, владеть людей сердцами;  
Осыпала тебя приятностей цветами;  
Сказала: будь мила! . . .  
«Будь счастлива!» сказать богиня не могла. <sup>14</sup>

В. В. Сиповский, комментируя это стихотворение, указывал, что оно тоже посвящено А. И. Плещеевой. <sup>15</sup>

Если в посвящении первой книги «Аглаи» чувство Карамзина скрыто, то во второй книге (1794) оно вырывается наружу, насыщено тоской и печалью. «Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные желания. . . Ничто не прельщает меня в свете. Чего искать? К чему стремиться? . . . К новым горестям? Они сами найдут меня, и я без ропота буду лить новые слезы». <sup>16</sup> Единственное утешение среди событий на Западе и в России, которое дает Карамзину отраду, — это образ А. И. Плещеевой. Карамзин называет Плещееву «другом своего сердца, единственным бесценным». На первый взгляд кажется, что обращение это, как и раньше, говорит только о дружбе «нежной», «великодушной, святой», которая «составляет всю цену и счастье жизни». Но через строку он пишет об «утешении — любить», «любить и чувствовать, что мы любим». Это признание «мы любим», отнесенное к обоим, — прямое свидетельство взаимных чувств Н. М. Карамзина и А. И. Плещеевой.

Через год Карамзин пишет «Послание к женщинам» (1795), где вспоминает:

Десять лет тот день благословляю,  
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;  
Гармония сердец соединила нас  
В единый миг навек. <sup>17</sup>

<sup>11</sup> Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2 томах, т. 1. М.—Л., 1964, с. 360—361.

<sup>12</sup> Московский журнал, 1791, ч. II, с. 64—65.

<sup>13</sup> Там же, 1792, ч. V, с. 84.

<sup>14</sup> Карамзин Н. М. Соч., т. I. Пг., 1917, с. 86.

<sup>15</sup> Там же, с. 424.

<sup>16</sup> Аглая, 1795, ч. 2, с. 5.

<sup>17</sup> Карамзин Н. М. Соч., т. I, с. 149—150.

Кончается это стихотворение словами; «Он любил, Он нежной женщины нежнейшим другом был». На это послание Державин отозвался едкой эпиграммой «Другу женщин» (1796):

Замужней женщины прекрасной  
Кто дружбу приобрести умел, —  
Для толков, для молвы напрасной  
Тот лучше бы стихи ей в честь не плел.<sup>18</sup>

Но свои посвящения А. И. Плещеевой Карамзин повторяет и позднее. В 1796 г. он переводит повесть г-жи де Сталь «Зюльма», исполненную романтических страстей и подражающую в основном роману Ж.-Ж. Руссо. Это одно из ее ранних произведений, предназначавшееся для главы «О любви» трактата «De l'influence des passions». Герой произведения нарисован бледно и слабо, зато в героине, по словам Карамзина, «даже живая картина страсти! Одна чувствительная женщина может писать такими красками». «Зюльма» (в переводе Карамзина — «Мелина») напечатана с надписью: «Настасье Ивановне Плещеевой в знак дружбы и почтения от переводчика», далее приписано: «Госпожа Сталь есть автор Мелины: я осмелился быть ее переводчиком».<sup>19</sup>

Рассказ вложен в уста молодого человека, типичного героя конца XVIII в. Он пленник «диких», живущих на берегу Орипоко, и «выучился языку их». Однажды он присутствует на суде, который судит убийцу, молодую женщину. В приподнятом романтическом стиле ведет Мелина (Зюльма) рассказ о своем преступлении — убийстве своего возлюбленного Фернанда.

В юности Фернанд был пленником «гинианского генерала»: он учился среди «просвещенных народов», по гордая душа его, родившаяся в стране, где нет «законного различия состояний», не могла привыкнуть к «европейским уставам». Фернанд возвратился на родину, чтобы «жить с патурою, в спасительной простоте ее, в невинности нравов», занялся охотой. Постепенно он завоевал уважение народа. Стал «героем», предводителем войска. Мелина, увидев Фернанда, влюбилась в него. Тот просвещал ее, обучал наукам, хотел управлять ее мыслями, чувствами, мнениями. «Рассудок мысли» Мелины сделался творением Фернанда. Он стал «связью ее идей».

Мелина боялась возникшего в ней чувства. «Страсть огненная, сильнейшая овладела ее сердцем». Она чувствовала возможность такого счастья, «которое опровергает все жалобы на несовершенство человеческое». Если сердце может насладиться таким блаженством, «то для чего же страшиться любви». Фернанд клялся

<sup>18</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. III. СПб., 1870, с. 281.

<sup>19</sup> Карамзин Н. М. Мелина. Перевод с французского. М., 1796. — Об изданиях этой повести см.: Заборов П. Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века. — В кн.: Ранние романтические веяния. Л., 1972, с. 169—172.

вечно любить Мелину. В свою очередь Мелина требовала от него только одной клятвы: «Когда почувствуешь, что твоя душа готова отстать от моей души, умертви меня». Свое страстное чувство она подтвердила целым рядом поступков: она спасла мать Фернанда от «ярости волн», защитила Фернанда от гнева парода, обвинившего его в измене и приговорившего к смерти. Обманув всех, Мелина спасла юношу. Они бежали и целый год скитались в «бесплодных пустынях, среди страшных утесов», «песков горящих». Их томил голод и мучила жажда. Но Фернанд был «окружен печалью и любовью женщины». В конце концов невинность Фернанда открылась. Он стал снова печальствоваться над войсками. Однажды разнесся слух, что Фернанд погиб в сражении. Мелина идет на его поиски. Страшная скорбь охватывает ее. Она падает от слабости — как вдруг является Фернанд. При виде его Мелина чувствует «бесконечность нравственного бытия». «Душа ее едва могла перенести свое блаженство». Но Фернанд был ранен отравленной стрелой, для его спасения надо было высосать из раны «ужасный яд». На это решилась Мелина, «сама борясь со смертью». Выздоровев, Фернанд покинул ее на несколько дней, а потом возвратился. Мелина идет ему навстречу — и вдруг... видит Фернанда в объятиях юпой Мирзы. «Тут глаза Мелины помрачались... Она не имела времени думать, схватила лук, пустила смертоносную стрелу, и Фернанд упал. Она лишилась чувств».

Народ, который выслушал исповедь Мелины, «зашумел», старцы-судьи, тронутые рассказом, вынесли ей по ее родным, обреченным на изгнание, оправдательный приговор, но сама Мелина не может забыть Фернанда, не может простить своего поступка. «Никакое судилище, никакой народ, ни само небо не может судить меня с Фернандом, — восклицает она. — Любовь выше законов, выше людских мнений, она истина, пламя, небесная стихия, первая идея нравственного мира». Мелина ранит себя в сердце и умирает, падая у ног матери Фернанда.

Выбор повести г-жи де Сталь для перевода не был случаен. В ней Карамзина привлекла романтическая напряженность страстей. В позднее написанном предисловии к этой повести г-жа де Сталь заявляла: «Для того, чтобы описать любовь, я хотела показать картину горя самого ужасного и характер самый страстный. Когда горе бывает бесспорным (безвозвратным), тогда душа находит какое-то хладнокровие, которое позволяет думать, не переставая страдать. Вот в таком состоянии страсть должна стать самой выразительной. Я пыталась поставить в такое положение Зюльму. Это писание более всех других близко моей душе».<sup>20</sup>

Оно было близко и Карамзину. В переводе он не только воспроизвел зарождение и развитие глубокого чувства Мелины, ее

<sup>20</sup> Oeuvres complètes de madame la Baronne Staël-Holstein, t. I. Paris, 1821 Avant-propos, p. 101.

самопожертвование ради Фернанда, трагический, горестный исход этой любви. Он также внес в стиль произведения дополнительную лирическую тональность, напоминающую нежность его прежних обращений к Плещеевой-Аглае.<sup>21</sup> Возможно, что Мелина, способная доходить до предела страсти и горя, напомнила ему А. И. Плещееву.

Следует принять во внимание также и те жизненные обстоятельства, которые приходилось переживать Н. М. Карамзину в последние годы царствования Екатерины II. Это было тяжелое и трудное время. Ходили слухи, рассеянные «злостью и глупостью», что Карамзин сослан. Его биограф М. П. Погодин писал: «Нет сомнения, что они (эти слухи, — Л. К.) имели основанием какие-нибудь действительные причины».<sup>22</sup> Карамзин «прощается с литературой». Он стал лишь переводчиком, удалился из Москвы в деревню к А. А. Плещееву.

«Слабое здоровье милой Настасьи Ивановны и вообще грустные их обстоятельства удерживают меня здесь, — писал он брату, — сердечная моя привязанность к их дому не позволяет мне жалеть об удовольствиях московской рассеянной жизни».<sup>23</sup> Внимание Карамзина занимает теперь тяжелое материальное положение семьи Плещеевых, которой он всячески помогает. Писатель решает отдать Плещеевым деньги, вырученные от продажи имения, и сообщает брату: «Я, получив от вас деньги, по долгу сердечной дружбы, обязан отдать их Алексею Александровичу, который имеет в них нужду. Странно бы было для всех, знающих связь мою с его домом, если бы я поступил иначе».<sup>24</sup>

Долголетняя дружба с этой семьей и отношения Карамзина с Анастасией Ивановной Плещеевой — все это представляет несомненный интерес для изучения биографии писателя.

---

<sup>21</sup> Ср. тексты г-жи де Сталь и Карамзина: «femme respectable» — «нежная душа» (с. 13); «par le charme de sa reconnaissance» — «нежные уверения» (с. 34 и 38); «les courses les plus penibles» — «нежные примечания» (с. 35); «Le charme de sa reconnaissance» — «восхитив меня своею нежною признательностью» (с. 39); «Mes sollicitations ardentes» — «вежливая просьба» (с. 47).

<sup>22</sup> Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. I. М., 1866, с. 245.

<sup>23</sup> Там же, с. 253.

<sup>24</sup> Там же, с. 254.

В. Э. ВАЦУРО

## Г. П. КАМЕНЕВ И ГОТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В 1804 г., составляя вторую часть «Периодического издания», А. Х. Востоков отбирал для напечатания последние сочинения недавно скончавшегося Г. П. Каменева. Он остановился на поэме «Граф Глейхен» и отверг четыре стихотворения, два из которых до нас не дошли и известны только по названиям — «Цыганка» и «Алонзо и Имогена».<sup>1</sup>

Эти утраченные стихи Каменева, как можно предполагать, были весьма интересны в историко-литературном отношении. Их названия почти дословно совпадают с названиями первой и последней из стихотворных интерполяций, помещенных в тексте знаменитого «Монаха» М. Г. Льюиса (1796) — одной из вершин английского готического романа XVIII столетия.

Чтобы оценить значение этого эпизода, нужно поставить его в некоторый контекст, проследив, в частности, предпосылки обращения Каменева к готическому роману.

\* \* \*

К 1799 г. относятся несколько переводов Каменева из Козегартена. Этот поэт был популярен у русских преромантиков; его переводил и Карамзин («Могила», 1792). Проживший долгие годы в Шведской Померании, в частности на острове Рюген, он сознательно вводил в литературу легендарную историю викингов и древних славян, видя в ней один из источников национально специфичной поэзии. Его легенды, переведенные Каменевым, — «Ритогар и Ванда», «Ралунки» — своеобразные славянские эквиваленты оссианических поэм. Последнюю легенду («Die Ralunken»), посвященную истории Рюгена, Каменев выбрал, вероятно, не без воздействия Карамзина: Рюген был историческим аналогом

---

<sup>1</sup> Поэты-радищевцы. (Вольное общество любителей словесности, наук и художеств). Ред. и комм. Вл. Орлова. Л., 1935. (Библиотека поэта. Большая серия), с. 522.



острову Борнгольму, о чем упоминал Карамзин в своей повести.<sup>2</sup> Следуя оссианической традиции, Каменев переводит гекзаметры или вольные стихи Козегартена ритмической прозой, иногда со стихотворными вставками; ему нужен «фрагмент», с определенным соотношением сюжетной основы и растворяющей ее лирической медитации, — совершенно того же типа, что «Остров Борнгольм», «Лиодор» или «Сьерра-Морена». Вместе с тем он отнюдь не остается нечувствителен к сюжетной и даже фабульной стороне повествования. Избранные им легенды — своего рода рыцарские романы в миниатюре, по своей экспрессивности приближающиеся к мелодраме, с характерными коллизиями: страсть, приводящая к преступлению и насилью, красота, завоевываемая силой оружия. Их герои — не только рыцарь, но и разбойник-рыцарь; не только угнетенная невинная жертва, но и обуреваемая страстями «демоническая женщина». Все это — обычные черты немецкого «разбойничьего романа». Подобно Льюису, Каменев был писателем «немецкой» ориентации. Так же как Льюис, он испытал полосу увлечения Шписсом и Коцебу, но в отличие от автора «Монаха» лишь отчасти усвоил от них столь важные для готического романа элементы драматической и мелодраматической техники. Во всяком случае, из Коцебу он переводит моралистические повести с сентиментальным колоритом; лишь в «Гробнице на холме» (1802) ощущаются признаки мелодрамы в прозе. В большей мере они свойственны «Софье, или Сумасшедшей от любви», повести Шписса, переведенной Каменевым в 1804 г.

Нам неизвестно, знал ли он образцы немецкого Schauerroman, в частности «Petermännchen» Шписса с его сверхъестественными пинферпальными сценами, с инцестом — со всем тем, что нашло затем отражение в «Монахе» Льюиса. Как бы то ни было, уже в октябре 1800 г., через год после выхода переводов из Козегартена, Каменев сообщает С. А. Москотильникову из Москвы, что накануне прочел «роман „Dusseldorf ou le Fratricide“, переведенный с аглинского». «Приключения хотя и обыкновенны, но занимательны; а особливо театр происшествий. — Действие в Норвегии и в Вене. Зимние сцены, разваливающиеся замки, скелеты описаны довольно разительными красками. Штиль очень не дурен, и много новых фигурных оборотов».<sup>3</sup> Названная им книга — одно из многочисленных произведений Анны Мариц Маккензи, сразу же по выходе в 1797 г. переведенное на французский язык. Роман этот — набор общих мест готической ли-

<sup>2</sup> См. подробнее: Шарышкин Д. М. Скандинавская тема в русской романтической литературе. — В кн.: Ранние романтические веяния. (Из истории международных связей русской литературы). Л., 1972, с. 128 и сл.

<sup>3</sup> Боброев Е. А. Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки, т. III. Казань, 1902, с. 136.

тературы, с семейным преступлением и тайной феодального рода Дюссельдорфов (заточение жены, предполагаемое убийство брата), с мотивом узурпации, с типами невинно преследуемых добродетельных героев и наделенного адской хитростью и коварством узурпатора — младшего Дюссельдорфа, с неожиданными узнаваниями и т. п. Для Каменева все это уже не является новостью («приключения <...> обыкновенны»); очевидно, он хорошо знает литературу такого рода. Не лишним будет заметить, что в 1800 г., когда пишется письмо, готическая волна еще не захватила в России широкую читательскую массу и что двумя годами позднее «Дюссельдорф» появится на русском языке в переводе З. А. Буринского (1780—1808), тогда студента Московского университета, близкого к Мерзлякову и Гнедичу, литератора, которому прочили блестящую будущность.<sup>4</sup> Письмо Каменева выдает в нем, таким образом, внимательного читателя готической литературы, со специальными интересами в этой области. Любопытно и то, что Каменев выделяет в «Дюссельдорфе» наиболее экспрессивные эпизоды, тяготеющие к «ужасным» сценам в немецких романах, — «зимние сцены», описание пустынного, страшного и величественного морского побережья, где происходит похищение героини (кн. 3, гл. 3—5), и развалин замка Карлоштейн, с подземными темницами, где на крючьях висят скелеты погибших здесь узников (кн. 5, гл. 1, 2, 6 и в особенности 3). Он явно не склонен остановиться на компромиссной эстетике А. Маккензи, отвергавшей «ужасы» и сверхъестественное с позиций рационалистической «сентиментальной готики», по следовавшей «черному роману» в самых основах своей поэтики.<sup>5</sup> Вслед за «Дюссельдорфом» он принимается читать второе крупное произведение близкого типа — «Селестину» Шарлотты Смит.<sup>6</sup>

По вероятному предположению Е. А. Боброва, Каменев принялся за чтение этих романов под влиянием разговоров с Карамзиным.

Более того, если, как мы думаем, в 1799 г. «Остров Борнгольм» натолкнул его на перевод легенды из истории Рюгена, то теперь едва ли не «Сьерра-Морена» определила его обращение к балладе об Алоизо и Имогене — с близким сюжетом и даже одинаковым именем героя. Сюжет этот, впрочем, не был совершенно нов для русского читателя.

<sup>4</sup> Братоубийца, или Таинства Дюссельдорфа; сочинение английское Аппы Маккензи; перевод с французского, ч. 1—8. М., 1802—1803; ср.: Рогожин В. П. Указатель к «Опыту российской библиографии В. С. Сопикова...». Изд. 2-е. СПб., 1908. — К т. 3 русского перевода приложена гравюра, изображающая как раз «сцену со скелетами».

<sup>5</sup> Sumner's M. The Gothic Quest. A History of the Gothic Novel. N. Y., 1964, p. 172—173.

<sup>6</sup> Бобров Е. А. 1) Литература и просвещение в России XIX в., т. III, с. 136; 2) К биографии Гавриила Петровича Каменева. Варшава, 1905, с. 55.

Уже Н. С. Тихонравов обратил внимание на две баллады — «Ленардо и Бландина» Бюргера и «Вильям и Маргарита» Д. Маллета, помещенные в русском переводе в тех самых книжках «Ишпокрены», в которых печатался Каменев.<sup>7</sup> Последней из них — «Fair Margaret and Sweet William» — принадлежала особая роль в истории романтизма. Она стала известна сравнительно рано: обработка Давида Маллета относится еще к 1724 г., однако широкую популярность ей дал сборник Т. Перси. Отсюда наряду с двумя другими близкими ей балладами — «Margaret's Ghost» и «Sweet William's Ghost» — она вошла в немецкую литературу через балладное творчество Гельти и Бюргера. «Ленора» и «Ленардо и Бландина» последнего разрабатывали разные варианты этого сюжета.<sup>8</sup> Гердер популяризировал его еще более своими «Голосами народов в песнях» (ср. там «Wilhelms Geist» и «Wilhelm und Margret»). Льюис вернул его в английскую литературу уже осложненным немецкой традицией разработки. В 1796 г. в романе «Монах» появляется его оригинальная баллада «Храбрый Алонзо и прекрасная Имогена» («Alonzo the Brave and Fair Imogene»), опиравшаяся на «Ленору» и отчасти — «Ленардо и Бландину».<sup>9</sup>

Баллада Льюиса имела необычайный успех. На протяжении 1796—1797 гг. ее перепечатали по крайней мере восемь английских журналов.<sup>10</sup> В 1800—1801 гг. сам Льюис ввел ее в свой балладный сборник «Tales of Wonder», который он составлял вместе с молодым Вальтером Скоттом. Эту-то балладу и выбрал для перевода Каменев, по-видимому, воспользовавшись каким-то посредником — немецким или французским.

Льюисовский вариант «Леноры» вполне соответствовал общему стилю «Монаха». По сгущенности балладного колорита он превосходил свой оригинал. Мотивы «ужасного» (явление мертвого возлюбленного на свадебном пиру клятвопреступницы Имогены)

<sup>7</sup> Вильям и Маргарита, баллада (прозаический перевод). — Ишпокрена, 1800, ч. VI, с. 426; «Песенка об Леонарде и Бландине» в составе повести «Ночеходец, или Лунатик» — там же (ч. IV, с. 274 и сл.); Тихонравов Н. С. Соч., т. III, кн. 1. СПб., 1898, с. 428 и 60. — Непосредственный источник первой баллады определен Ю. Д. Левиным, см. его статью: Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — В кн.: От классицизма к романтизму. (Из истории международных связей русской литературы). Л., 1970, с. 276; здесь же указан и более поздний перевод этой баллады (1805), сделанный прозой непосредственно с подлинника С. С. Бобровым.

<sup>8</sup> Kayser Dr. W. Geschichte der deutschen Ballade. Berlin, 1936, S. 86 ff.

<sup>9</sup> Railo E. The Haunted Castle. London, 1927, p. 244.

<sup>10</sup> Parreaux A. The Publication of «The Monk». A Literary Event 1796—1798. Paris, 1960, p. 52.

выступили здесь в концентрированном и натуралистическом виде. Это уже не бесплотный дух «любезного Вильяма» и даже не жених Леноры, чья потусторонняя природа познается лишь по косвенным признакам и обнаруживается окончательно только в заключительных сценах. Этот дух материализован в скелете, обуреваемом загробной страстью, с червями, выползающими из мертвых глазниц. Он проваливается вместе с Имогеной, и баллада оканчивается описанием дьявольских оргий, которые разыгрываются с тех пор ежегодно в опустевшем и вымершем замке:

И пока они пьют из свежевырытых черепов,  
Вокруг них видны пляшущие призраки;  
Их питье — кровь, и они воют свой страшный стих:  
«Во здравие Храброго Алонзо  
И его супруги, вероломной Имогены!»

Именно эти особенности уже не оссианической, но «френической» немецкой баллады сказываются в «Громвале». Фантастические образы здесь столь же материальны; «ужасное» концентрированно; на поэтику «таинственного» нет и намека. Как в балладах Гельти и Льюиса, сцена периодически повторяется в замке Зломара; в адском спектакле принимают участие «гаркающие, воющие» скелеты; мы находим здесь и характерное синее освещение сцены (ср. у Льюиса — при появлении призрака лампы вспыхивают синим огнем). Это — серное, адское пламя; мы находим его в конце VII главы «Монаха», в сцене, предшествующей появлению Люцифера. Цветовая конкретность эпизодов «Громвала» была разрушена последующей правкой; издатели заменяли цветовые эпитеты эмоциональными, изменяя тем самым и стилистический строй произведения.<sup>11</sup>

При отсутствии текста баллады Каменева об Алонзо и Имогене все эти сопоставления неизбежно носят общий характер и в известном смысле гипотетичны. Как мы указывали выше, Каменев, вероятнее всего, пользовался посредником-переводом; во французском же переводе,<sup>12</sup> например, устранены как раз «френические» особенности оригинала. Однако самый выбор источника был закономерностью, и в «Громвале» обнаруживаются следы тяготения к балладной поэтике льюисовского типа. Это существенно. «Вопрос о жанре „Громвала“, — указывал П. Н. Берков, — имеет большее значение, чем просто казус из области поэтики <...> „Громвал“ был в течение 20 лет после своего создания актуальным явлением русской литературы»;<sup>13</sup> вместе

<sup>11</sup> Берков П. Н. К истории текста «Громвала». (К социологии текстологических изучений). — Изв. АН СССР, Отд. общ. наук, 1934, № 1, с. 81.

<sup>12</sup> См. текст его в кн.: Killen A. Le roman terrifiant ou le roman noir de Walpole à Ann Radcliffe et son influence sur la littérature française jusqu'en 1840. Paris, 1927, p. 217.

<sup>13</sup> Берков П. Н. К истории текста «Громвала», с. 66.

с ним на литературу и читательскую среду воздействовала и представляемая им стилевая типология.

Такова одна из баллад, переведенных или переработанных Каменевым. Что касается другого стихотворения — «Цыганка», то оно, по-видимому, имеет своей основой одно из трех небольших стихотворений, которые колдунья-цыганка произносит в конце первой главы романа Льюиса. Скорее всего это первое из них — «Песнь цыганки» («The Gipsy's Song»), наиболее автономное, выступающее на правах отдельной баллады; остальные трудно понимаемы вне контекста. В нем идет речь о могуществе чародейки и о пророческом даре, который дает ей волшебное зеркало. Впрочем, не исключается возможность и контаминации мотивов: третий стихотворный монолог цыганки — предсказание печальной судьбы и ранней смерти героини романа Антони — в эти годы довольно близок к умонастроениям самого Каменева. Мотив утраты возлюбленной, «увядшей не созрев», — мотив, вероятнее всего, автобиографический, — есть в «Мечте» (1796) и, по-видимому, в «Эдальвине» (1799); пророчество же о скорой смерти составляет содержание автобиографической заметки Каменева и его последнего стихотворения «Сон»; в образности этих произведений (таинственный вестник в черном, мертвец в гробу, по-видимому двойник поэта, скелет, поднявшийся из могилы) прямо или косвенно отразились и масонская символика, и мотивы «кладбищенской поэзии», и — как можно думать — впечатления от прочитанной готической литературы.

\* \* \*

Итак, перед нами — первый русский отклик на знаменитый готический роман Мэтью Грегори Льюиса, вышедший в Англии в 1796 г.,<sup>14</sup> имевший успех скандала и сразу же переведенный на французский (1797) и немецкий (1797—1798) языки.<sup>15</sup> Был ли

<sup>14</sup> Предположение Л. В. Крестовой (см. ее крайне интересную работу «Повесть Н. М. Карамзина „Сьерра Морена“» в кн. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры М.—Л., 1966, с. 262—263) об отражении «Монаха» в «Сьерре-Морене» отпадает по соображениям хронологическим. Издания «Монаха» 1795 г., на которое указывает Л. В. Крестова вслед за рядом западных исследователей, не существует. Результаты библиографических разысканий о первом издании «Монаха» (Ф. Брукса, Л. Пека, В. Тодда и др.) подытожены в монографии А. Парро; они сводятся к предположению, что издание было набрано еще в 1795 г., но выпуск задержался до 12 марта 1796 г., и оно появилось уже с новым титульным листом (Parreau A. The Publication of «The Monk», p. 19); см. также новейшее критическое изд. Lewis M. G. The Monk Original Text Variant Readings and a «Note on the Text» Louis F. Peck. Introduction J. Berryman London—N. Y., 1959, p. 29, 423.

<sup>15</sup> Библиографию французских переводов «Монаха» (пополняющую известный указатель Керара) см. Killen A. Le roman terrifiant, p. 227 и сл.

этот отклик прямым или опосредованным, результатом чтения всего романа или только баллады из него, — мы не знаем. Впрочем, естественнее первое предположение. Французские переводы «Монаха» и «Дюссельдорфа» Маккензи появились одновременно; одновременно же вышли и их русские переводы. В 1802—1803 гг. уже в Петербурге И. Павленков и И. Росляков выпускают его по-русски под именем А. Радклиф.<sup>16</sup> Нет сомнения, что в последние годы жизни Каменева французская версия романа уже получала распространение в России.

Таков эпизод из истории русского преромантизма, который, по нашему мнению, восстанавливается из скудных сведений о несохранившихся стихах Каменева. Он имеет отношение не только к хронологии восприятия готического романа в России. Он вновь выдвигает проблему исторического соотношения Каменева и Жуковского — и если «Громвал» не может быть сочтен «первой русской балладой», то утраченная «Алонзо и Имогена» является наиболее ранней в русской литературе, хотя и опосредованной рецепцией «Леноры», с которой десятилетие спустя начнется период классического развития русской баллады.

---

<sup>16</sup> Монах, или Пагубные следствия пылких страстей. Соч. г-жи Радклиф. Пер. с франц. И. Пвнкв [Павленков] и И. Рслкв [Росляков]. Ч. 1—4. СПб., 1802—1803.

М. Ф. МУРЬЯНОВ

ОТРАЖЕНИЕ СИМВОЛИКИ АРТУРОВСКОГО ЦИКЛА  
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII ВЕКА

Круглый стол — это не только фраза, но прежде всего реалия дипломатического обихода, символически выдвигающая на первый план принцип равноправия участников политических или иных переговоров. Об истории Круглого стола как материализованного символа с таким назначением имеются данные только в работах по западной филологии,<sup>1</sup> на основании которых может создаться впечатление, будто Россия этого символа не знала. Между тем именно в преддверии XVIII в. и в самом конце его находятся свидетельства того, что в России этот символ был известен и у нас знали о его происхождении из рыцарской культуры западного средневековья.

Условимся с самого начала, что круглый стол в его чисто бытовом значении, который еще в 1833 г. Лермонтов назвал самой характерной принадлежностью русского интерьера XVIII столетия («В гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола, перед каждым небольшое канапе», «Вадим», гл. III), до настоящего времени фигурирующий в научных каталогах старинной русской мебели,<sup>2</sup> из рассмотрения исключается, нас будет интересовать только ритуальный Круглый стол — символ.

Источники образа находятся в кельтском фольклоре. Круглый стол как символ равенства пирующих был поставлен Утерпендрагоном, отцом короля Артура; историчность последнего является нерешенным вопросом, и условно жизнь Артура относят к VI веку н. э.<sup>3</sup> Мужья Артура, имеющие места за Круглым столом, — в древнейших версиях предания их было двенадцать, затем это число возрастало, — получили название рыцарей Круглого стола.<sup>4</sup> Все они являются персонажами романов бретонского

<sup>1</sup> Дашкевич Н. П. Романтика Круглого стола в литературах и жизни Запада. Киев, 1890.

<sup>2</sup> Государственный музей мебели. Иллюстрированный каталог. М., 1925.

<sup>3</sup> Chambers E. K. Arthur of Britain. London, 1966.

<sup>4</sup> Ward L. Knights of the Round Table. London, 1964.

цикла, открытых в XVII в. после нескольких столетий забвения: о них появлялись статьи в «Мемуарах» парижской Академии надписей, в многотомной «Литературной истории Франции», издававшейся бенедиктинцами конгрегации св. Мавра; наконец, с 1775 по 1789 г. в Париже по инициативе академика Трессана выходила серийная «Bibliothèque universelle des romans», сыгравшая главную роль в популяризации западной средневековой литературы не только во Франции,<sup>5</sup> но и в России; пока это были не издания текстов, а краткие пересказы содержания.

Стол Артура является земным аналогом мистического стола святого Грааля и его небесных рыцарей,<sup>6</sup> а последний в свою очередь имеет в качестве прообраза стол Тайной вечери. На иконографическом материале можно убедиться, что стол, за которым сидят Христос и апостолы, изображался сначала круглым, прямоугольная форма засвидетельствована не ранее X в.<sup>7</sup>

В текстовом материале первое упоминание артуровского Круглого стола находится в поэме «Брут» англонормандского поэта Васа (1155):

Fist Artur la Rouïnde Table,  
Dunt Bretun dient mainte fable.<sup>8</sup>

(Артур устроил Круглый стол, о котором бретонцы рассказывают много преданий). Одно из этих преданий легло в основу дошедшей до нас фрагментарно английской баллады «Король Артур и король Корнуэльский», в которой подмечена сюжетная близость с «Хождением Карла Великого в Иерусалим и Константинополь»<sup>9</sup> — эпосом, в известном нам виде датироваемым приблизительно 1100 г. Подобно тому как завязкой старофранцузского эпоса, известного также в древнорвежском и валлийском вариантах, являются слова супруги Карла, что где-то существует властелин более значительный, чем он сам, и разгневанный Карл отправляется на поиски этого царя, в английской балладе королева Гинебра говорит Артуру, что в месте, которое она не хочет назвать, есть Круглый стол, несравненно лучший того, которым гордится Артур, и задетый за живое король с четырьмя рыцарями отправляется его искать.

Все сказанное позволяет по-новому прочесть то не обращавшее на себя внимания место в «Сборнике Кирши Давилова» (середина

<sup>5</sup> Bossuat R. Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen âge. Melun, 1951, p. XXXII—XXXIII; Gottesman L. The Arthurian Romance in English Opera and Pantomime, 1660—1800. — Restoration and 18th Century Theatre Research, v. 8. Chicago, 1969, p. 47—53.

<sup>6</sup> Lagorio V. M. Pan-brittonic hagiography and the «Arthurian Grail Cycle». — Traditio, v. 26. N. Y., 1970, p. 29—61.

<sup>7</sup> Lucchesi Palli E. Abendmahl: Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. von E. Kirschbaum. 1. Bd. Freiburg i. Br., 1968, Sp. 10—18.

<sup>8</sup> Tobler-Lommatzsch. Altfranzösisches Wörterbuch, 74. Lfg. Wiesbaden, 1970, Sp. 857—858.

<sup>9</sup> Göller K. H. König Arthur in der englischen Literatur des späten Mittelalters. Göttingen, 1963, S. 171—172.



XVIII в.), где рассказывается, как герой былины «Иван Годинович» поехал свататься к дочери чужеземца (в вариантах — короля литовского, или датского, или князя ляховинского, или фантастического короля черниговского):

Привезавши коня к дубову столбу,  
Походил во гридню во светлую,  
Спасову образу молится,  
Он Дмитрею-гостю кланяется,  
Положил ерлык скороищетой на Круглой стол.<sup>10</sup>

Балтийское направление поездки Ивана Годиновича за невестой, обозначенное во многих записях былины, далеко не случайно. В Восточной Пруссии фресковая роспись XIV в. в замке Лохштедт включает сюжет о короле Артуре,<sup>11</sup> на территории Немецкого ордена рыцарскими и патрицианскими фамилиями строились Артуровские дворцы (Artushöfe), они имелись в Торне (1310), Эльбинге (1319), Риге (1329), Данциге (самый большой дворец, построен до 1333), а также в Кульме, Браунсберге, Кенигсберге, Мариенбурге и Ревеле; вне Пруссии и Ливонии пемецкий Артуровский дворец был построен только в Штральзунде (1316), входившем в Ганзу,<sup>12</sup> как и Новгород Великий.

Эпоха петровских преобразований, коренным образом изменившая отношение России к Западной Европе, знаменуется, в частности, появлением первого русского, формально причисленного к латинскому рыцарству, — им стал боярин Борис Шереметев, посланный в 1697 г. с политической миссией на Мальту для согласования действий против Турции. Русский генерал-фельдмаршал был здесь со всеми почестями принят гроссмейстером ордена иоаннитов, 9 мая 1698 г. ему были вручены бриллиантовый орден Иоанна Иерусалимского и диплом о возведении в рыцарское достоинство.<sup>13</sup> Менее чем через три месяца на Мальту прибыл другой высокопоставленный русский, стольник П. А. Толстой, будущий петровский министр; составленная им записка «Путешествие стольника Петра Толстого по Европе в силу царского указа» замечательна описанием обеда 24 июня 1698 г. в загородной резиденции гроссмейстера иоаннитов — обеда за Круглым столом!<sup>14</sup> Шереметев, который был на банкете в этом же дворце, о форме стола не писал, но зато ему бросилась в глаза не отмеченная Толстым строго одновременная смена блюд перед всеми обедающими:

<sup>10</sup> Сборник Кириши Данилова. М.—Л., 1958, с. 98; ср.: Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков. М.—Л., 1960, с. 195, 225, 296.

<sup>11</sup> Helm K., Ziesemer W. Die Literatur des Deutschen Ritterordens. Gießen, 1951, S. 25.

<sup>12</sup> Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 1. Stuttgart, 1937. S. 1132—1134.

<sup>13</sup> Записка путешествия генерала-фельдмаршала российских войск, тайного советника и кавалера Мальтийского, святого апостола Андрея, Белого орла и Прусского ордена, графа Бориса Петровича Шереметева. М., 1773.

<sup>14</sup> Русский архив, 1888, № 2, с. 127—128.

«Ествы носили покоевые знатных отцов дети человек с дватцать, и ставили разом, переменяя ествы шесть раз».<sup>15</sup> Эта особенность банкетного церемониала, подчеркивающая равенство пирующих за Круглым столом, противоречила русским понятиям.

Предромантизму в России сопутствовал такой интерес к рыцарскому средневековью, что даже казалось возможным говорить о «русском рыцарстве» в настоящем времени, как это видно из русского перевода повести «из самых древних записок английского рыцарства».<sup>16</sup> Это знаменовало собой нечто новое по сравнению с оценкой рыцарских идеалов сквозь призму иронии Сервантеса, как это было обычным после того, как в Россию пришел «Дон-Кихот»<sup>17</sup> и таким путем стали известны «славою неистовствующие рыцари, которых честь и бытие уничтожила сатира Дон Кишода».<sup>18</sup> В представлении Радищева киевский князь Владимир «окружен всегда толпою славных рыцарей российских»,<sup>19</sup> но и в одном беломорском варианте былины «Илья и Калин»<sup>20</sup> наряду с поразительно точно описанными посольскими обычаями татаро-монголов содержится указание на круглую форму стола в киевском дворце князя Владимира. Посол Батыя привез грамоту с требованием выдачи Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича:

Приехал тотарин на широкой двор,  
Оставляя-то он добра коня-та среди он широка двора,  
Сам заходит в полаты в княженеския,  
Он кинаёт скоро грамоту на Круглой стол,  
Поворот он держал да всё вон пошел.<sup>21</sup>

Восшествие на русский престол Павла I, причудливые фантазии которого были известны всем, в том числе и иоаннитам, передвинуло «русское рыцарство» из неосязаемого предромантизма в область государственной политики. Став императором, Павел немедленно обменялся с орденом иоаннитов курьерской почтой и

<sup>15</sup> Записка путешествия... с. 74.

<sup>16</sup> Рыцарь добродетели. СПб., 1792.

<sup>17</sup> Об истории «Дон-Кихота» в России начиная с упоминания в книге 1720 г., отредактированной Петром I и содержащей пояснения, кто такие «квалеры Круглого стола» (Описание изданий гражданской печати. 1708—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1955, с. 301), см.: Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX веков. Л., 1964, с. 48, 62—66.

<sup>18</sup> Десницкий С. Е. Слово о причинах смертных казней по делам криминальным, в публичном собрании имп. Московского университета говоренное. М., 1770, с. 25.

<sup>19</sup> «Бова» (1799): Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938, с. 32.

<sup>20</sup> Об этом памятнике эпоса см.: Азбелев С. Н. Былины об отражении татарского нашествия. — В кн.: Русский фольклор, т. 12. Л., 1971, с. 174—179.

<sup>21</sup> Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901, с. 46—47 (запись 18 июня 1899 г. в Нижней Зимней Золотице от 45-летней Аграфены Матвеевны Крюковой, неграмотной).

4 января 1797 г. подписал конвенцию о приятии Мальты под свою протекцию и введении ордена в пределах России. 26 февраля 1797 г. — до коронации! — состоялась закладка Михайловского замка, единственного замка в истории России; проект был разработан В. И. Баженовым в 1792—1794 гг. для постройки в Гатчине, но сейчас Павел решил строить его в центре Петербурга, и с такой поспешностью, что для бесперебойного обеспечения строительными материалами были разобраны некоторые незаконченные столичные сооружения, в том числе большой дворец в Пелле на Неве.<sup>22</sup> 2 ноября 1798 г. Павел принял звание гроссмейстера ордена иоаннитов, это событие воспела державинская ода «На Мальтийский орден», живописующая торжество в Зимнем дворце:

Звучит труба, окрестны горы  
Передают друг другу гром:  
Как реки, рыцарей соборы  
Льются в знаменитый сонм.<sup>23</sup>

В императорских дворцах, построенных в годы правления Павла, важнейшие парадные помещения оформлены как вместительный зал дворца в Павловске, являющийся композиционным центром здания и занимающий два этажа по высоте,<sup>24</sup> таковы круглый Мальтийский тронный зал и Овальная гостиная в Михайловском замке.<sup>25</sup> Их мебель до нас не дошла.

Павел I относился к своим мальтийским делам в высшей степени серьезно, на проекты реорганизации и развития ордена он тратил времени больше, чем на любой другой вопрос государственной важности, и почти ежедневно пазпачал все новых кавалеров и командоров; мальтийский крест был включен в герб Российской империи и арматуру гвардейских полков. Под личным руководством Павла вырабатывались планы превращения Мальты в лучший в мире военный институт и крупнейший научно-технический центр,<sup>26</sup> предусматривалась новая структура ордена, который отныне должен был подразделяться на классы моряков, сухопутных рыцарей, государственных деятелей и ученых; Павел даже признал, что доступ в класс ученых должен быть открыт для тех, кто этого заслуживает по своему интеллекту, без социальных ограничений. Немалая уступка духу Просвещения со стороны монарха, несправедлившего этот дух!

<sup>22</sup> Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1972, с. 120.

<sup>23</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. 2. СПб., 1865, с. 213—214.

<sup>24</sup> Кучумов А. М. Павловск. Л., 1972, с. 32.

<sup>25</sup> Краткая историческая справка об Инженерном замке со времени его возникновения. СПб., 1914.

<sup>26</sup> Paul der Erste, russischer Kaiser, als Großmeister des Malteserordens. Aarau, 1808, S. 23—26.

Рыцарские фантазии русского императора натолкнулись на жесткую политическую реальность: пока в Петербурге составляли списки новой мальтийской администрации и гарнизона из 3000 русских офицеров и солдат, 4 сентября 1800 г. союзник России по Второй европейской коалиции Англия силой захватила Мальту и дала понять, что не собирается оттуда уходить. Припадок ярости Павла I, потребовавшего от английского посла Витворта убраться из Петербурга и начавшего приготовления к войне с Англией, имел своим последствием дворцовый заговор, в котором паковавший чемоданы английский посол принял самое деятельное участие. В конце февраля 1801 г. в Балтийское море вошла эскадра Нельсона, а в ночь на 12 марта Павла не стало.<sup>27</sup> Местом умерщвления был только что законченный Михайловский замок, воплощение рыцарской мечты, так и не увидевший в своих стенах церемониалов Круглого стола.

Конечно, Павел I по своим политическим взглядам и личным качествам менее всего подходил бы к роли идеального монарха за Круглым столом равенства. Дело обстояло как раз наоборот, и впоследствии Ф. И. Бруннов, блестящий и насмешливый ум которого снискал ему славу Нестора русской дипломатии, охарактеризовал взгляды Павла на мальтийский орден как на «учреждение, где дворянство всех европейских государств должно было черпать чувства чести и верности, необходимые ему для того, чтобы противиться воцарению идеи равенства, которая уже готова была охватить все слои общества».<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Станиславская А. М. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья. М., 1962; Окунь С. Б. Дворцовый переворот 1801 г. в дореволюционной литературе. — Вопросы истории, 1973, № 11, с. 34—52.

<sup>28</sup> Сборник Русского исторического общества, т. 34. СПб., 1880, с. 234.

Г. П. МАКОГОНЕНКО

ПУШКИН И ГЕТЕ

(К истории истолкования пушкинской «Сцены из Фауста»)

«Сцена из Фауста» — одно из малоизученных произведений Пушкина. Оттого нет ясного представления ни о жанре «Сцены», ни о ее соотношении с трагедией Гете «Фауст»,<sup>1</sup> нет и убедительного раскрытия содержания и смысла «Сцены», объяснения причин, побудивших Пушкина написать ее в 1825 г., места ее в ряду других сочинений поэта. Противоречивость истолкования, парадоксальный и взаимоисключающий характер оценок «Сцены»: ее называют трагедией<sup>2</sup> и лирическим стихотворением,<sup>3</sup> «дивнохудожественным» творением и «забавой» поэта, глубоко философским сочинением и простой иллюстрацией настроения в пору жизни в Михайловском<sup>4</sup> и т. д. — все это делает ее загадочной.

В действительности «Сцена из Фауста» лишена какой-либо загадочности или неопределенности — и то и другое появилось в результате столетнего ее изучения. В самом деле: уже само за-

<sup>1</sup> О ее связи с «Фаустом» писали В. Г. Белинский, И. М. Нусинов (История литературного героя. М., 1958), Г. А. Гуковский (Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957), Д. Д. Благой (Творчество Пушкина. М., 1967). К противоположным выводам пришли: французский исследователь Ж. Легра (Legras Jule. Pouchkine et Goete. — Revue de Litterature comparée, Paris, 1937, v. XVIII, p. 117—128), Б. П. Городецкий (Лирика Пушкина. М.—Л., 1962) и Б. В. Томашевский, писавший в частности: «При истолковании „Сцены“ нет никакой необходимости обращаться к „Фаусту“ Гете и искать внутренней связи двух произведений, которые могли бы помочь разгадать смысл стихотворения Пушкина» (Пушкин, кн. вторая. М.—Л., 1964, с. 93).

<sup>2</sup> Белинский первым понял и обосновал драматический характер жанра «Сцены», поставив ее в ряд других маленьких трагедий Пушкина (Полн. собр. соч., т. V. М., 1954, с. 59). В наше время эта мысль поддержана Г. А. Гуковским и Д. Д. Благом (см. вышеназванные работы).

<sup>3</sup> См. работы Ж. Легра, Б. В. Томашевского, Б. П. Городецкого. Рассмотрение «Сцены» как автобиографического стихотворения оказалось канонизированным: «Сцену» печатают в собраниях сочинений Пушкина в разделе «Стихотворения».

<sup>4</sup> Еще в 1937 г. об этом писал Ж. Легра, затем та же мысль была развита в работах Б. В. Томашевского и Б. П. Городецкого.

главие дает четкое представление о жабре — «сцена», т. е. сцена как форма драматического произведения. Пазвапис подтверждается и развитием действия. Именно быстрое развитие действия, обрисовка характеров главных действующих лиц — Фауста и Мефистофеля, остродинамический диалог — все осуществлено в «Сцене из Фауста» по законам драматургии.

Содержание «Сцены» также сознательно открыто связано с трагедией Гете «Фауст». Пушкин считал «Фауста» «величайшим созданием поэтического духа», который «служит представителем новейшей поэзии, точно как „Илиада“ служит памятником классической древности». <sup>5</sup> Сопоставляя «Магфреда» Байрона с «Фаустом» Гете, он называл его подражанием, указывая, что Байрон «ослабил дух и форму своего образа».

Более того, Пушкин знал, что образ Фауста не есть изобретение Гете. Ему было известно, что он — герой народной легенды, созданной в эпоху Возрождения и Реформации по материалам биографии исторического лица — доктора Фауста, жившего в середине XVI в. Фауст — сильная и мятежная личность, бросившая вызов богу, заключившая союз с «вечным врагом человечества», идущая на все во имя знаний и наслаждений, — стал достоянием множества известных и анонимных авторов. Долгое время Фауст и Мефистофель были героями немецкого кукольного театра; в XVIII в. он вдохновил многих «бурных гениев» (обо всем этом Пушкин знал из книги мадам де Сталь «О Германии»), под пером которых Фауст был превращен в мятежного индивидуалиста (книгу одного из них — роман Клингера «Жизнь, деяния и гибель Фауста» Пушкин читал во французском переводе 1802 г.). <sup>6</sup>

Итак, для Пушкина Фауст — мировой образ, порожденный эпохой Возрождения и ставший характерным героем европейского романтизма. Важно при этом помнить, что и Гете в восприятии Пушкина — «великан романтической поэзии».

«Сцена из Фауста» — это маленькая трагедия, стоящая в ряду со многими другими европейскими произведениями о Фаусте, но сознательно соотношенная Пушкиным с самым крупным и гениальным сочинением о Фаусте — трагедией Гете. Следует подчеркнуть при этом, что образ Фауста, его философия жизни, его идеалы и нравственные представления носили не только общечеловеческий характер, но и были одновременно выражением немецкого самосознания. Уместно в этой связи напомнить одно замечание Белинского: «„Фауст“ Гете — мировое, общечеловече-

<sup>5</sup> Об осведомленности Пушкина в немецкой литературе и знании «Фауста» см.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1937. — Новый свод работ на ту же тему, к сожалению, мало что добавляющий к уже известному, принадлежит американскому ученому: Cronika Andre von. The Russian image of Goethe. Philadelphia, 1968.

<sup>6</sup> См.: Цявловская Т. Г. «Влюбленный бес». (Неосуществленный замысел Пушкина). — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960.

ское произведение, но тем не менее, читая его, вы видите, что оно могло родиться только в фантазии немца, и Байронов „Манфред“, явно навеянный „Фаустом“, уже нисколько не веет „германским духом“. <...> Каждый народ имеет своего представителя» в литературе, «немцы — Фауста».<sup>7</sup>

«Сцена из Фауста» Пушкина — произведение общечеловеческое, но от характера решения трагедии Фауста, от понимания им смысла жизни, от трактовки его судьбы и эволюции его убеждений веет русским духом. Впервые в истории мировой литературы Фауст был раскрыт Пушкиным реалистически. Отсюда особый смысл его соотношения с Фаустом Гете: русский поэт *объясняет* характер Фауста, его идеалы, его философию жизни с позиций историзма и реализма.

Для понимания действительного содержания «Сцены» должно помнить, что Пушкин воспринимал образ Фауста только по первой части трагедии Гете, вторая еще не была завершена к 1825 г. Нельзя сопоставлять «Сцену» Пушкина с трагедией Гете, философский смысл которой извлекается из второй части, неизвестной Пушкину.<sup>8</sup> Тем более что во второй части Гете коренным образом изменил характер идеалов своего героя. Почти четверть века отделяет первую часть от второй. Потому первая часть трагедии существовала как самостоятельное произведение, оказав свое влияние на литературу. Фауст Гете первой части связан с традицией его истолкования как мятежного индивидуалиста, созданной «бурными гениями». В. М. Жирмунский писал: «В первоначальной рукописной редакции 1773—75 годов Фауст Гете также мятежный индивидуалист, „бурный гений“, стремящийся к напряженному и страстному переживанию жизни, „сверхчеловек“ (Übermensch), как называет его сам поэт». В первой части, изданной в 1808 г., при всех изменениях первоначального замысла — индивидуалистический характер Фауста сохраняется. Оттого, вернувшись через много лет к продолжению трагедии, Гете, по словам Жирмунского, стремился изменить своего героя: он «должен был <...> от узко личного подняться в область общечеловеческого, от „малого“ в „большой мир“ явлений исторической и общественной значимости». Только во второй части «Гете перерастает рамки

<sup>7</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 317—318; т. II, с. 66.

<sup>8</sup> Об этом приходится говорить, ибо существует устойчивая традиция рассматривать «Фауста» Гете как «произведение, окончательно сложившееся в 1831 г. в своей нынешней цельности» (см. вступительную статью А. Белецкого к кн.: Гете В. Фауст. М., 1962). На этом основании образ Фауста характеризуется по финальной сцене трагедии. Вот знаменательный пример: «Наиболее глубокое воплощение образ Фауста получил в философской драме Гете „Фауст“. Мечтая о познании природы, гетевский Фауст находит смысл жизни в борьбе за свободу и в мирном, созидательном труде на благо народа» (БСЭ, т. 44, с. 533). Именно с этих позиций и соотносена «Сцена» Пушкина с трагедией Гете И. М. Нусиновым (см. его книгу «История литературного героя»).

индивидуалистической идеологии немецкого буржуазного Просвещения XVIII века».<sup>9</sup>

Внимательное чтение «Сцены» убеждает, что Пушкин знал не только трагедию Гете, драму Байрона, роман Клингера, книгу мадам де Сталь, но был знаком с основными моментами истории Фауста, изложенными в народной книге о немецком герое. Трудно сказать, от кого именно слышал эту историю Пушкин: может быть, от Жуковского, или Александра Тургенева, учившегося в Геттингенском университете и отлично знавшего немецкую литературу, или от Кюхельбекера, или от кого-нибудь другого — это неважно в данном случае. Важнее другое — следы знакомства с этой историей мы находим в «Сцене из Фауста». И знакомство это многое проясняет в замысле Пушкина.

Содержанием «Сцены» является разговор Фауста с Мефистофелем во время их путешествия. Именно о путешествии Фауста с Мефистофелем после подписания первым договора и рассказывается в народной книге. Пушкин изобразил один эпизод этого путешествия — посещение Голландии. И это не случайный выбор места, не плод вымысла поэта — только в народной книге рассказывается о пребывании Фауста и Мефистофеля в Голландии. Но дело тут не в выборе места. Известно, что договор был заключен на 24 года. В Голландию Фауст и Мефистофель прибывают на 16-й год после подписания договора. Именно это обстоятельство и важно Пушкину — уже 16 лет Мефистофель исполняет все принятые им на себя обязательства. А в договоре были записаны обязательства обоих: Мефистофель должен был исполнять все желания Фауста, а Фауст за это отрекался «от всех живущих, от всего небесного воинства и от всех людей».<sup>10</sup>

Чего желал Фауст? Знаний и наслаждений. И он получил все, к чему стремился, все, чего желал, он пользовался всеми этими плодами своих знаний и желаний уже 16 лет! Содержание «Сцены» и определяется Пушкиным как первое невольное подведение итогов прожитой новой жизни. И этот итог с пушкинским лаконизмом формулирует Фауст: «Мне скучно, бес!». Этой фразой — доминантой содержания трагедии и начинается «Сцена».

Соотнося своего Фауста с Фаустом Гете и больше — с Фаустом других произведений, в том числе и с его двойником — Манфредом Байрона, Пушкин не полемизирует с ними. Поэт отлично понимает, что Фауст — это знамение времени, он выражение духа современного человека. Легенда, а затем различные ее интерпретаторы, и прежде всего Гете, запечатлели в Фаусте великую переломную эпоху перехода от средневековья к Возрождению, когда личность высвобождалась от сковывавших ее сознание пут церкви и религии, мятежно отстаивала свою свободу, вставала на путь

<sup>9</sup> Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте. — В кн.: Легенда о докторе Фаусте. М.—Л., 1958, с. 502, 504, 505.

<sup>10</sup> Легенда о докторе Фаусте. М.—Л., 1958, с. 58.



самопознания, руководствуясь знаниями, Фауст — носитель веры в человека, в его способность познать мир и найти истину.

Но Фауст — легенды и литературных произведений — запечатлел и трагедию человека, понявшего несбыточность овладения таким всемогущим знанием даже с помощью сверхъестественных сил. Это разочарование испытывает и Фауст Гете:

Теперь конец всему. порвалась нить мышленья,  
К науке я давно исполнен отвращения,  
Тушить страстей своих пожар  
В восторгах чувственных я буду  
И под густой завесой чар  
Готов ко всякому я чуду<sup>11</sup>

С наибольшей остротой это разочарование проявилось у Ман-фреда, неверие которого в разум и знания повергло его в крайнее отчаяние. «Древо Знания не Древо Жизни», — с тоской и горечью провозглашает он.<sup>12</sup>

Пушкину чужд скептицизм; преодолевая романтизм, он не утратил светлой веры в величие и могущество разума, в способность человека познать мир и овладеть его тайнами. Потому пост ставит совершенно другую и крайне важную проблему — объяснить причину идейной и нравственной катастрофы Фауста, причину его разочарования в знаниях. Знание по Пушкину — могучая и творческая сила, когда оно вдохновляет и подвигает человека на деятельность, нужную людям, но знание это ложно, призрачно, когда оно подчинено целям эгоистического существования, погоне за наслаждениями.

Трагедия Фауста по Пушкину — в сосредоточенности на себе, в погоне за знаниями для себя, для утоления своих желаний, в отделении от мира всеобщего, в презрении к людям, к их судьбам, их жизни.

В «Сцене из Фауста» и подводятся итоги такого эгоистического овладения знаниями — с помощью наук и дьявола. Мефистофель напоминает, что он выполнил все принятые на себя обязательства:

Желал ты славы — и добился,  
Хотел влюбиться — и влюбился  
Ты с жизни взял возможную дань,  
А был ли счастлив?

Фауст сам констатирует итог своей 16 летней жизни во всеоружии достигнутых знаний, подчиненных утолению своих страстей и желаний:

В глубоком знаньи жизни нег —  
Я проклял знаний ложный свет,  
А слава... луч ее случайный  
Неуловим. Мирская честь  
Бессмысленна, как сон.

<sup>11</sup> Гете В. Фауст. Перевод Н. Холодковского М., 1962, с. 104

<sup>12</sup> Байрон Джордж Избр. произв. М., 1953, с. 245

Что же оставалось делать одинокому, занятому собой Фаусту? Он, как и Фауст Гете, пытается уверить себя, что есть еще единственная цель бытия, которая может принести счастье: «Но есть прямое благо: сочетание двух душ». (Кстати, эпизод с Гретхен — еще одно яркое свидетельство сознательного соотношения Пушкиным своей «Сцены» с трагедией Гете, поскольку роман Фауста с Маргаритой был нововведением Гете). Но надежда Фауста иллюзорна. Мефистофель с жестокой и беспощадной откровенностью раскрывает несостоятельность его упований на счастье, его желания найти забвение скучающей души в любви.

Так сам Фауст вынужден констатировать крах своих идеалов, своей философии. Скука — вот к чему привела его философия индивидуализма. Скука выражает крушение идеала, воодушевляющего и современного европейского человека, трагедию бесплодности жизни, бессмысленности самоценной свободы и тщетности знаний, обращенных на себя. Трудно в этой связи не вспомнить лермонтовскую поэму «Демон», связанную и с пушкинским стихотворением «Демон» и в еще большей мере со «Сценой из Фауста». Там тоже раскрыт трагизм индивидуалистической философии, бессмысленность самоценной свободы, и характерно, что трагедия Демона выражена той же пушкинской формулой: «Жить для себя, скучать собой!».

Жизнь для себя рождает не только скуку, но и ожесточение. Фауст оказывается способным учеником Мефистофеля: он от презрения к людям, вслед за своим учителем, переходит к ненависти. Фауст дан у Пушкина как динамический образ. Его эволюция раскрывается психологическими средствами. Фауст вступает в действие как скучающий человек, который еще тешит себя надеждой обрести счастье и благо в любви. Разоблачение этих лишенных жизненной правды упований Мефистофелем заставляет Фауста сбросить с себя маску скучающего «сверхчеловека». И тогда под ней открывается его подлинное лицо, лицо ненавистника рода человеческого.

Оборвав язвительную, по правдивую речь Мефистофеля — «Сокройся, адское творенье, беги от взора моего», Фауст остается в одиночестве — без желаний и веры, без упований и надежд. Что же делать, чем и как жить? Мефистофель, следуя условиям договора, требует, чтобы Фауст снова и снова приказывал ему удовлетворять свои желания. Но трагедия Фауста в том, что его уже ничто не волнует, как раньше; у него нет больше желаний — он все уже познал. Жить же по условиям подписанного им договора предстояло еще долгих восемь лет.

Этот мотив, правда приглушенный, есть и у Гете. После того как его Фаусту наскучила любовь Маргариты, он говорит: «Так, я перехожу пьянень от желанья к наслажденью, и в наслажденье изпемогаю по желанью». Мадам де Сталь в своем пересказе трагедии Гете несколько меняет акцент этого признания Фауста: «Я перехожу пьянень от желанья к наслажденью, но среди самого

наслажденья смутная скука вскоре заставляет меня сожалеть о желании».<sup>13</sup>

Пушкин дает свое решение трагедии Фауста. Объясняя с реалистических позиций «скуку» Фауста, поэт психологически точно и правдиво раскрывает неминуемый переход от скуки, равнодушия и презрения к людям к яростной, жестокой ненависти к ним. Оттого он и ставит новую и страшную задачу перед Мефистофелем: увидев в море белеющий парус приближающегося к берегам Голландии корабля, он приказывает: «Все утопить!». Этим приказом и кончается «Сцена». Эволюция героя, осуществленная аналитически, в психологическом ключе — от горькой жалобы «Мне скучно, бес!» до зловещего и жестокого приказа «Все утопить!» — и раскрывает неминуемую катастрофу человека, доверившегося философии индивидуализма, увидевшего в ней оружие и средство своего самоутверждения и самореализации.

В этом и проявилась всемирность Пушкина. Стоя на позициях историзма и реализма, он свободно обращался к мировому образу, чтобы объяснить его идеалы и судьбу. Протеизм помогал перевоплощению, которое подчинялось задаче дать ответ на общественные, философские и нравственные вопросы и проблемы, стоявшие перед человечеством нового века, опираясь на опыт исторического, социального и общественного развития России. Борьба Пушкина с романтизмом, моментом которой была и «Сцена из Фауста», диктовалась высоким сознанием долга писателя. И использование мировых образов и сюжетов оказывалось в решении этих задач наиболее эффективным. Именно потому после «Сцены из Фауста» и родился у Пушкина замысел других драматических произведений, который и был осуществлен в первую болдинскую осень.

И в заключение одно дополнение. В решении Пушкиным проблемы Фауста, как я сказал, проявилась самобытная русская мысль. Конечно, на этом решении лежит печать личной гениальности Пушкина-художника. И все же решение это не есть плод данной индивидуальности: оно уходило корнями в русскую жизнь, в русскую историю, питалось богатыми традициями русского самосознания, выражало его и одновременно формировало на новом историческом этапе. Не случайно потому те же общечеловеческие философские проблемы понимания человека и путей его самореализации в наступившем «железном веке» по-своему, но с тех же позиций русского национального опыта решались Лермонтовым в «Демоне». Больше того, к проблеме Фауста в 40-е годы обратился Тургенев.

Эпоха рождения в Германии идеала свободной и независимой личности, указывал Тургенев, определяется как эпоха романтизма: «Романтизм есть не что иное, как апофеоза личности. Он готов толковать об обществе, об общественных вопросах,

<sup>13</sup> M-me de Staël. De L'Allemagne. Paris, 1862, p. 280—281.

о науке; по обществу, так же как и паука, существует для него — не он для них». В это время и появился Гете, «которому суждено было выразить собой всю сущность своего народа и своего времени». «Как великий немецкий поэт он создал „Фауста“».

Что же такое трагедия Гете, кто ее герой? «Фауст» «есть чисто человеческое, правильное — чисто эгоистическое произведение. Германия в то время вся распадалась на атомы, каждый хлопотал о человеке вообще, то есть в сущности о своей собственной личности. Фауст, с начала до конца трагедии, заботится об одном себе». «Куда, к чему ему обратиться? Для Фауста не существует общество, не существует человеческий род: он весь погружается в себя; он от одного себя ждет спасения. С этой точки зрения трагедия Гете является нам самым решительным, самым резким выражением романтизма».<sup>14</sup>

«Фауст» Гете, по Тургеневу, — великое эгоистическое произведение. Но иным в ту пору оно не могло быть. Его должен знать русский читатель. «Несмотря на свою германскую наружность, он (Фауст, — Г. М.), может быть, понятней нам, чем всякому другому народу». «Все наши сомнения, наши убеждения возникают и проходят иначе, чем у немцев; наши женщины не походят на Гретхен; наш бес — не Мефистофель... Нашему здравому смыслу многое в „Фаусте“ покажется странным и вычурным». «Мы не будем бессмысленно преклоняться перед „Фаустом“, потому что мы русские; но пойдем и оценим великое творение Гете, потому что мы европейцы», «вообще весь „Фауст“ должен спасительно на нас подействовать; он в нас пробудит много размышлений».<sup>15</sup>

Пушкинская «Сцена из Фауста» — пример такого глубокого понимания трагедии Гете, пример пробуждения важных размышлений о судьбе и философии мирового образа Фауста. Следующим этапом пушкинских «размышлений» станут болдинские трагедии, в которых поэт объяснит эгоистический характер философии личности нового буржуазного общества. Слово-термин «эгоизм», придя в Россию во второй половине XVIII в., переводилось на русский язык как «самость». Самость стала нравственной болезнью XIX в., но ее первые симптомы Пушкин, вооруженный историческим реализмом, увидел уже в эпоху Возрождения. Открытие Пушкина вносило в европейскую литературу русскую мысль, пафосом которой была высокая защита человека, глубокая и воинствующая вера, что есть у него иной путь (противопоказанный самости) подлинно гуманистической реализации всех его духовных, нравственных и общественных возможностей.

---

<sup>14</sup> Речь идет о первой части «Фауста». Вторая часть рассматривается Тургеневым «как длинная аллегория» с «жалким и бедным разрешением трагедии».

<sup>15</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч., т. 11. М., 1956, с. 18, 20, 21, 22, 37.

С. Я. МАРЛИНСКИЙ

## ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА «ВЕДОМОСТЕЙ» ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ В ОСВЕЩЕНИИ П. Н. БЕРКОВА

Среди специальных работ по истории журналистики XVIII в. выделяется капитальный труд П. Н. Беркова «История русской журналистики XVIII века» (М.—Л., 1952). Этот труд, который является обобщением и дальнейшим развитием многолетней работы автора над историей русской журналистики, спускал высокую оценку специалистов. В некрологе, посвященном памяти П. Н. Беркова, подчеркивается, что эта книга «продолжает жить и действительно служить нашей науке, ибо она, как писал недавно авторитетный исследователь (Г. П. Макогоненко, — С. М.), раскрыла важнейшие стороны общественной и литературной жизни века».<sup>1</sup>

В своем введении к этой книге П. Н. Берков высказывает ряд ценных методологических положений. К ним относятся: необходимость изучения русской журналистики на фоне общественного движения; изучение журналистики XVIII в. не только как отражения, но и как активного фактора исторической жизни; изучение форм и методов русской журналистики в связи с общественно-политической обстановкой, с учетом социальной направленности того или другого органа печати.

В разделе «Печатные Ведомости» появление первопечатной газеты рассматривается в связи с исторически назревшей необходимостью в печатном органе. При этом подчеркивается официальная направленность газеты, призванной стать одним из важных политически-пропагандистских средств при Петре.

В книге дается подробный анализ содержания газеты за 1702—1727 гг., живо откликавшейся на животрепещущие вопросы своего времени (военные дела, вопросы политики и экономики, просвещения и культуры). От анализа идейно-политической направленности газеты П. Н. Берков переходит к исследова-

<sup>1</sup> Лихачев Д. С., Серман И. З. Павел Наумович Берков. — Русская литература, 1969, № 3, с. 242—243.

пию ее формы. В книге сжато говорится о газетных жанрах и указано, что в «Ведомостях» различаются два типа материалов — информационные сообщения и официальные документы-реляции, речи и т. п. (с. 50).

В отличие от прежних своих работ автор здесь обращает внимание и на язык «Ведомостей». Отмечается, что информационные сообщения были кратки, отличались ясностью изложения и простотой синтаксических конструкций. Официальные же документы (реляции, письма, речи) в стилистическом отношении подчинялись жанровым традициям (с. 50).

Изучение «Ведомостей» в литературном отношении связано в работах П. Н. Беркова с историей русской журналистики. Весьма важной с этой точки зрения является его статья,<sup>2</sup> где подробно освещается вопрос о жанрах: основными жанрами «Ведомостей» были краткие информации военного, дипломатического, экономического и культурно-просветительного характера, более или менее подробные реляции о военных действиях, краткие отчеты о различных событиях, чаще всего из придворной жизни; печатались изредка и библиографические материалы, и политические памфлеты в форме книжного каталога, и, наконец, письма-статьи, как например письмо Петра к царевичу Алексею о Полтавской победе.

В той же статье П. Н. Берков излагает некоторые наблюдения над языком литературы XVIII в., что имеет прямое отношение к «Ведомостям». Он считает, что перемены произошли тогда лишь в области лексики, в области словарного состава русского языка. Это выражалось в пополнении словарного состава большим количеством новых слов, заимствованных преимущественно из иностранных языков. При этом новые слова частью сопровождалась переводами на русский язык на полях или в скобках в текстах «Ведомостей». Это особенно касалось пояснений новых географических названий и некоторых политических терминов.

В другой работе<sup>3</sup> П. Н. Берков сделал еще одно важное наблюдение о возникновении «Ведомостей» в связи с ходом Северной войны. Военным делам, как неоднократно подчеркивал в своих трудах П. Н. Берков, «Ведомости» уделяли первоочередное внимание.

Весьма важное значение для изучения «Ведомостей» имеет высказывание П. Н. Беркова о том, что «введение нового „гражданского“ алфавита, возникновение периодической печати <...>

---

<sup>2</sup> Берков П. Н. Русская книга гражданской печати первой четверти XVIII в. — В кн.: Описание изданий гражданской печати, 1708—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1955, с. 11—39.

<sup>3</sup> Берков П. Н. Русская книга кирилловской печати конца XVII—первой четверти XVIII века. — В кн.: Описание изданий, напечатанных кириллицей, 1689—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1958, с. 9—28.

и пр. должны восприниматься диалектически: будучи проведены или созданы по инициативе и в интересах господствующего класса, они имели объективно прогрессивное значение, так как отвечали назревшим потребностям общественного развития».<sup>4</sup>

Исследования «Ведомостей» у П. Н. Беркова имеют и библиографический аспект. Библиографические труды занимают особое и важное место во всем его литературном наследии. Здесь он выступает как критик и теоретик, внесший ценный вклад в разработку основ научной библиографии. Для изучения «Ведомостей» в библиографическом аспекте непреходящее значение имеют описания книг петровского времени,<sup>5</sup> подготовленные под руководством П. Н. Беркова. Можно вполне согласиться с высокой оценкой этого издания профессором А. В. Флоровским (Прага): «„Описание“ в обеих своих частях представляет собой энциклопедию книжного дела в эпоху Петра Великого и отлично ориентирует читателя во всех как конкретных, так и общих вопросах русского книгоиздательства».<sup>6</sup>

Весьма важна для изучения «Ведомостей» в библиографическом аспекте вступительная статья П. Н. Беркова к книге М. В. Машковой и М. В. Сокуровой.<sup>7</sup> Здесь он дает обзор эволюции и совершенствования методов библиографического описания периодической печати, начиная с труда В. С. Соликова и кончая известными трудами А. И. Неустроева, Н. М. Лисовского и В. И. Срезневского. В указанной статье П. Н. Берков поставил ряд актуальных вопросов теории и истории библиографии. Он разработал не только принципы и методы библиографического описания «Ведомостей», но под его руководством был создан самый полный библиографический указатель по истории русской литературы XVIII в.<sup>8</sup> Материалы библиографического указателя охватывают основную литературу о «Ведомостях», имеющую научное значение, начиная с XIX в. по настоящее время. Это издание, на наш взгляд, является незаменимым пособием для изучения «Ведомостей».

---

<sup>4</sup> Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. Ч. I. Очерк литературной историографии XVIII века. Л., 1964, с. 231—232.

<sup>5</sup> Описание изданий гражданской печати. 1708—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. Редакция и вступ. статья П. Н. Беркова. М.—Л., 1955; Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. Редакция и вступ. статья П. Н. Беркова. М.—Л., 1958.

<sup>6</sup> Slavia, ročn, XXIX, 1960, s. 149.

<sup>7</sup> Машкова М. В. и Сокурова М. В. Общие библиографии русских периодических изданий 1703—1954 и материалы по статистике русской периодической печати (1703—1954). Под редакцией и со вступ. статьей П. Н. Беркова. Л., 1956.

<sup>8</sup> История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель. Сост. В. П. Степанов и Ю. В. Стевник. Под редакцией, с дополнениями и предисловием чл.-корр. АП СССР П. Н. Беркова. Л., 1968.

Исследования П. Н. Беркова убедительно раскрывают историческую закономерность возникновения и развития первопечатной газеты России. Его труды являются важным этапом в марксистской разработке зарождения русской периодической печати. «Ведомости» рассматриваются не изолированно, а в соотношении с историей России первой четверти XVIII в. и литературным движением того времени.

Работы П. Н. Беркова являются надежным ориентиром для изучения «Ведомостей» в историко-литературном, журналистском и библиографическом аспектах. Они безусловно будут способствовать дальнейшему всестороннему изучению «Ведомостей» как одного из своеобразных исторических и литературных источников.



М. В. ИВАНОВ

### МИР ШВЕЙЦАРИИ В «ПИСЬМАХ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

Книга В. В. Сиповского «Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“», вышедшая в свет в 1899 г., является последним по времени отдельным крупным исследованием на русском языке, посвященным «Письмам». Естественно, что впоследствии ученые, создавая обобщающие работы о творчестве Карамзина, вынуждены были основываться на выводах, данных в книге Сиповского, хотя очевидно, что методология этого значительного для своего времени труда достаточно устарела. Основной тезис Сиповского состоит в том, что своеобразие художественной природы «Писем» заключается в промежуточном положении, которое они занимают между двумя типами путешествий: «сентиментальными» (стернианскими) и «научными» (типа путеводителей).<sup>1</sup> Промежуточность же выражается в том, что в «Письмах» есть элементы и того, и другого типа путешествий. Такая интерпретация «Писем» и была принята советскими и зарубежными литературоведами.<sup>2</sup> В их трудах также говорится о сентиментальной, или чувствительной, или субъективной стороне «Писем» и об информативной, или просветительской (в данном случае синоним слову «осведомительная»).

С точки зрения современной научной методологии подобный подход к художественному произведению не может не вызвать возражений. Мирозрение писателя должно пониматься как единое целое, хотя система элементов этого целого представляет очень сложную структуру. Стиль же писателя, как художественное воплощение его мирозрения, также обладает единством и системностью. Поэтому едва ли оправдано представление об ав-

<sup>1</sup> Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 374—375.

<sup>2</sup> Например: Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1960, с. 537—540. — Из зарубежных трудов назовем недавно вышедшую на английском языке книгу Кросса: Cross A. N. M. Karamsin. A Study of His Literary Career. 1783—1803. London and Amsterdam, 1971, p. 65—95.

торе «Писем русского путешественника» как о «частичном» сентименталисте. В таком случае понятие «сентиментализм» не только сужается, но и теряет свойство системности. Под сентиментальным тогда понимается набор эмоций (чувствительность в форме меланхолии, тихого восторга и проч.) и набор «чувствительных» ситуаций (умиление ребенком, ночные размышления о тьме бытия). «Сентиментальные» (в подобном понимании) элементы, конечно, не создают более высокого единства с «несентиментальными» элементами, и, следовательно, художественное произведение представляется как смешение изолированных друг от друга, замкнутых «корпускул».

Отказ от подобного подхода к «Письмам» виден в статье Е. И. Купреяновой «Русская повесть конца XVIII в.»,<sup>3</sup> хотя несколько абзацев анализа «Писем» позволили только декларировать единство этого произведения Карамзина. В трудах многих советских ученых выдвинуты плодотворные идеи, которые позволяют по-новому подойти к творчеству Карамзина, но идеи эти, к сожалению, пока не реализованы при конкретном анализе «Писем».<sup>4</sup> Не учтен и ряд ценных наблюдений над «Письмами», сделанных при рассмотрении общих проблем творчества Карамзина. Так, например, очень важными представляются идеи П. Н. Беркова, писавшего, что в свете этического идеала Карамзина иной, более глубокий смысл приобретает «Письма русского путешественника»,<sup>5</sup> что пужно учесть «одну черту этого произведения, едва ли не важнейшую, — национальную позицию автора».<sup>6</sup>

Говоря о работах, посвященных «Письмам», пужно заметить, что информативная часть «Писем» понимается как совокупность нейтральных сведений о культуре, быте, нравах, памятниках, истории европейских народов. Но возможен и другой подход: проанализировать, что именно интересует «русского путешественника» в быте, в культуре страны, в жизни его великих современников и т. д., т. е. какие элементы объективного мира выделяет и группирует сознание субъекта, а затем попытаться установить единство субъективного и объективного в «Письмах». Такой подход требует конкретного изучения структуры «Писем». Настоящая статья имеет более скромную цель: дать системный анализ одного эпизода «Писем» — пребывания Карамзина в Швейцарии. Главы о Швейцарии меньше других напоминают путеводитель и,

<sup>3</sup> В кн.: История русского романа. М., 1962, т. I, с. 68—70.

<sup>4</sup> Например: Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина (1783—1803). — Уч. зап. Тартуского ун-ва, вып. 51, 1957, с. 122—166; Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке. — Русская литература, 1962, № 1, с. 68—106.

<sup>5</sup> Берков П. Н. Державин и Карамзин в истории русской литературы. — В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII—начала XIX в. XVIII век. Сб. 8. М.—Л., 1969, с. 15.

<sup>6</sup> Берков П. П., Макогоненко Г. П. Жизнь и творчество Карамзина. — В кн.: Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2 томах, т. II. М.—Л., 1964, с. 24.

по мнению Кросса, являются наиболее «сентиментальными» и наименее «просветительскими».<sup>7</sup> При исследовании швейцарской части «Писем» представляется необходимость сперва рассмотреть ее внутреннюю структуру, а затем ее соотношение с другими частями (особенно французской).

Вступая на швейцарскую землю, Карамзин посвящает ей возвышенные, восторженные слова. Это гимн в прозе: «Итак, я уже в Швейцарии <...> в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».<sup>8</sup> Не Россия, не отечество, а именно Швейцария заставляет Карамзина почувствовать себя человеком, представителем человечества. Карамзин любил и ценил швейцарских писателей середины XVIII в. — Геснера и Галлера и переводил их. В «Письмах» Карамзин обильно их цитирует, говорит о своем восхищении их творениями, рассказывает о посещении могилы Геснера, и т. д. Но Швейцария в «Письмах» изображена отнюдь не в духе спокойной созерцательного Галлера, автора поэмы «Альпы», и не в духе умиленного Геснера, воспевающего счастливых жителей швейцарской Аркадии, жизнь которых протекала в далеком прошлом. В определенном смысле Карамзин — наследник Геснера, но между ними есть еще одно промежуточное звено. Между ними стоит писатель, который также ценил Геснера, но который камерной, спокойной, «чувствительной» жизни швейцарских пастухов придавал злободневное и общечеловеческое значение — вместо пресных моральных сентенций выдвинул глубокую и страстную философию. Этот писатель был Руссо. И, начиная свой рассказ о Швейцарии с гимна «земле свободы», с «мыслей о своем человечестве», Карамзин как бы заявляет, что будет судить о ней, основываясь на взглядах Руссо. И в дальнейшем отчетливо видно, как Карамзин осмысливает жизнь швейцарцев на базе социальных, политических, экономических, этических, религиозных и эстетических идей Руссо.

Карамзин говорит об экономических и социальных условиях благосостояния швейцарцев: «Сие, можно сказать, цветущее состояние швейцарских земледельцев происходит наиболее оттого, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов» (I, 249). Карамзин переводит песню швейцарского юноши, который гордится тем, что его соотечественники «не знают роскоши, которая свободных

---

<sup>7</sup> Cross A. N. M. *Karamzin...*, p. 81.

<sup>8</sup> Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2 томах, т. I, с. 207 (в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы).

в рабов, в тиранов превращает»<sup>9</sup> (I, 222). Карамзин спокойно говорит, что «хлебники, сапожники, портные играют часто важнейшие роли в базельской республике» (I, 212), хотя сам скорее симпатизирует аристократической республике, прототипом которой является Спарта — страна суровых и сильных людей и сильной власти.<sup>10</sup> «Мудрые цюрихские законодатели, — пишет Карамзин, — знали, что роскошь бывает гробом вольности» (I, 239). Но основой счастья швейцарцев является их добродетель, с потерей которой они могут потерять все: от нравственной болезни «рано или поздно умирает свобода в республиках» (I, 247). Поэтому и эстетические вкусы швейцарцев основаны на морали: «Иногда сходятся две, три, четыре приятельницы — разговаривают дружески — вместе работают или читают Геснера, Клопштока, Томсона и других писателей и поэтов, которые не приводят целомудрия в краску» (I, 238).

Если это и идиллия, то идиллия в духе Руссо, а не Геснера. Карамзин «помышляет о своем человечестве», изображая жизнь свободных тружеников — детей «натуры», которые «хорошо понимают язык сердца» (I, 226), которые добродетельны, суровы, скромны и живут в братском союзе. Нетрудно узнать здесь идеал Руссо.<sup>11</sup>

Однако недостаточно сказать о близости общетеоретического подхода к Швейцарии Руссо и Карамзина. Общность наблюдается и в методе изображения жизни швейцарцев. Многие конкретные черты швейцарского быта Карамзин осмысляет в свете «теорий», философски, то, что лежит на поверхности, связывает с широким кругом общечеловеческих проблем, т. е. через Руссо Карамзин усвоил просветительский метод изображения.<sup>12</sup> Вот, например, как пишет Карамзин о бернских домах: «Домы почти все одинакие: из белого камня, в три этажа, и представляют глазам образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тенью колоссальных палат» (I, 249—250). Вряд ли возможно это назвать беспристрастным описанием архитектуры. По своей

<sup>9</sup> На связь содержания этой песни с идеями Руссо указал Ю. М. Лотман в статье «Руссо в русской культуре XVIII века» (в кн.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 584).

<sup>10</sup> Спарта была идеалом и Платона, и Руссо, которые оказали влияние на формирование мировоззрения Карамзина. Подробнее см.: Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина. — В кн.: Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1966 (Библиотека поэта. Большая серия), с. 7—18.

<sup>11</sup> О восприятии Карамзиным ряда идей Руссо писал Х. Роте в недавно вышедшей монографии (Rothe H. N. M. Karamsin europäische Reise. Berlin—Zürich, 1968). Но эта преемственность идей не учитывается немецким исследователем при анализе швейцарских глав «Писем».

<sup>12</sup> На существование двух планов — житейского и философского — в прозе просветителей указал Н. Я. Берковский в статье «Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы» (в кн.: Западный сборник. Л.—М., 1937, с. 53—58).

структуре это высказывание ближе к публицистике просветителей, чем к скрупулезным сообщениям справочников-путеводителей. Сделай Карамзин революционный вывод из этого философского, «руссоистского» описания — его можно было бы выразить в крылатой фразе Шамфора: «Мир лижипам — войпа дворцам». Такой же философский подход наблюдается и при изображении ряда сцен из жизни швейцарцев. Своё пребывание в долине Гасли Карамзин сперва живописует, казалось бы, в стиле идиллического Геснера: «На всяком лужке отдыхал я по нескольку минут и если не руками, то по меньшей мере глазами своим ласкал каждую травку вокруг себя. Я пришел в маленькую горную деревеньку, которой жители ведут пастушью жизнь во всей простоте ее» (I, 262). Далее Карамзин дает описание амбаров, в которых делают сыр, и встречи с пастухом, принесшим чашку воды «русскому путешественнику». «Я взял чашку, — продолжает Карамзин, — и если бы не побоялся пролить воды, то конечно бы обнял пастуха с таким чувством, с каким брат обнимает брата: столь любезен казался он мне в ту минуту!» (I, 262). И тут же Карамзин предается мыслям о прелести естественной жизни, о горьких плодах просвещения, о счастье человека природы, т. е. мыслит как последователь Руссо: «Для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями! Я с радостью отказался бы от многих удобностей жизни (которыми обязаны мы просвещению дней наших), чтобы возвратиться в первобытное состояние человека. Всеми истинными удовольствиями — теми, в которых участвует сердце и которые нас подлинно счастливыми делают, — наслаждались люди и тогда, и еще более, нежели ныне <...> Теперь жилище и одежда наше покойнее: но покойнее ли сердце? Ах, нет! Тысячи забот, тысячи беспокойств, которых не знал человек в прежнем своем состоянии, терзают ныне внутренность нашу» (I, 262—263).

Итак, изображая жизнь швейцарцев, Карамзин выступает как последователь Руссо. Но руссоизм Карамзина определяет только композицию швейцарских глав, он «локален». Для Руссо Швейцария является мерилom оценки других государств. В «Новой Элоизе», в «Письме к Д'Аламберу» и в других произведениях Швейцария и Франция противопоставлены как обитель естественных добродетелей и гнездо «цивилизованных», порочных страстей. Такой антитезы в «Письмах» Карамзина нет: писатель о Франции отзывается столь же восторженно, как и о Швейцарии. Мировоззрение Карамзина обладает значительной долей релятивизма, оно не организовано в столь ясную и четкую систему, как мировоззрение просветителей, но в этом нужно видеть не слабость, а большую чуткость писателя, решившего изобразить Европу, попавшую в водоворот бурных событий, когда история опровергала теории. Между Карамзиным и Руссо лежит великая французская революция — событие, оказавшее огромное воздействие на развитие общественной мысли. Для Руссо естественной

является жизнь человека природы, а история — лучший способ оправдания тиранов. Для Карамзина жизнь общества — не менее естественный процесс, который не позволяет безнаказанно проводить над собой эксперименты. Единство жизни нации понимается уже не только в территориальном или этническом аспекте, но и в историческом. Но после драматических событий французской революции, в начале 1790-х годов, история представлялась многим мыслителям как страшная, непреодолимая сила. Поэтому для исторических концепций того времени характерны защита традиций, определенный политический консерватизм, с одной стороны, и скептицизм, иногда переходящий в исторический пессимизм, — с другой (см., например, систему позднего Фолвизина). Эти же черты присущи и мировоззрению Карамзина. «Всякие насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот», — писал Карамзин (I, 382). Огромное историческое значение французской революции Карамзин видит в том, что она на практике доказала эту истину.<sup>13</sup>

Карамзин считает бесперспективными попытки изменить жизнь общества «снизу». И в этом он сторонник идей просветителей, выступавших против народной революции. В «Письмах» Карамзин, правда, еще придерживается просветительских взглядов и на деятельность монарха, признавая революцию «сверху» (см. высказывание Карамзина о Петре I в письме из Парижа, помеченном маем 1790 г.). Но в дальнейшем писатель «сужает» сферу деятельности царя, видя смысл этой деятельности скорее в сохранении традиций, чем в насаждении нового (см. его «Записку о древней и новой России», где, кстати, начинания Петра I оцениваются в основном отрицательно). В 1790-е годы, в период создания «Писем», Карамзин находился в оппозиции к екатерининскому и павловскому режиму и был далек от восхищения состоянием России. Но в «насильственных потрясениях» писатель видел еще большее зло, поэтому-то он так пессимистически и оценивал состояние русского общества. Но тем больше восторгался он Швейцарией: ведь в ней идеальная жизнь возникла без потрясений, естественно. Многие черты швейцарского уклада, по Карамзину, должны быть присущи любому идеальному государству, но не все. Карамзин отходит от чистого теоретизирования и внимательно присматривается к конкретным формам жизни других наций, прошедших свой исторический путь. И поэтому он готов положительно оценить в общественном бытии «просвещенных» стран (Англии, Франции) многие черты, которые не присущи бытию швейцарцев, а иногда и противопоказаны ему.

Итак, изображение Швейцарии в «Письмах русского путешественника» невозможно разделить на «чувствительные» и «ин-

<sup>13</sup> Об отношении Карамзина к французской революции в период издания «Московского журнала» см. в статье П. Н. Беркова и Г. П. Макогоненко «Жизнь и творчество Карамзина», с. 11—13.

формативные» элементы. Взятые отдельно, некоторые сцены из «Писем» могут действительно приближаться к одному из этих полюсов. Но свое истинное значение многие сцены обретают только в соотношении их со всей системой изображения Швейцарии. «Чувствительные» сцены получают свое истинное значение только при руссоистском понимании чувствительности «естественного» человека — со многими вытекающими из этого социально-политическими выводами. В швейцарских главах «Писем» отчетливо прослеживается генетическая связь мировоззрения Карамзина с идеями Просвещения. Но для Карамзина идеи Просвещения уже не образуют системы абсолютных истин, поэтому они не являются конструктивной основой политической программы писателя. Не определяют они и всю структуру «Писем русского путешественника», а только структуру глав о Швейцарии. Единство «Писем» определяет не внеличностная система истин, как это было в просветительском романе, а мировосприятие конкретного путешественника — свидетеля грандиозных событий, происходящих в Европе, и прежде всего в этом, а не в излишней чувствительности и агностицизме проявляется субъективизм Карамзина. Сентиментализм Карамзина имеет значительный идейный фундамент, включающий в себя и идеи Просвещения, и идею исторического единства жизни нации.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ\* В ИЗДАНИЯХ  
ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
ЗА 1935—1974 гг.

В 1974 году исполнилось 40 лет существования Группы по изучению русской литературы XVIII века при Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Она была организована в феврале 1934 года. Первоначально Группой руководил академик А. С. Орлов, с 1937 по 1948 год — Г. А. Гуковский.

П. Н. Берков принимал активное участие в работах Группы с момента ее создания. По его инициативе в 1956 году, после значительного перерыва в работе, деятельность Группы была возобновлена, и он оставался ее бессменным руководителем по день своей смерти. Он был постоянным вкладчиком всех ее трудов, организатором и вдохновителем всех начинаний Группы. Поэтому мы сочли необходимым поместить в сборнике, посвященном его памяти, «Указатель статей в изданиях Группы» за 1935—1974 гг., который помимо своего собственно справочного значения свидетельствует о масштабах работы Группы по изучению русской литературы XVIII века, осуществлявшейся в значительной степени под руководством П. Н. Беркова.

За время своего существования Группа XVIII века кроме индивидуальных монографий подготовила десять выпусков сборников «XVIII век». Начиная с 6 выпуска, сборники кроме порядкового номера имели также тематическое заглавие: вып. 6 — «Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма»; вып. 7 — «Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова»; вып. 8 — «Державин и Карамзин в литературном движении XVIII—начала XIX века»; вып. 9 — «Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века» и настоящий 10 выпуск, который не включен в «Указатель».

Кроме этой полупериодической серии вышли сборники, посвященные отдельным проблемам развития литературы XVIII века: «А. Н. Радищев. Исследования и материалы». М.—Л., 1938 (Литературный архив); «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века». М.—Л., 1961; «Литературное творчество М. В. Ломоносова. Исследования и материалы». М.—Л., 1962; «Русская литература XVIII века и славянские литературы. Исследования и материалы». М.—Л., 1963. В указателе названия этих сборников соответственно сокращены — Р, П, ТЛ, Р и С.

---

\* Статьи расположены в алфавите авторов, а внутри списка статей одного автора — в хронологии появления в печати и в порядке размещения в соответствующем сборнике. Статьи нескольких авторов помещаются под фамилией первого из них, в конце подборки его статей.



- Адрпанова-Перетц В. П. Стихотворные жарты XVIII века. VII, 36—43
- Алексеев А. А. Из истории общественно-политической лексики петровской эпохи. IX, 313—317
- Алексеев М. П. 1) Д. Дидро и русские писатели его времени. III, 416—431  
2) К истории русского вольтеррианства в XIX в. VII, 302—311  
3) К литературной истории баллады «Граф Гваринос». VIII, 179—189
- Альтшуллер М. Г. 1) С. С. Бобров и русская поэзия конца XVIII—начала XIX в. VI, 224—246  
2) Литературно-теоретические взгляды Державина и «Беседа любителей русского слова». VIII, 103—112  
3) Любовь Иванова Кулакова (1906—1972). IX, 339—342
- Арзуманова М. А. 1) О связях с Россией А. П. Радищева в лейпцигский период. III, 527—537  
2) Университетские годы А. Н. Радищева. IV, 433—449  
3) Русский сентиментализм в критике 90-х годов XVIII в. VI, 197—223  
4) Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А. С. Шишкова. VIII, 309—323
- Арзуманова М. А., Бельчиков Н. Ф. Три письма к Н. П. Николеву. III, 513—516
- Бабищев С. М. Новые ранние списки «Путешествия из Петербурга в Москву». III, 540—544
- Бабкин Д. С. В. В. Капнист и А. Н. Радищев. IV, 269—288
- Бадалич Й. М. Загребские рукописи русских драм XVII в. VII, 127—131
- Бадалич Й. М., Берков П. Н. Комическая опера «Матросские шутки» и ее автор. IV, 422—425
- Базанов В. Г. Оглядываясь на пройденный путь. (К спорам о Державине и Карамзине). VIII, 18—24
- Бараг Л. Г. О реалистических тенденциях комедии «Бригадир». VII, 150—156
- Баранкова Г. С. Пьесы Славяно-греко-латинской академии о Северной войне. (О некоторых художественных особенностях). IX, 270—278
- Баранская Н. В. Еще об авторе «Отрывка путешествия В\*\*\* И\*\*\* Т\*\*\*». III, 226—241
- Барсков Я. Л. А. Н. Радищев — «Торжок». II, 54—76
- Берков П. Н. 1) Из истории русской поэзии первой трети XVIII века. (К проблеме тонического стиха). I, 61—81  
2) «Хор ко превратному свету» и его автор. I, 181—202  
3) Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. (Анонимная статья Ломоносова. 1755 г. — О «Письме молодого русского вельможи». — Из литературного наследия М. М. Хераскова. Анонимная статья «О письменах славяно-русских и тиснении книг в России». — «Лихоимец», комедия В. И. Бибикова). I, 327—376  
4) Итоги, проблемы и перспективы изучения русской литературы XVIII века. III, 7—24  
5) Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. (К биографии Михаила Александровича Матинского. Документы об отпуске его на волю и о службе в Комиссии об учреждении училищ. — Целиданная эпиграмма Ломоносова). III, 493—497  
6) Новейшие работы ученых ГДР по истории русской культуры и литературы XVIII века. III, 554—558  
7) Некоторые спорные вопросы современного изучения жизни и творчества А. П. Радищева. IV, 172—205

- 8) В. В. Капнист как явление русской культуры XVIII века. IV, 257—268
- 9) Основные вопросы изучения русского просветительства. II, 5—27
- 10) Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726—1729). II, 190—220  
V, 5—32
- 11) Проблема литературного направления Ломоносова.
- 12) Несколько справок для биографии А. П. Сумарокова. (Родители и родственники Сумарокова. — Служебная деятельность и семья А. П. Сумарокова). V, 364—375
- 13) Шесть писем А. П. Сумарокова к историографу Г.-Ф. Миллеру (1767—1769) и четыре записки последнего к Сумарокову. V, 376—382  
ТЛ, 4—13  
ТЛ, 14—68
- 14) «Письмо к г. В...» М. В. Ломоносова.
- 15) Литературные интересы Ломоносова.
- 16) Русская литература XVIII в. и другие славянские литературы XVIII—XX вв. (В порядке постановки вопроса о литературных контактах). P и C, 5—39
- 17) Проф. Франк Вольман между двумя юбилеями. 1958—5 мая—1963. (К 75-летию со дня рождения). P и C, 172—175
- 18) Проф. Иосип Бадалич как исследователь русского театра первой половины XVIII в. К 75-летию со дня рождения. (7 июня 1963 г.). P и C, 175—179
- 19) Проф. Виктор Якубовский. К 65-летию со дня его рождения. (5 декабря 1961 г.). P и C, 179—183
- 20) К 65-летию акад. Эдуарда Винтера. (16 сентября 1961 г.). P и C, 183—187
- 21) Проф. В. П. Велчев. (К 55-летию со дня его рождения). P и C, 187—189
- 22) Проблемы изучения русского классицизма. VI, 5—29
- 23) Державин и Карамзин в истории русской литературы конца XVIII—начала XIX века. VIII, 5—17
- Берков П. Н., Гуревич М. М. Полезная книга по истории русского нотопечатания XVIII века. III, 559—561
- Берков П. Н., Степанов В. П. Материалы для библиографии изданий А. Д. и Д. К. Кантемиров и литературы о них (1917—1959). II, 260—270
- Беркова С. М. Материалы для библиографии советских работ по истории русской литературы XVIII века за 1954—1956 годы. III, 566—586
- Бокк Р. Г. Неизвестное стихотворение Ф. А. Козловского, приписываемое Сумарокову. V, 396—398
- Бомштейн Г. И. 1) Антиклерикальная поэзия Ломоносова и русские народные пословицы. III, 65—90  
2) О значении народного движения для развития общественной мысли. II, 138—139  
3) Третьяковский-филолог и фольклор. V, 249—272  
4) Ломоносов и национально-историческая тема в русской литературе и искусстве. VII, 86—93
- Боров Т. Русская литература XVIII в. в Болгарии в эпоху Возрождения. Итоги изучения. (Перевод Л. И. Ровняковой). VII, 409—414
- Боровский Я. М. In Michaelis Lomonosovi diem natalem ducentesimum quinquagesimum. (К двухсотпятидесятилетию со дня рождения Михаила Ломоносова. Перевод П. Н. Беркова). ТЛ, 315—317
- Бруханский А. Н. М. Н. Муравьев и «легкое стихотворство». IV, 157—171

- Будагов Р. А. Из истории семантики прилагательного *классический*. VII, 443—448
- Быкова Т. А. 1) К истории русского тонического стихосложения. (Неизвестное произведение И. Г. Спарвенфельда). III, 449—453  
 2) Новые труды по библиографии русской книги гражданской печати XVIII века. III, 548—549  
 3) Заметки о редких русских изданиях в собраниях ГПБ. IV, 395—403  
 4) К истории текста «Од торжественных» А. И. Сумарокова. V, 383—391  
 5) Литературная судьба переводов «Древней российской истории» М. В. Ломоносова. ТЛ, 237—247  
 6) Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе. VIII, 324—342
- Валк С. Н. В. Н. Татищев и начало новой русской исторической литературы. VII, 66—73
- Валкина И. В. К вопросу об источниках Татищева. VII, 74—85
- Вацуро В. Э. 1) К вопросу о философских взглядах Хемницера. VI, 129—145  
 2) Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм». VIII, 190—209
- Вейс А. Ю. Новые материалы для изучения биографии и творчества Н. А. Львова. (Неопубликованное стихотворение «На угольный пожар». — Неизвестная басня Н. А. Львова). III, 519—526
- Велчев В. К вопросу о восприятии русской литературы XVIII в. в Болгарии. (Традиция фонвизинского «Недоросля» в творчестве Т. Шишкова). VII, 403—408
- Виноградов В. В. История слова *изящный*. (В связи с образованием выражения *изящная словесность, изящные искусства*). VII, 434—442
- Винтер Э. 1) И. В. Паус о своей деятельности в качестве филолога и историка (1732). IV, 313—322  
 2) Феофан Прокопович и начало русского Просвещения. (Перевод Л. В. Славгородской). VII, 43—46
- Волльман Ф. Взаимоотношения литературы и фольклора в XVIII в. и их роль в развитии русской культуры. (Перевод А. М. Панченко). VII, 14—19
- Всеволодский-Гернгросс В. Н. О терминах «просвещение» и «просветительство». II, 140—142
- Вытженс Г. П. А. Вяземский и русская литература XVIII в. VII, 332—338
- Герасимова Л. В. Эпитеты в произведениях Карамзина. VIII, 290—298
- Гершкович З. И. 1) К вопросу об эволюции мировоззрения и творчества А. Д. Кантемира. (Проблема «девятой» сатиры). III, 44—64  
 2) К биографии А. Д. Кантемира. III, 456—459  
 3) О методологических принципах изучения русского просветительства. II, 151—157  
 4) Об идейно-художественной эволюции А. Д. Кантемира. (По данным творческой истории сатир). II, 221—247  
 5) Об эстетической позиции и литературной тактике Кантемира. V, 179—204  
 6) К истории создания первых сатир Кантемира. V, 349—357
- Гиллельсон М. И. 1) Ценный вклад в историю русской поэзии. [Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Вступ. статья, подготовка текста и примечания Г. В. Ермаковой-Битнер. Л., 1959]. V, 445—450

- 2) Письма Н. М. Карамзина к С. С. Уварову. VIII, 351—354
- Гинзбург Л. Я. Неизданные стихотворения Рубана. I, 411—432
- Головчинер В. Д. Из истории становления языка русской литературной прозы 50—60-х годов XVIII века. (Роман аббата Прево «Приключения Маркиза Г\*\*\*, или Жизнь благородного человека, оставившего свет», в переводе И. П. Елагина и В. И. Лукина). IV, 66—84
- Гордон Л. С. Французский драматург Дефорж (1746—1806) и его пьеса о восстании русских крепостных. IV, 339—354
- Горфункель А. X. «Великая наука Раймунда Люллия» и ее читатели. V, 336—348
- Гофман П. К вопросу о распространении сведений о Радищеве в Германии. (Лейпцигский книгопродавец Лео). IV, 372—375
- Грасхоф Х. Из истории связей Берлинского общества наук с Россией в 20-х годах XVIII в. (Перевод Р. Ю. Данилевского). VII, 59—65
- Гуковский Г. А. 1) О «Хоре ко превратному свету». (Ответ П. Н. Беркову). I, 203—217
- 2) Радищев как писатель. P, 143—192
- 3) Проблемы изучения русской литературы XVIII века. II, 3—24
- 4) Эмин и Сумароков. II, 77—94
- 5) Заметки о Крылове. (Крылов и Княжнин. — Ода Крылова 1790 года. — «Подщина» Крылова). II, 142—165
- 6) Русская литература в немецком журнале XVIII века. III, 380—415
- 7) Русская литературно-критическая мысль в 1730—1750-е годы. V, 98—128
- 8) Ломоносов-критик. ТЛ, 69—100
- 9) Третьяковский как теоретик литературы. VI, 43—72
- Гуревич М. М. 1) Неизвестный номер «Вedomостей» за 1709 год. III, 454—455
- 2) Неизвестное произведение Василия Майкова. III, 474—480
- 3) Из несобранного литературного наследия А. П. Сумарокова. V, 392—395
- Гусев В. Е. Михайло Попов — поэт-песенник. VII, 132—137
- Данько Е. Я. 1) Изобразительное искусство в поэзии Державина. (Державин — поэт и живописец. — Произведения изобразительного искусства в поэзии Державина. — Державин и Рашет). II, 166—247
- 2) Из неизданных материалов о Ломоносове. (Неизданная студенческая рукопись М. В. Ломоносова 1738 г. — О литературных источниках «Письма о правилах российского стихотворства»). II, 248—275
- Дембский Я. Издания петровского времени в библиотеках Польши. (Перевод Н. Н. Мозжухиной). IX, 317—321
- Державина О. А. Пьеса 20-х годов XVIII в. «Слава печальная» и литература этого периода. IX, 250—258
- Десницкий А. В. Басня И. А. Крылова «Дикие козы» в связи с традициями русской сатиры XVIII в. VII, 328—331
- Добрушкин Е. М. К изучению творчества В. Н. Татищева как писателя русской истории (древнерусский «обычай» в «Истории Российской»). IX, 149—167
- Доланский Ю. Херасков и Гавличек. (Перевод Г. А. Лилич). VII, 213—220
- Долгова С. Р., Подъяпольская Е. П. Неизвестные стихи на смерть Петра I. IX, 296—299
- Дуденкова А. И. 1) Поэма А. Дубровского «На ослепление страстями». III, 463—470
- 2) О построении образа в лирике Ломоносова. V, 70—78
- Дуйчев Ив. Отзвуки русской историографии XVIII в. у болгар. (Перевод А. И. Хватова). VII, 397—402

- Дыхне М. М. Заметки к тексту «Письма о пользе стекла» М. В. Ломоносова. ТЛ, 258—269
- Егунов А. Н. 1) Ломоносов — переводчик Гомера. ТЛ, 196—218  
2) «Плоды уединения» Н. И. Гнедича. VII, 312—319
- Елеонская А. С. Посмертный панегирик Петру I в стенах Славяно-греко-латинской академии. IX, 259—269
- Елеонский С. Ф. Из наблюдений над языком и стилем «Путешествия из Петербурга в Москву». (К изучению художественного своеобразия книги А. Н. Радищева). III, 326—342
- Ермакова-Битнер Г. В. 1) Захарий Аникеевич Горюшкин — воспитатель российского юношества. III, 343—379  
2) Русская литература XVIII в. и «Вестник знания» (1903—1916). VII, 380—385  
VII, 419—427
- Жирмунский В. М. О русской рифме XVIII в. VII, 419—427
- Заборов П. Р. 1) Неизданная поэма М. В. Храповицкого «Четыре времени года». V, 429—434  
2) Ломоносов во французском журнале 1820-х годов. ТЛ, 285—291  
3) «Ночные размышления» Юнга в ранних русских переводах. VI, 269—279  
4) Гюго и Карамзин. VIII, 346—350
- Западов А. В. Журнал М. Д. Чулкова «И то и сьо» и его литературное окружение. II, 95—141
- Западов В. А. 1) Державин и Муравьев. VII, 245—253  
2) Державин и русская рифма XVIII в. VIII, 54—91
- Ионин Г. Н. Анакреонтические стихи Карамзина и Державина. VIII, 162—178
- Итигина Л. А. К вопросу о репертуаре оппозиционного театра Елизаветы Петровны в 1730-е годы. IX, 321—331
- Каганов И. Я. 1) Я. Маркович и его «Дневник» как материал для истории просветительства на Украине в первой половине XVIII в. II, 113—126  
2) Г. А. Полетика и его книжные интересы. (Из истории книжной культуры XVIII в.). VII, 138—144
- Канунова Ф. З. Эволюция сентиментализма Карамзина. («Моя исповедь»). VII, 286—290
- Карлова Т. С. Эстетический смысл истории в творческом восприятии Карамзина. VIII, 281—289
- Касаткина Е. А. Трагедия М. В. Ломоносова «Демон-фонт». III, 91—110
- Князев Г. А., Файдель Э. П., Шафрановский К. И. Каталог изданий Петербургской Академии наук 1731 года (дар немецкой Академии наук, 1956). III, 562—565
- Козьмин М. Б. Журнал «Утра» и его место в русской журналистике XVIII века. IV, 104—135
- Кокорев А. В. За активное изучение русской литературы XVIII века. II, 147—150
- Коплан Б. И. 1) Философические письма «Почты духов» (1789). P, 355—399  
2) Французский источник некоторых «Нравоучительных басен» М. М. Хераскова. II, 329—333
- Кочеткова Н. Д. 1) «Любослов» — сотрудник «Собеседника любителей русского слова». V, 422—428  
2) Отзывы о Ломоносове в «Собеседнике любителей русского слова». ТЛ, 270—281  
3) Идеино-литературные позиции масонов 80—90-х годов XVIII в. и Н. М. Карамзин. VI, 176—196  
4) Карамзин и Антон Валль. VIII, 245—258  
5) Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма. IX, 50—80

- Кочеткова Н. Д., Фридлиндер Г. М. Ф. Зольгер о Карамзине. VIII, 343—345
- Крестова Л. В. 1) Из истории публицистической деятельности Д. И. Фонвизина. III, 481—489  
2) С. П. Румяшцев — писатель и публицист. (1755—1838). VI, 91—128  
3) Повесть Н. М. Карамзина «Сиерра-Морена». VII, 261—266
- Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина. (Перевод И. Б. Комаровой). VIII, 210—228
- Кряжмиская И. А. 1) Театрально-критические статьи Н. М. Карамзина в «Московском журнале». III, 262—275  
2) О работе Группы по изучению русской литературы XVIII века. III, 587—590  
3) Библиографический перечень авторефератов диссертаций по русской литературе и русскому языку XVIII века. III, 591—602  
4) Из истории русской театральной критики конца XVIII—начала XIX века. IV, 206—229  
5) О работе Группы по изучению русской литературы XVIII века. IV, 467—471
- Кубачева В. Н. «Восточная» повесть в русской литературе XVIII—начала XIX века. V, 295—315
- Кузьмин А. И. 1) Крепостной литератор В. Г. Вороблевский. IV, 136—156  
2) К истории переводного плутовского романа в России XVIII в. VII, 194—198  
3) Военная тема в литературе петровского времени. IX, 168—183
- Кулакова Л. И. 1) Просветительство и литературные направления XVIII века. II, 163—172  
2) А. Н. Радищев о М. В. Ломоносове. ТЛ, 219—236  
3) Эстетические взгляды Н. М. Карамзина. VI, 146—175  
4) Когда написана басня «Лисица-Казнодей»? VII, 174—180  
5) О спорных вопросах в эстетике Державина. VIII, 25—40
- Кулябко Е. С. 1) Научные связи М. В. Ломоносова с зарубежными учеными. IV, 327—333  
2) Ломоносовский юбилей 1911 г. ТЛ, 300—312  
3) К истории словацко-русских научных связей в XVIII в. (Письма М. Бея в Архиве АН). Р и С, 168—171  
4) Неизвестное письмо И. И. Шувалова к М. В. Ломоносову. VII, 99—105  
IV, 5—44
- Куприянова Е. П. К вопросу о классицизме. IV, 5—44
- Кучеров А. Я. Французская революция и русская литература XVIII века. I, 259—307
- Лакшин В. Я. О деятельности В. К. Тредиаковского-просветителя. (Перевод книги о Фр. Бэкопе). V, 223—248
- Лапкина Г. А. О театральных связях В. В. Капниста. IV, 304—312
- Левин В. Д. Заметки о принципах изучения русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в. VII, 428—433
- Левин Ю. Д. Об источниках «Подпоручика Клеже». VII, 393—396
- Левина П. М. Два неопубликованных письма Е. И. Кострова. III, 505—510  
VII, 267—271
- Леман У. П. М. Карамзин и В. фон Вольцоген. VII, 267—271
- Линтур П. В. 1) Традиции русского классицизма в литературе Закарпатья XIX в. Р и С, 123—136  
2) Державин и литература Закарпатья XIX столетия. VII, 237—244
- Лихачев Д. С. Эстетическая оценка и текстологическое исследование. (Тезисы). VII, 449—455
- Ломоносов М. В. Письмо к его высокородию Ивану Ивановичу Шувалову 1750 г. (Перевод на немецкий язык Аннемари Рау). ТЛ, 313

- Лотман Ю. М. 1) К вопросу о том, какими языками владел М. В. Ломоносов. III, 460—463  
 2) Радищев и Мабли. III, 276—308  
 3) О третьей части «Почты духов» И. А. Крылова. III, 511—512  
 4) Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. IV, 230—256  
 5) Новые издания поэтов XVIII века. IV, 456—466  
 6) Пути развития русской просветительской прозы XVIII века. II, 79—106  
 7) Просветительство и реализм. II, 158—162  
 8) Радищев — поэт-переводчик. V, 435—439  
 9) Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина. (К структуре массового сознания XVIII в.). VII, 280—285
- Лужный Р. 1) «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии. (Первая половина XVIII в.). (Перевод Г. Я. Векслер). VII, 47—53  
 2) Издания на польском языке в литературе эпохи Петра I. (Перевод Н. Н. Мозжухиной). IX, 304—312
- Луккина Т. А. Неизвестные документы о сестре Ломоносова М. В. Головиной и его племянниках М. Е. и П. Е. Головиных. ТЛ, 292—299
- Лукичева Э. В. Федор Поликарпов — переводчик «Географии генеральной» Бернарда Варения. IX, 289—296
- Люблинский В. С. Новое в русских связях Вольтера. III, 432—439
- Любомиров П. Г. 1) «Описание моего владения». P, 195—209  
 2) Род Радищева. (Предки. — Афанасий Прокофьевич Радищев. — Отец писателя, Николай Афанасьевич Радищев). P, 293—351
- Мазон А. Тюрпен и Куракин — литератор и вельможа. (Перевод Н. И. Серман). VII, 187—194
- Маймин Е. А. Державинские традиции и философская поэзия 20—30-х годов XIX столетия. VIII, 127—143
- Макаров В. К. Киевская «мусия» в художественном творчестве М. В. Ломоносова. P и C, 102—104
- Макогоненко Г. П. 1) О композиции «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. II, 25—53  
 2) К истории русского Просвещения и реализма XVIII века. II, 173—189  
 3) Учение Радищева об активном человеке и Пушкин. VII, 345—352  
 4) Пушкин и Державин. VIII, 113—126
- Малеин А. И. Приложение к статье А. С. Орлова «Тилемахида». (Античные источники эпитетов Тредиаковского). I, 57—60
- Маргарян А. Е. Брюсов и русские поэты XVIII в. VII, 386—392
- Мартынов И. Ф. Три редакции «Службы благодарственной о великой победе под Полтавой». IX, 139—148
- Матль И. Эпоха Просвещения в России и ее отличие от Просвещения в других славянских странах. VII, 199—206
- Мейлах Б. С. «Державинское» в поэтической системе Н. М. Языкова. VII, 353—358
- Мельд М. Я. Подводное царство и морской царь в поэме «Петр Великий». ТЛ, 248—252
- Менье А. Русский восемнадцатый век и формирование Пушкина. Заметки. (Перевод Р. А. Зерновой). VII, 339—344
- Мериджи Б. Наблюдения над «Сборником Кирши Данилова». (Перевод Н. И. Серман). VII, 20—27
- Микитась В. Л. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова в Закарпатье. P и C, 137—139
- Могилянский А. П. 1) «Ольга», трагедия Я. Б. Княжнина. III, 498—504

- 2) К вопросу о так называемом «раннем» «Недоросле». IV, 415—421
- 3) Материалы и разыскания по русской литературе XVIII века. (Вопрос о жизненности и действительности русской литературы XVIII века). V, 440—444
- Модзалевский Л. Б. 1) «Евнух» В. К. Тредиаковского. I, 311—326
- 2) Ломоносов и его ученик Поповский. (О литературной преемственности). III, 111—169
- 3) Литературная полемика Ломоносова и Тредиаковского в «Ежемесячных сочинениях» 1755 года. IV, 45—65
- 4) Ломоносов и «О качествах стихотворца рассуждение». (Из истории русской журналистики 1755 г.). ТЛ, 133—162
- Моисеева Г. Н. 1) К вопросу об источниках трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим». ТЛ, 253—257
- 2) М. В. Ломоносов на Украине. Р и С, 78—101
- 3) М. В. Ломоносов и польские историки. Р и С, 140—157
- 4) «История России» Федора Поликарпова как памятник литературы. IX, 81—92
- 5) Сергей Леонидович Пештич (1914—1972). IX, 338—339
- Морозов А. А. 1) М. В. Ломоносов и телеология Христиана Вольфа. ТЛ, 163—196
- 2) Эмблематика барокко в литературе и искусстве Петровского времени. IX, 184—226
- Мулич М. Два рукописных стихотворных произведения южных славян, посвященных Петру I. IX, 299—304
- Муравьева Л. Р. Проблема так называемой «девятой» сатиры А. Д. Кантемира. V, 153—178
- Мыльников А. С. Русские переводчики в Праге. 1716—1721. IX, 279—288
- Назарова Л. П. 1) Об одной эпиграмме Г. Р. Державина. III, 545—547
- 2) И. С. Тургенев в работе над «Старыми портретами». (Из творческой истории). VII, 373—379
- Николаева М. В. «Тестамент» Петра I царевичу Алексею. IX, 93—111
- Оршин А. Д. 1) О стиле научной и публицистической прозы М. В. Ломоносова. VI, 73—90
- 2) О значении «Риторики» Ломоносова. VII, 94—98
- Орлов А. С. «Тилемахида» В. К. Тредиаковского. I, 5—55
- Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху. IX, 112—128
- Пачини-Савой Л. Итальянский дипломат XVIII века — переводчик «Россиады». (Перевод Н. Б. Томашевского). VII, 207—212
- Пигарев К. В. Неосуществленный замысел Карамзина. VII, 291—293
- Пиксанов Н. К. «Бедная Анюта» Радищева и «Бедная Лиза» Карамзина. (К борьбе реализма с сентиментализмом). III, 309—325
- Плимак Е. Г. Основные этапы в развитии русского Просвещения XVIII века. II, 127—137
- Позднеев А. В. 1) Проблемы изучения поэзии петровского времени. III, 25—43
- 2) Просветительство и книжная поэзия конца XVII—начала XVIII века. II, 107—112
- 3) Польские книжные песни в русских рукописных песенниках XVIII в. Р и С, 158—167
- Почетная В. В. Петровская тема в ораторской прозе начала 1740-х годов. IX, 331—337
- Предтеченский А. В. Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина в 1790-х годах. II, 63—78



- Привалова Е. П. 1) А. Т. Болотов и театр для детей. III, 242—261  
 2) О забытом сборнике Тверской семинарии. V, 407—421  
 3) О сотрудниках журнала «Детское чтение для сердца и разума». VI, 258—268  
 4) «Детское чтение для сердца и разума» в оценке читателей и критики. VII, 254—260
- Примма Ф. Я. Ломоносов и «История российской империи при Петре Великом» Вольтера. III, 170—186
- Прокофьев П. И. О традициях и новаторстве путевых записок петровского времени. IX, 129—139
- Проскурнин Н. П. К 250-летию гражданского книгопечатания в России. IV, 376—384
- Пушьянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века. (Каптемир и итальянская культура. — Ломоносов в 1742—1743 гг. — Ломоносов и Малерб). I, 83—132
- Путилов Б. Н. «Сборник Кириши Данилова» и традиции русского фольклоризма XVIII в. VII, 28—35
- Рааб Х. 1) Первое упоминание о деле А. И. Радищева в печати. III, 538—539  
 2) Вклад Грайфсвальда в изучение России немцами в петровскую эпоху. IV, 323—326
- Радоичич Г. С. Отражение реформ Петра I в сербской письменности XVIII в. (Перевод Г. Д. Язича). VII, 54—58
- Реизов Б. Г. К вопросу о западных параллелях «Недоросля». VII, 157—164  
 VII, 294—301  
 I, 219—258
- Рейсер С. А. Красный флаг в России. VII, 294—301
- Розанов И. Н. Песни о гостинином сыне. I, 219—258
- Розов Н. Н. «Гистория о купце», неизвестный памятник посадской сатирической литературы XVIII века. III, 440—448
- Розова З. Г. «Новая Элоиза» Руссо и «Бедная Лиза» Карамзина. VIII, 259—268  
 VIII, 92—102
- Русанова Н. Б. Эпитеты Державина. VIII, 92—102
- Самаренко В. П. В. К. Тредиаковский в Астрахани. (Новые материалы к биографии В. К. Тредиаковского). V, 358—363
- Светлов Л. Б. 1) Мнение о избрании пиес в «Московские сочинения» Д. И. Фонвизина. III, 490—492  
 2) Первое издание русского перевода «Похвалы глуности» Эразма Роттердамского. VII, 145—149
- Семенников В. П. Литературно-общественный круг Радищева. (Возникновение «Общества друзей» и его связь с московскими масонами. — Кружок «Утренних часов». — Состав «Общества друзей» и социальная среда. — «Беседующий гражданин». — Роль Радищева в «Обществе друзей» и в журнале общества. — «Общество друзей» и Городская дума). P, 213—289
- Серман И. З. 1) Из истории литературной борьбы 60-х годов XVIII века. (Неизданная комедия Федора Эмина «Ученая шайка»). III, 207—225  
 IV, 85—103  
 IV, 289—303  
 IV, 450—455  
 II, 28—44  
 V, 33—69  
 V, 205—222  
 ТЛ, 101—132  
 P и C, 40—78

- 10) Классицизм и реализм. (В порядке постановки вопроса). VI, 30—42
- 11) К портрету ученого (П. Н. Берков). VII, 5—9
- 12) Павел Наумович Берков. VIII, 1—4
- 13) Литературная позиция Державина. VIII, 41—53
- 14) Литературно-эстетические интересы и литературная политика Петра I. IX, 5—49
- Сигал Н. А. Социальная критика в литературе французского классицизма и ее художественный метод. V, 79—97
- Смирнов И. П. Заболоцкий и Державин. VIII, 144—161
- Смирнова Е. А. Гоголь и идея «естественного» человека в литературе XVIII в. VI, 280—293
- Соколов А. Н. Из истории «легкой поэзии». (От «Душеньки» к «Катеньке»). VII, 320—321
- Стенник Ю. В. 1) О художественной структуре трагедий А. П. Сумарокова. V, 273—294
- 2) Две редакции трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». VI, 247—257
- 3) Драматургия Петровской эпохи и первые трагедии Сумарокова. (К постановке вопроса). IX, 227—249
- Степанов В. П. 1) Неизвестная публикация главы «Клин» («Путешествие из Петербурга в Москву») в «Анекдотах русских» (1809). IV, 426—432
- 2) Повесть Карамзина «Фрол Силин». VIII, 229—244
- Талиашвили Г. А., Шадури В. С. Ломоносов и грузинская культура. VII, 116—126
- Тарановский К. Ф. Из истории русского стиха XVIII в. (Одическая строфа АbAb || CcDdEEd в поэзии Ломоносова). VII, 106—115
- Теплова В. А. «Вестник Европы» Карамзина о Великой французской революции и формах правления. VIII, 269—280
- Тонкова Р. М. 1) Из материалов Архива Академии наук по литературе и журналистике XVIII в. (А. П. Сумароков и канцелярия Академии наук в 1762 году. — К истории журнала «Демокрит». — И. К. Голеневский). I, 389—409
- 2) К истории петербургских театров. Печатание «петтелей» (афиш) в типографии Академии наук с 1727 по 1774 год. IV, 385—394
- Тронская М. Л. Герои-комические поэма М. А. Тюммеля в русском переводе. VII, 181—186
- Троцкий И. М. 1) Вокруг Радищева. P, III—XVI
- 2) Законодательные проекты А. Н. Радищева. P, 9—140
- 3) К биографии Радищева. (Сыновья Радищева в период отцовской ссылки). P, 403—415
- Ушакова-Кряжимская И. А., Кочеткова П. Д. П. Н. Берков как учитель. VII, 10—13
- Флакер А. «Марфа Посадница» Карамзина в хорватской литературе. VII, 272—279
- Флоринская Ю. Ф. О художественном методе повести Карамзина «Марфа Посадница». VIII, 299—308
- Флоровский А. В. 1) Латинские школы в России в эпоху Петра I. V, 316—335
- 2) И. А. Зейкан — педагог из Закарпатья. (Страница из истории русско-закарпатских культурных связей при Петре Великом). P и C, 105—122
- Фрилендер Г. М. 1) О форме и содержании идеологии эпохи Просвещения. II, 143—146
- 2) Гоголь и русская литература XVIII в. VII, 359—365
- Фролов В. В. «Прощение литератора Клушина». III, 517—518

- Хексельшнейдер Э. 1) О первом немецком переводе «Недоросля» Фонвизина. IV, 334—338
- 2) Профессор Христиан-Фридрих Шмид, учитель русских студентов в Лейпциге. (Перевод Р. А. Зерновой). VII, 220—227
- Чернов С. Н. М. В. Ломоносов в одах 1762 г. I, 133—180
- Черных Л. В. О двух сюжетах в комедиях конца XVIII в. и пьесах Островского середины 50-х годов XIX в. VII, 366—372
- Чернышев В. Русский песенник середины XVIII века. II, 275—292
- Шамрай Д. Д. 1) Об издателях первого частного русского журнала. (По материалам архива кадетского корпуса). I, 377—385
- 2) Цензурный надзор над типографией Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. II, 293—329
- 3) К истории цензурного режима Екатерины II. III, 187—206
- 4) Ф. Эмин и судьба рукописного наследия М. В. Ломоносова. III, 471—473
- 5) Библиография изданий Московского университета в доновиковский период. III, 550—553
- 6) «Всенародный театр» академических наборщиков 1765—1766 годов. IV, 404—414
- 7) О тиражах «Краткого российского летописца с родословием». ТЛ, 282—284
- Шамрай Д. Д., Берков П. Н. К цензурной истории «Трудолюбивой пчелы» А. П. Сумарокова. V, 399—406
- Шепелева Л. С. Из истории русско-грузинских культурных связей в XVIII веке. («Ефигения» Давида Чолокашвили). IV, 355—371
- Шкляр И. В. 1) Формирование мировоззрения Антиоха Кантемира. V, 129—152
- 2) Приписываемые А. Д. Кантемиру переводы сатир Буало и оригинальные сатиры Кантемира. II, 248—259
- Шолом Ф. Я. Просветительские идеи в украинской литературе середины XVIII века. II, 45—62
- Эджертон В. Б. Знакомство Фонвизина с Лабланшери в Париже. (Перевод И. Б. Комаровой). VII, 165—173
- Эйхенбаум Б. М. О П. Н. Беркове. VII, 3—4
- Якобсон Р. О. Разбор тобольских стихов Радищева. VII, 228—236
- Якубовский В. П. Н. Берков и проблемы польско-русских литературных связей. VII, 415—418

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции . . . . .	3
-----------------------	---

### I

Лихачев Д. С. (Ленинград). Система стилевых взаимоотношений в истории европейского искусства и место в ней русского XVIII века . . . . .	5
Адрианова-Перетц В. П. Новеллистические сюжеты в фольклоре и русской литературе XVIII века . . . . .	12
Серман И. З. (Ленинград). П. Н. Берков как исследователь литературного творчества Ломоносова . . . . .	18
Жирмунский В. М. Оды М. В. Ломоносова «Вечернее» и «Утреннее размышление о Божием Величестве». (К вопросу о датировке) . . . . .	27
Тарановский К. Ф. (Арлингтон). Ранние русские ямбы и их немецкие образцы . . . . .	31
Степанов В. П. (Ленинград). Критика маньеризма в «Примечаниях к Ведомостям» . . . . .	39
Винтер Э. (Берлин). П. Н. Берков и «Материалы и исследования по истории Восточной Европы». (Перевод Р. Ю. Данилевского)	49
Грасхоф Х. (Берлин). Значение общественно-воспитательной функции литературы для изучения русского просвещения. (Перевод П. Р. Виркана) . . . . .	54
Леман У. (Берлин). О некоторых особенностях русского просвещения. (Перевод Р. Ю. Данилевского) . . . . .	59
Лаух А. (Берлин). Бакмейстер и русский читатель эпохи Просвещения. (Перевод Л. Э. Найдич) . . . . .	64
Рев М. (Будапешт). Сходство и различия в развитии идей Просвещения в России и Венгрии второй половины XVIII века . . . . .	70
Матль Й. (Грац). Ф. Я. Янкович и австро-сербско-русские связи в истории народного образования в России. (Перевод Н. Сальникова) . . . . .	76
Моисеева Г. Н. (Ленинград). О формировании стиля русских повестей первой трети XVIII века. (Роль переводных курантов XVII века) . . . . .	82
Кузьмин А. И. (Москва). Военная тема в сатирических «разговорах в царстве мертвых» . . . . .	87
Фридлиндер Г. М. (Ленинград). Достоевский и Фонвизин . . . . .	92
Альтшуллер М. Г. (Ленинград). Неизвестный эпизод журнальной полемике начала XIX века («Друг просвещения» и «Московский зритель») . . . . .	98
Стенник Ю. В. (Ленинград). Традиции торжественной оды XVIII века в лирике Пушкина периода южной ссылки («Наполеон») . . . . .	107

### II

Матхаузерова С. (Прага). «Собрание разных песен» Чулкова и «Славянские народные песни» Челаковского . . . . .	113
Вентури Ф. (Турин). Неаполитанские литературные отклики на русско-турецкую войну (1768—1774). (Перевод Р. М. Горюховой)	119
	315

Дылевский Н. М. (София). Русская и украинская историография XVIII столетия и «История во кратце о болгарском народе славенском» Спиридона (1792) . . . . .	127
Доланский Ю. (Прага). Херасков и Линда . . . . .	135
Данилевский Р. Ю. (Ленинград). К истории библиотеки Лессинга . . . . .	143
Хексельшнейдер Э. (Лейпциг). Х. Ф. Д. Шубарт и Россия. (Перевод Н. И. Серман) . . . . .	148
Вьтженс Г. (Вена). Немецкие переводы русских писателей в последней трети XVIII века. (По фондам венских публичных книгохранилищ) . . . . .	154
Кросс А. Г. (Норич). «Замечания» сэра Джона Синклера о России. (Перевод Н. И. Серман) . . . . .	160
Айзеншток И. Я., Арбузова И. В. (Ленинград). В. Ягич — интерпретатор русской литературы XVIII века . . . . .	169

### III

Лужный Р. (Краков). Древнепольская традиция в литературе русского просвещения. (Перевод Л. И. Ровняковой) . . . . .	176
Шредер Х. (Базель). Ларошфуко в России. (Перевод Р. Ю. Данилевского) . . . . .	184
Валк С. Н. (Ленинград). Август Людвиг Шлёцер и Василий Никитич Татищев . . . . .	190
Привалова Е. П. (Ленинград). А. Л. Шлёцер — автор исторической книги для детей . . . . .	200
Кулябко Е. С., Соколова Н. В. (Ленинград). Утраченная переписка Ломоносова с польским пиаром Е. Цяпинским . . . . .	206
Гозенпуд А. А. (Ленинград). Ломоносов и Гольберг о музыке . . . . .	211
Рак В. Д. (Ленинград). Возможный источник стихотворения М. В. Ломоносова «Случились вместе два астронома в пиру...» . . . . .	217
Шарышкин Д. М. (Ленинград). Сказочная повесть В. А. Лёвшина «О Исполине Стеркатере» . . . . .	220
Алексеев М. П. (Ленинград). Державин и сонеты Шекспира . . . . .	226
Левин Ю. Д. (Ленинград). Инкл и Ярико в России . . . . .	236
Заборов П. Р. (Ленинград). «Орлеанская девственница» Вольтера в русских рукописных переводах . . . . .	247
Кочеткова Н. Д. (Ленинград). И. Г. Рахманинов — переводчик немецких поэтов и творчество молодого Крылова . . . . .	251
Канунова Ф. Э. (Томск). Карамзин и Стерн . . . . .	258
Крестова Л. В. (Москва). А. И. Плещеева в жизни и творчество Карамзина . . . . .	265
Вацуро В. Э. (Ленинград). Г. П. Каменев и готическая литература . . . . .	271
Мурьянов М. Ф. (Ленинград). Отражение символики артуровского цикла в русской культуре XVIII века . . . . .	278
Макогоненко Г. П. (Ленинград). Пушкин и Гете. (К истории истолкования пушкинской «Сцены из Фауста») . . . . .	284
Марлинский С. Я. История и проблематика «Ведомостей» петровского времени в освещении П. Н. Беркова . . . . .	292
Иванов М. В. (Ленинград). Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина . . . . .	296
Указатель статей в изданиях Группы по изучению русской литературы XVIII века за 1935—1974 гг. . . . .	303